

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

5-6 (420)

2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ
Александр Кабанов. «Крыша этого дома – пуленепробиваемая солома...» *и др.* 0
Александр Анашкин. «Минус тридцать» *и др.* 0
Светлана Бунина. «Проза» *и др.* 0
Александр Уланов. «Волосы для заката, живая глина, калиновая тревога...» *и др.* ... 0
Александр Месропян. «никому не говори ни за что не сознавайся...» *и др.* 0
Елена Сунцова. Стороны света, тень 0

ОПЫТ ПРОПАДАНИЙ И ВОЗНИКНОВЕНИЙ
Валерий Володин. Повесть врЕменных лет. Жизнь третья 0

ПРОЗА
Гурам Сванидзе. «Тополя» *и др. рассказы* 0
Олег Ермаков. Реликтовый свет. *Рассказ* 0

ДЕБЮТ
Александр Мирро. ЗАМЕТКА о РОЖДЕНИИ и СМЕРТИ 0
Александр Якушев. Каноническое произведение 0

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
Борис Лихтенфельд. «1968» *и др.* 0
Екатерина Решетникова. Из цикла «Кора» 0
Антон Васецкий. «Май» *и др.* 0
Татьяна Кузнецова. «На ребре глухого полустанка...» *и др.* ... 0
Павел Гуменюк. «я никогда...» *и др.* 0

ВОСПОМИНАНИЯ
Илья Иослович. И. Е. Поляков – внутренние и нервные болезни.
Б. Молчановка, д. 18, кв. 3 0

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Сергей Боровиков. Постоянный пеленг 0
Анна Голубкова. Путешествия во времени и пространстве 0
Алексей Александров. По-хлестаковски, но без хлестаковщины 0
Олег Рогов. Ностальгический бардак 0
Ефим Водонос. В тени отца 0
Роман Арбитман. Дети профессора Т. 0

КИНООБОЗРЕНИЕ
Иван Козлов. Три независимых режиссера в ожидании Оскара 000

© «Волга», 2009

Александр КАБАНОВ

* * *

Крыша этого дома – пуленепробиваемая солома,
а над ней – голубая глина и розовая земля,
ты вбегаешь на кухню, услышав раскаты грома,
и тебя встречают люди из горного хрусталя.

Дребезжат, касаясь друг друга, прозрачные лица,
каждой гранью сияют отполированные тела,
старшую женщину зовут Бедная Линза,
потому, что всё преувеличивает и сжигает дотла.

Достаешь из своих запасов бутылку «Токая»,
и когда они широко открывают рты –
водишь пальцем по их губам, извлекая
звуки нечеловеческой чистоты.

Бэтмен Сагайдачный

«Новый Lucky Strike» – поселок дачный, слышится собачий лайк,
это едет Бэтмен Сагайдачный, оседлав роскошный байк.
Он предвестник кризиса и прочих апокалипсических забав,
но, у парня – самобытный почерк, запорожский нрав.
Презирает премии, медали, сёрбает вискарь,
он развозит Сальвадора Даля матерный словарь.

В зимнем небе теплятся огарки, снег из-под земли,
знают парня звери-олигархи, птицы-куркули.
Чтоб не трогал банки и бордели, не сажал в тюрьму –
самых лучших девственниц-моделей жертвуют ему.
Даже украинцу-самураю трудно без невест.
Что он с ними делает? Не знаю. Любит или ест.

Александр КАБАНОВ родился в 1968 году в Херсоне. В 1992 году окончил факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Живет и работает в Киеве. Главный редактор журнала культурного сопротивления «ШО», один из фундаторов украинского слэма. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Континент», «Дружба народов», «Октябрь», «Зарубежные записки», «Арион», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Новый берег», «День и Ночь» и др. Автор семи книг стихотворений: «Временная прописка» (1989), «Время летающих рыб» (1994), «Ласточка» (2002), «Айловьюга» (2003), «Крысолов» (2005), «Аблака под землей» (2007), «ВЕСЬ» (2008). Лауреат международной литературной премии им. Князя Юрия Долгорукого (2005), премии журнала «Новый мир» (2005) и премии «Планета Поэта» им. Л. Н. Вышеславского (2008).

* * *

Проснулся после обеда, перечитывал Генри Миллера,
ну, ладно, ладно – Михаила Веллера,
думал о том, что жизнь – нагроможденье цитат,
что родственники убивают надежней киллера
и, сами не подозревая, гарантируют результат.

Заказчик известен, улики искать не надо,
только срок исполнения длинноват...
Как говорил Дон Корлеоне и писал Дон-Аминадо:
«Меня любили, и в этом я виноват...»

Заваривал чай, курил, искал сахарозаменитель,
нашел привезенный из Хорватии мед,
каждому человеку положен ангел-губитель,
в пределах квоты, а дальше – твой ход.

Шахматная доска тоже растет и ширится,
требует жертв, и не надо жалеть коня,
смотрел «Тайны Брейгеля», переключил на Штирлица:
он прикончил агента и вдруг увидел меня.

* * *

Не лепо ли ны бяшет, братие, начаты старыми словесы:

У первого украинского дракона были усы,
роскошные серебристые усы из загадочного металла,
говорили, что это – сплав сала и кровяной колбасы,
будто время по ним текло и кацапам в рот не попало.

Первого украинского дракона звали Тарас,
весь в чешуе и шипах по самую синюю морду,
эх, красавец-гермафродит, прародитель всех нас,
фамилия Тиранозавренко – опять входит в моду.

Представьте себе просторы ничейной страны,
звериные нравы, гнилой бессловесный морок,
и вот, из драконьего чрева показались слоны,
пританцовывая и трубя «Семь-сорок».

А вслед за слонами, поддатые люди гурьбой,
в татуировках, похожих на вышиванки,
читаем драконью библию: «Вначале был мордобой...
...запорожцы – это первые панки...»

Через абзац: «Когда священный дракон издох,
и взошли над ним звезда Кобзарь и звезда Сердючка,
и укрыл его украинский народный мох,
заискрилась лагерная «колючка»,

в поминальный венок вплелась поебень-трава,
потянулись вражьи руки к драконьим лапам...»
Далее – не разборчиво, так и заканчивается глава
из Послания к жидам и кацапам.

* * *

Андрею Коровину

Осень – смешанное чувство: хвоя и листва,
перечеркнуто искусство ниткой волшебства,
отсыревших плащ-палаток шепелявый мел,
осень – это время складок, переплетных дел.
Радио забито Глинкой, содой и сукном,
осиничное с кислинкой небо за окном,
пусть желтеет, будто Чацкий, росчерком пера:
не влюбляться, не встречаться, улетать пора

* * *

Почему-то грустит о Капри,
раб мой, выдавленный по капле.
Накормил голубей в окошке –
раб мой, выщипанный по крошке.

И замешкался третий раб,
был пророком и вот – ослаб:
из себя, не щадя плетей,
выбивает святых людей.

И они на восток бегут,
– Партизан, – говорят, – зер гут!
травят газом и трупы жгут.

А четвертый, последний смерд,
своенравен, жестокосерд,
не покрышки ему, ни дна.
Вот поэтому, ты – одна.

* * *

Кондитерская фабрика Рот Фронт,
а я прочитал: Рот в Рот,
и сразу всплывает утопленница
невиданной красоты
и требует кислород,
и требует, чтобы винты
спасательных катеров
не потревожили плод.
Она плывет и плывет,
а в ней – ребенок летит,
а я прочитал: Рот в Рот,

нагуливая аппетит.
Она плывет и плывет,
и черт ее – не разберет,
и Бог ее – не простит.

* * *

Сколько еще будут дрессировать
сердце мое цитрусовые майданы?
«ЦУМ» заходит за разум, в отделе «Ручная кладь»
продаются дикие сумки и чемоданы.

Там, там-там, живет кенгуренок один,
его изредка могут увидеть дети и старики,
поэтому, он обожает валокордин,
леденцы от кашля и прочие пустяки.

Дважды в одну и ту же сумку не ляжет спать,
иногда боксирует с собственной тенью.
Откуда он взялся? Этого лучше не знать,
сердце мое, – по твоему хотенью.

Так ли надобно ведать, откуда источник наш?,
мы обтянуты скверной кожей – видать, спросонок.
К Рождеству обещан сезон прощаний и распродаж,
и в сердечной сумке плачет мой кенгуренок.

* * *

Это люди особой породы,
это люди особой судьбы:
на подмостках – сезон Квазимоды,
замурованы крылья в горбы.

Спотыкаясь в невидимых латах
под дождем из одних запятых,
это время, когда бесноватых –
тяжело отличить от святых,

И мутит от церковной попойки,
там, где смешана с кровью кутья,
это время бессмысленной кройки,
и уже не дождаться шитья.

Вдохновенье в неровную строчку
и любовь в шутовских ярлыках –
вот и режут ее по кусочку
и уносят в своих рюкзаках.

* * *

Отгремели русские глаголы,
стихли украинские дожди,
лужи в этикетках Кока-Колы,
перебрался в Минск Салман Рушди.

Мы опять в осаде и опале,
на краю одной шестой земли,
там, где мы самих себя спасали,
вешали, расстреливали, жгли.

И с похмелья каялись устало,
уходили в землю прозапас,
Родина о нас совсем не знала,
потому и не любила нас.

Потому, что хамское, блатное –
оказалось ближе и родней,
потому, что мы совсем другое
называли Родиной своей.

* * *

Жил в Херсоне один циклоп, неспособный наморщить лоб,
потому что весь из себя – эх, сплошные цыганские очи,
загляденье, а не циклоп, он в подковы гнул антилоп,
а в его желудке плавали тамагочи.

Наш циклоп не носил очки – у него в шесть рядов зрачки,
угонял лошадей и в мешках под глазами прятал,
но, увидеть его могли только местные дурачки
и слепые поэты, когда он от счастья плакал.

* * *

Гули-гули в пространстве гулком,
в междуцарствии дворовом –
бродят голуби по окуркам,
пахнут белым сухим вином.

Как бомжиха в дырявом пледе,
чуть присыпанная песком –
гололедица, гололеди:
не ходи на godiva.com.

Троеперстия мерзлых веток,
задубевшие письмена,
а вокруг, из кирпичных клеток –
трехэтажная тишина.

Потому что иное Слово
приготовлено про запас:
для хорошего, для плохого,
для любви к одному из нас.

Валерий ВОЛОДИН

Повесть врЕменных лет

Жизнь третья

Выгул языка

Дожил до той бесприкрасной поры, когда следует все меньше слов тратить на написанное. Избегнув стола и бумаги, больше нужно прогуливаться по пустынным в наших краях улицам и обдумывать медленные мысли (в наших краях – уже замирающие) и стараться погладить хотя бы украдкой голову важно шествующего мимо заредчавшего ребенка, чтобы в нем родилась сверхурочная улыбка. А придя домой, вымолвить белому листу всего-навсего несколько странных, пугливых, изумительно одичавших в скитании слов, избегающих чутко высказывания. Внешне самых обыкновенных слов. Про все. Как-нибудь суметь – про все. Двумя словами. И поставить крепкую, как Ничто, многозначащую точку, всегда ко мне доброскловную. Точка непременно должна быть многозначащей, вот она, милая странница, давненько мы что-то с тобой не виделись.

Все крупным счетом ненужное и многословное должны выветривать эти наполненные бесхитростной радостью прогулки, все заметнее тяготеющие к медленной и светлой душе старости, а не ко мне, еще всклень набитому дурной неустоявшейся жизнью, еще страшно сорному мелочным сором куцего повседневья. Пока что я очень и очень мусорный человек, хоть и стараюсь освобождаться от целых напластований и вереницы напрасных мыслей и чувств – обездаренных, как обезглавленных.

Э-ге-гей, хромоногое мое житье-бытье! Пошустрей чуть давай. Некогда мне тут с тобой мямлить дни!

Один язык мой прям, неоступчив и неколдобен. Он с весельцой скачет себе вприпрыжку куда-то вольготно вперед, нередко опережая меня на многие расстояния в моих прогулках сквозь предложенное мне к проживанию время года, сквозь несказанно любимые жилые массивы, сквозь и мимо людей, слегка меня шарахающихся оттого, что они видят – что-то стремительное, как преследуемая солнцем облачная тень, что-то почти неуследимое загадочным образом струит впереди меня, опережая и мой оплошавший взгляд, мешкающий, растеряха, со зреньем.

Прохожие, очевидно, думают, что это что-то наверняка уж опасное (ведь в человеке за последние времена привыкли видеть прежде всего опасность, а потом, только далеко потом все остальное), могущее причинить вред, внезапный ущерб, и поспешно сторонятся, дабы не случилось непредсказуемого какого-нибудь сказуемого. Не пугайтесь, о не пугайтесь, дорогие мои мимоспешащие, это мой русский язык выгуливается, легкой побежкой блуждая округ меня, он не нарадуется уличной вольготе необъятной и от избытка чувств кидается на вас дурашливо и невпопад, отчаянно-весело приветствуя переполняющим его ликованием всякого хоть на крапинку готового к улыбке незнакомца. Он так похож на любимого, на бесшабашного, на преданного всецело пса, с которым по жизни давно, давно... царствие небесное тебе, пес душевный по имени Мошка...

Я безмятежно выгуливаю на длинном – до самого горизонта – и незримом поводке свой доверчиво рыскающий по сторонам язык, все ощупывающий и оглядывающий острым пытливым

Валерий ВОЛОДИН родился в 1956 году, закончил отделение психологии биофака Саратовского государственного университета. Живет в Саратове. Две части «Повести врЕменных лет» опубликованы в журнале «Волга – XXI век» (2007, № 9-10; 2008, №3-4).

глазком, обнюхивающий всякую обморочную былинку, так что я едва-едва волочусь возвратно домой, перегруженный в изобилье доставшимися мне задаром щедротами, разбросанными повсюду без надлежащего внимания и пристрастия, мало кому на что нужными, – столько добра пропадает зря на просквоженных пустотой улицах, но вряд ли прохожим приходит в голову, что это добро, слишком даже добро, иногда неподъемное для одинокой души, и печаль, печаль оттого, что оно – бросово, заваляще.

Печаль оттого, что не видит никто в этом печаль.

Я бреду переобогащенный, – сколько мог, столько и унес обилий летящих по своим пространственным делам улиц, исчерканных перелетными людьми, – а мой язык, порыскивающий по сторонам меня, от усердия прямо-таки высунув язык, трогательно похож на собачонку безвестных кровей, до блаженной одури набравшуюся причуд и превратностей наугад брошенного пути, пролегающего там, куда случайно ведут, где блуждают мои в страсть ненаблуждавшиеся глаза.

А язык у моего языка вот какой: небесно-голубой, и цвета беглого ветра (с разбегу окунувшегося пропаще в глубоко задумавшуюся, загрезившую траву, пустив ее вдаль без оглядки улепетывающими, чуть лишь ропотными волнами), и с доверительными, детски наивными крапинками, каляками-маляками не усталого еще лета, неделю назад пошедшего в божественный свой рост, только-только успевшего почать наивность свою и невинность... Чуть вырывается из общих шумов мое прогулочное, живущее на особицу, словно бы в параллель всему сущему дыхание, слегка – за вздохом любования печально непостижимым миром – приотставшее и от юркнувшего тут же куда-то с глаз долой языка, и даже от моего замедленного, тоже замечтавшегося сердцебиения, в котором, если вслушаться понимающим чутко слухом, можно уловить ломкий ритм беспечно живущего наугад лета – существа легкомысленнейшего из легкомыслых, обезумевшего блаженно от зеленых пространств, потерявшего в неведомо куда бредущем шествии свои концы и начала, – лето и сердце мое стремит сделать на себя похожим (однако это очень-очень трудно осуществить, лето; эта задача, мой юный июнь, пожалуй, из неразрешимых)... Но покладистого оно и веселого нрава, пусть просторы его жадноваты и прижимисто тешат надежду упразднить черту горизонта, чтобы расстояния сделались неисследимы, а мягкого солнца, зелени, уютного тепла и живой необъятности стало вдосталь во всяком уголке нашей по чьему-то попущению изрядно захиревшей и кой-где упавшей Вселенной.

Рыскательные его – языка – возможности неограниченны. Иногда мой язык, обуянный какой-то странной добычей, скрывается за горизонт и надолго теряется из виду, оставляя меня в сомненьях вечной пропажи. Наделенному немотой, мне трудно снести одиночество, от которого мой язык всегда защищает, отстраняя одиночество куда-то в небОльную, лишенную терзкой и вязкой страсти сторонку.

Но в этих прогулках есть один неустранимый изъян: тягостны людные дни с их толпяными часами. Слишком уж много людей – это как-то слишком бесчеловечно. Бледные, квелые тени людей взамен людей – как они, однако же, давят невыносимо, как непомерно они тяжелы! – хваткие, на живое падкие тени, отбирающие все хрупчайше живое. С людьми легко обойтись, с призраками людей, от которых никуда не деться и которые унылыми, цапкими массами обступают вседневно, – с призраками невмоготу. Я боюсь с ними встреч, остерегаюсь их бьющих холодом прикосновений, через которые, как пагуба, как зараза, передается та устремленная навстречу призрачность, все новыми и новыми, все более повелительными небытийными волнами умаляющая меня в ужас ничтожности, в какого-то безмерного никого. Потому-то так тяжко, потому-то так садняще странно мне просто пройтись иногда, продышаться по улице. И я все старательнее избегаю своих прогулок, чтобы не быть в массовом порядке растасканным чьими-то безвестными, тяготеющими к безвестному миру прикосновениями. Здесь даже не суметь помочь моему многоопытному, искушенному в ловких отсутствиях и белых пятнах языку, надежно сохраняющему меня от всех других видов очень распространенных всюду исчезновений.

Не попробовать ли заодно избегнуть себя, взять избежание то на вооруженье – чтобы оберечься от излишних пропаж, от ненужных для жизни дальнейшей хитроумных всегда в плане действий исчезновений?

Больших бед после личного рождения уже не бывает. Одни пустяки.

С возрастом вот что: чем проще тебе вопрос задают, тем сложнее на него бывает ответить. Например, на обычное «как поживаешь?» я ничего уже не могу отвечать. Теряюсь. Мгновенно весь пропадаю. Практически умираю.

Впечатления по поводу собственной судьбы у меня не самые благоприятные. Как будто съел что-то до наглости откровенно несвежее. И посмотрел дурной фильм. А между делом завернул на базар, где даром дали по морде. Такая уж вот это штука – судьба. Мордовито она даровита.

А об остальном и не почешется: не входит, дескать, это в мои должностные обязанности, за лишний почес денег не платят. Вот какие меркантильные пошли нынче судьбы. Хоть беги от них – не судьбы, а прямо выжиги какие-то. Только и норовят тебя обчистить до нитки, средь бела дня, при всем честнОм народе. Куда это годится? И куда при таких обстоятельствах беспрерывного обчищения жить, голизной родимой сверкая?

Только-то я и сделал всего: не позволил вычеркнуть себя из жизни.

То-то сразу установилось вокруг гробовое молчание!

Это уже одичавший возраст глядит с моего лица, а не я. Я совсем тут ни при чем. Да и чаще всего вообще не смотрю. Внутренне сплю, прикрывшись снаружи, как чуткой плитой, недреманым оком. Оно у меня выучку прикрытий и снов наяву имеет отменную. Вышколенное! С моим недреманым оком можно блуждать в любом приличном обществе – никто не увидит мои разноцветные сны и то, как я легонечко сплю, окутанный дымчатыми облаками, чуть розоватыми по краям.

Давайте все мы друг друга переживем. Может, тогда что-нибудь и получится.

Жить вообще безнравственно. Совсем бесстыжее это дело – жить. Конченое уж занятие. Провалился бы от стыда прямо на месте, когда отчего-то живешь и чувствуешь себя до неприличья живехоньким, трепетким все да трепетным. Вот где страсти-то Господни, которые ищут обычно не там.

Неприлично только на классиках топтаться. Остальное все морально терпимо.

Зачем же топтать тех, кто принесли в жизнь столько счастливых мгновений жизни? Зачем вытаптывать Гайдара, Паустовского или Хемингуэя? Ведь вы, подлецы, были ими когда-то счастливы. Вы же свое прошлое счастье ногами месите.

Теперь мой текст стал моей родиной. Третья уже родина по счету, после родины биологической и также зародившего меня Саратова. Третья родина появилась, чтоб вновь мне преодолеть это постоянно дичающее и стервенеющее отчаянье, порастающее каким-то непролазным вьюнком. Не эмигрировать бы как-нибудь по случайности из третьих отчизн. Податься тогда будет решительно некуда. Потому что не будет уже нигде ничего. Верней, только они-то и будут.

Писать не сложно. Трудно три года безвылазно из себя молчать, впотьмах гуляющего в тебе развязного скудоумия, которое с бойкой готовностью – только дай ему самый малый намек – обвально подсказывает как раз все не то, не то и не то. Все Не То целиком, от корки незримой до

корки прозрачненькой. Ну и за это бываешь благодарен: хоть кто-то с тобой еще говорит. Не брезгует выслушать два-три твоих нежизнеспособных ливерных слова, давным-давно на самих себя не похожих, а также и ни на что другое, что имеет обыкновение быть живым средь земли.

О странности фраз

Во сне сумасшедше подытожилась фраза:

Луна – это первоначальное состояние человека...

Как понимать тебя, фраза? К чему ты бессмысленно клонишь, роднуля шальная? Описка ль небес ты или соринка вдруг ни с чего взбормотнувших пространств?

Под утро, когда приходят такие одичавшие без разума фразы и начинают бунтовать доселе смирные и ни в чем плохом не замеченные смыслы, – под утро бывает тревожно. Дыбким сном ощущаешь – будто дополнительным смутным чувством – с болезненной чуткостью обступившую тревогу, она едва выносима, она стремит загнать переполошенный, кричащий на все сновидение крик в отдушину всё разрешающих слез, в некое исцеляющее рыдание, вставшее бы неодолимой преградой, замкнувшееся пред самым лицом преследующего страха. Его лицо отвратно яростной безликостью. Его лицо ужасает окликающим безъязыко зовом, – он, скорее, не окликает, а пригвождает, он – уже взявший тебя в оборот приговор.

Сон петлист, клочковат, как-то бредово от этой тревоги просыпаешься, ничуть не желая встречаться с собственным бодрствующим сознанием, с самим собой и не-собою, так бесприютно и ненужно вышвырнутыми в чуждую, почти не узнаваемую по рассвету жизнь, в несдвижимое отвращенье седого рассвета, уставившегося размытым взглядом в больное, терзающееся немочным светом окно. В такие минуты как никогда близко соседствуешь со смертью. Граничишь уже с ее никакими пределами, с ее невозможностью, понимая это наполовину омертвелой мыслью. Я сталкиваюсь, видимо, с нею лицом к лицу, и во многом ее лицо – это мое лицо (обманчиво одеревеневшее как будто со сна), которым мне хочется обмануться, чтобы не узнать себя. И нужно немыслимо много сил, чтобы, проснувшись, бдительно уловив первое мгновение бодрствования, сделать почти невероятное усилие, дабы не поддаться ни уклону влекущей смерти, ни бескрайности сорвавшейся с якорей тревоги, упорно несущей тоску, пустырную эту тоску тлетворья. Но где взять враз столько противительных сил – мне, истощенному и раскраденному сновидениями, не изошедшему еще в явь из там и тут рассыпанных небытиек чудаковатого сна?

Одним вздрогом просыпаешься от наплыва многой тревоги, сумевшей переполнить меня и нарушить. Луна – это первоначальное состояние человека, – провозглашает в мыслях неулыбчивая, от рассветной хмури колючая фраза, причем с такой непоколебимой уверенностью, что не остается никаких сомнений в том, что так оно и есть, и всегда так бывает, будет. Боишься ее забыть, заспать (пунктик упущения неотвязен), она зачем-то мне крепко нужна, в ней угадываются какие-то бОльшие правильность и точность, чем в самой безукоризненно верной фразе. В ней что-то есть, чего никогда не бывает в жизни, но чего очень хочется, чтобы – было, непременно было, проглянувшим стало присутствием, ибо без дурнинки и как бы оступившейся страннинки, вносимых этой набекрень-фразой, все будет пребывать узковато, как-то пресно и однобоко, словно жизнь сама по себе, личной сокровищницей, не способна нести то, что нести можно, целиком доверившись некой покуда отдельной от нее полноте и обратившись в нее.

Мелькнувшая же причудливая и чудящая фраза кичится своей самодостаточностью, своей неподотчетной ничему-никому вольницей, ее распирает от избытка диковиннейшей полноты, – фраза дразнит ею поделиться, но с далекоидущим расчетом пока таит всё в себе, выжидая дальнейшую неизвестность и как себя та окажет.

Теснее, схоронней – убежищнее – вжимаешься в изгоняющий призраков бок жены (если он случайно бывает, в жизни вдруг подворачивается) и слышишь, как мало-помалу, отток за оттоком исходит куда-то муторная, взмутившая час рассвета тревога. Эти обыкновеннейшие прикосновения единственное исцеление от пронизанной бедой утренней тревожности, всколыхивающей с

личного дна самое тягостное и больное, чего бы не хотел в себе знать. С возрастом та рассветная моя *нежить*, та в мгновение испропащающая тебя слабость обостряется, как старая рана, к которой не нужно даже прикасаться, ненароком ее бередить, чтобы она вновь принялась мозжить и стенать.

Заполняющим благостно живным распрямлением некоего утесненного, попранного чувства ощущаешь, как редеет тревога в податливости женского дремного прикосновения, в великолепии сонного женского царства, и огромное рассвобождение свежим потоком растекается в тебя, точно в затхлое, давно покинутое помещение, на краткие миги обманывая молодостью и весной, редкостным каким-то всесилием. И, обласканный призраками, успокоенно засыпаешь и прерывисто, будто по кочкам, спишь, пока новый виток тлеющей неизбывно тревоги не вышвырнет опять к зыбкому бережку иной странной фразы, как бы взирающей на меня с неприкрытым изумлением: да как же я сюда попал?! откуда взялся? как смог достичь ее через запретные, через неодолимые препятствия и препоны, минуя цепкие и зоркие карантины занедужившей речи, сквозь заставы крепчайших бессмыслиц, выставленных по дороге к ней чистым безумием? Прибившийся к той недоумевающей по поводу моего существования фразе, я некоторое безвременное совершенно время потерянно трепыхаюсь, не зная, спасенный ли я или приговоренный. В этом выдохшемся времени меня нет, явственно нет. Себя чувствуешь лишь посредством одного четкого отсутствия, которое на тот момент и кажется единственным чувством, благодаря которому ты есть, чутОк явен. Себя различаешь отголоском той странной, бог весть откуда навеявшейся, набредшей на тебя фразы. Лишь ее ты слабое, ненадежное продолжение, лишь хлипкость ее и прерыв...

Почем мне знать, где сейчас мне найти себя – в спасении или в отверженности. Почем знать, жив ли я в эту смутную, чрезвычайно шаткую и смущенную минуту рассвета или давным-давно небывал, будучи лишь чудом уцелевшим воспоминанием о своей жизни, разреженным, бесконечно безымянным воспоминанием, бесплотно несущимся в ярко разверзаемую неизвестность, в прямое, по всей видимости, ничто – его мрачное логово уж завиднелось, черные там бесенящиеся огоньки... Ну это-то понятно, другого ждать от него не приходится...

Вот еще, вот опять она, эта непредсказуемая, эта шатучая странность, настигшая не зачастоколенный, сплошь одырявленный со стороны подсознания сон мой врасплох:

И ударил его пышнотелой настурцией по голове...

Зачем и откуда сия явно старающаяся блеснуть, хвастануть собой фраза? И куда она? Да куда ж она во мне направляется?! Держите скорее ее! Не натворила бы лишнего... Чего намерена раздобыть средь меня, до невнятицы рассвета насквозь безответного? Кто вы, ваше словесное сиятельство? Назовитесь наконец-то, откройте вашу прелестно щемящую тайночку. Не просто же вы набор дико сочетающихся слов, у вас, хочется ярко верить, высокое происхождение. Без сомненья, вы благородных кровей. На это указывает многое и многое, в том числе очевидное. В частности, ваша неприкрытая любовь к пышным выходам и церемониям, а также горделивая стать и склонность к редким видам цветов роскошных названий... Вот только драться, пожалуйста, не надо. Пусть эта крикливая и махучая форма отношений будет исчезающа и вымирающа, пусть она пламенно, прихватив драчью страсть, тяготеет к реликтам.

Все-таки добрая иногда чушь бродит во мне легкой, певуче-бредовою поступью!

Аж завидно бывает тому мне, которого во мне не видно, не слышно, тише травы, ниже воды, (а может, наоборот, кто ж знает?), но он зачем-то, для каких-то отложенных дивных целей живет, обитает, истайна пользуясь мною, – и вдруг ни с того ни с сего что-то с бодрецой важной вякнет, да так наобум, так бесцельно славненько в цель, что просто теряешься в догадках, кто же есть тот он, которого не увидать, не услыхать, впрямую никогда не узнать, словно этот теневой человек существует для того, чтобы внутренняя тайна была непрерывна и чтобы не скучно было взглянуть на себя изнутри в любой самый серый, в упадок пришедший момент.

Только вот, к растерянности моей, отчего-то несет зачастую нелепое он, тот теневой, испрятанный я. Совсем взбалмошное иной раз замолаживает-городит, невместимое для бытового ума, несовместимое с ним, как большая рана и малюсенькая при ней жизнь. Или как бы угрожающе

темное – глухо пророча, этой необъяснимой темнотой вроде бы намекая на тьмы ужасов, а также, ясное дело, на мрак неизвестности, да только мы не больно-то испугались нутряных тех угроз и массово машущих в гневе изнутри кулаков, так как на протяжении внешней судьбы видывали и не такое.

Такие вот темненькие делишки творятся во мне на рассвете, под покровом, так сказать, первых проблесков дня, при содействии робких румян востока... сообщнички неплохие вообще-то, да намерения их дымковаты, туманны, а установочки теневидны и еще под яблоней-растеряхой дремлют всласть...

Скажите на милость, отчего бывают эти премного странные, эти диковинные и диковатые фразы, которые явно же принадлежат не тебе и никому, на жестком рассвете лежащих в окрестностях?

Да, были времена, когда я столь убог и беден был в незнании своем, что полагал, будто себя замечательно знаю. С возрастом все больше себя не знаю, не узнаю – растет во мне отдельно от меня чужеватый, удручающе посторонний человек, которого все невозможнее переносить. Он препятствует всячески тому человеку, каким бы я хотел быть, к какому стремлюсь на протяжении жизни, и грубо, заражая меня отвращением, теснит его из меня, выпроваживает вон, и я становлюсь монолитно чужим себе человеком, горестно, как по причине смерти, тоскуя о выгнанном прочь и бесследно пропавшем где-то бедном-бедном себе.

Где же он скитается, бедолага? С кем пьет вечерний сегодняшний чай? Эх, посидеть бы с ним хоть одну простую минуточку, посмотреть, кто же он и каков в обращении. А может, его присутствия я не выдержал бы и мгновения? И сказал бы: будь еще бесследней, пропадай пуще прежнего, мне тебя отчего-то не надо! Я и себе-то сам не свой, а тут ты еще подворачиваешься. Мне вас столько не превозмочь, жизнью не ополнокровить. Изыдите все, хочу побыть один, сам как бы свой, сам-друг, пусть и напрочь чужой, посторонний, всему в себе вполне лишний.

Нахожусь в троюродном, и не более, родстве с собой. Все ощутимее исчезает родственность с этим темнеющим, стремительно угасающим в ясности человеком, каким кое-как являюсь, да и то лишь для того, чтобы не заподозрили меня, паспортную единицу личности, в собственном неблагонадежном отсутствии. А когда-то был себе и матерью и отцом. В лучшие моменты жизни бывал и прародителем седьмого колена.

Вот какая странность собственной несдвижимости, собственного непредательства: я все-таки меньше отличаюсь от себя десятилетнего, чем от всех других, даже самых мне близких, людей. Может быть, я невольно предаю других, чтобы самому целей уберечься? Но разве это спасение, если ты все меньше похож на себя самого? Если десятилетний ты больше похож на тебя, чем ты сам.

Бог наказал его тем, что он стал мудрее матери. Он растерялся: дальше неизвестно куда было идти, брести безбрежным собою.

Так нелегко прожить сопротивляющуюся изо дня в день жизнь и ничего, ничего не уразуметь!

Иметь такую роскошную старость!

Какая бездарность!

Боже, Боже мой... Как эта роскошная старость выявила его скрывавшуюся всю жизнь за чем попало бездарность... Она проступила из всех пор былого, точно пот примитивный, унылый. Войско посредственности выступило защищать что-то давно проигранное и несостоявшееся. Старость отодвинулась в сторонку, мудро потеснилась, с надеждой разглядывая приближающуюся издали смерть – но она не торопилась, мешкала на краю горизонта со своими повседневными делами, все забывая как-то о вечных. Смерть топталась там практически на одном и том же месте, и

уставшему длиться туда зрением старику было уже невмоготу. Хоть какое-нибудь окончание, что ли, пришло бы и забрало, невтерпеж ведь я уж закончился – была живая единственно мысль...

Эта посконная очевидность душных житейских «как надо» и «чтобы как у всех» мерзее самой очевидной глупости. В глупости все же есть элемент простодушия и наива, которые иногда ее спасают, оправдывая слегка. В тупорылых и звероватых истинах, которые так любят крутиться около быта и повседневности, – только пошлая, только подлая и всегда агрессивная тупость, что разрушительнее преднамеренного вреда. В тех истинах истины нет ни на призрак.

Обозленный человек превращается в толпу, от него напрасно ждать чего-нибудь даровитого. В нем душа (если она в нем по-случайности ночевала) выбежала в толпу и там затерялась. Ждать обратно ее бессмысленно – она по-быстренькому развратилась и сделалась расхожей блядью, которая с пылким наслаждением пошла по рукам, распробовав в этом хождении прямо-таки духоподъемное облегчение.

Толпа управляема чуть полегче даже средней сложности танка.

Поразительная человеческая способность – не видеть главного в других. Люди видят и хотят видеть только главное свое. А если учесть, что это главное в 99 % случаев лишь навозная куча отменно материальных потребностей, то что же ожидать от столь плачевного главного в людях? Именно здесь подлая родина непомерного самомнения, животной ценности собственного нищего во всем мыслящем и прекрасном существа. Отсюда берет дрянной свой исток презрение к другим, обычно мелким в собственных глазах жизням, ибо подобный уровень главного предполагает, что оно расположено во внешнем, а потому всегда сталкивается с другими внешними главными других людей, неизбежно вступает с ними в конфликт, затевая потаенную свару еще до того, как люди перейдут в сферу прямых недружелюбных действий. Хорошо подогретая изнутри агрессивность уже готова к употреблению, можно подавать ее к взыгравшему аппетиту в любом виде, в любое время суток, для любого приема пищи и прочего. Специи, само собой, по вкусу – но с ними трудно переборщить, так что сыпьте приправу смелей, бояться тут нечего.

Это же ведь надо так отлично суметь – ни одной собственной свежей мысли, ни полкрошечного самостоятельного поступка во всю жизнь, во всем остальном зачем-то успешно удавшуюся! Вот какие крепкие бывают, несдвижимые человеконосители, они, скорей всего, даже пуленепробиваемы. Их тонким чувством иль изящной мыслью не прошибить, с далеко вперед пролегшего твердокаменного пути не своротить, странными тропочками не заманить. Не те это внешние раздражители. Искусство для них значительно меньше, чем укус комара: так что-то, вроде – зашевелилось, вроде – где-то что-то мелькнуло или кольнуло, да и, на хрен, пропало. Самое время сладкозвучно зевнуть, утрамбовав мучительно насладительный зевок замечательно поевшей рукой. Ох, потягушечки мои, потягушечки, хорошо-то как...

Полупустыня людей. Окоровление населения. (Бродский попугивал американских студентов: не будете читать книги, превратитесь в коров.) Звериный финал в сбесившемся зверинце. На десерт: откусывание своих смачно резвящихся туда-сюда хвостов. Можно полакомиться и соседской вертелкой. Условиями меню это не возбраняется. И корпоративно приветствуется, в виде солидной надбавки.

Подошел ко мне захватническим шагом бесподобно отменный детина, наперсник и правопреемник бывшего пролетариата, и сказал наперсник и правопреемник: «А понюхай-ка вот мой кулак. Смертью случайно не пахнет?» Я ему: «Да пошел ты знаешь куда? В разэтакую свою бывшую историю. Вот куда пошел бы!» А он: «Я тебе счас покажу всю историю, вдоль и поперек. Все твое лицо ей изукрашу, – не нервно так, совершенно не кипятясь говорит, как о будничном или

о птичках. – Будет тебе и бывшая, и нынешняя, и вся другая история на одну твою много о себе думающую рожу. Ну не нравится мне твоя рожа – что я могу с собой поделать?! А стукну-ка я тебя как следует – вот что я с собой поделаю!»

И ведь стукнул, гад доисторический, не преминул. Не побоялся суда истории. А уголовным судом тут и не пахло, совсем-совсем не пахло, отнюдь-отнюдь. Запашки были иные. Всем забывшим думать лицом свидетельствую, всем подлинневшим в мгновенье лицом, изукрашенным нездешне, – поперек себя оно сделалось ширше, но печалит не это.

Уже нахлебался быдлом. Воротит. Скорей бы на самое дно. Ведь там, наверно, бывает какой-нибудь хоть бы илистый, но все же покой и покой, какое-нибудь малость вечное утихомиривание, придонное призабвенье...

Не надо уменьшать меня заранее. Я и сам всенепременно уменьшусь. Без чьей-либо помощи. Мне неприятно ваше творимое со мной умаление, так как вы только одно и умеете славно – из-*ничто*жать. О нет, как-нибудь уж без вас обойдется, без вашего сверхчутко предупредительного, распорядительного *ничто*. Умирать я и сам умею. Вполне прилично, вполне отлично. До идеально неразличимых размеров. До ускользания от всех нечистых и нечестных смертей. И скажу напоследок вам взамен прощания: до скорого ускользания! Ну, до скорого! А засим – премного адью.

Этот человек оказался, к счастью, чистой чушью собачьей. Ну а что вы думали? – редкому человеку такое дано. Это почти уже дар самобытный – быть беспримесной чушью собачьей. Может быть, один-единственный бывает уникум на миллион людей и собак, остальные все с погрешениями больших примесей и досадными отклонениями, с дурацкими допусками на иные явленья, а это уж лишнее, до невозможности лишнее: не понять-разобрать, где тут псово, а где – хотя бы попсово.

Не хочу жить в *вашей* России, хочу жить лишь в *моей* России. Но где ее взять? Кто украл ее у меня? Ищи-ка теперь ветра в поле...

Воробей, прямо скажем, явление сволочное. Особенно когда стаей обсядет мою – за окном – обветшалую яблоню и склочно чирикает, будто его только здесь и ждали, прямо обойтись без него не могли, будто так этому месту Вселенной и положено звучным вздором бывать. Орет до одури самозабвенно, птах лихой, внося без малого матерный переполох в ближайшее окружение сада и моих нервично вздрагивающих мыслей – а они ведь пугливы и сами по себе, без веточных испугов, больше усилий не на мысль тратишь, а чтобы мысли в обморок не попадывали. И мусорит, и пятнает сей в умышленную стаю разбившийся воробей суматошным разлюли-дребезгом добрую часть моей и без того невеликой вселенной. Каков поганец? Кто его наслал? В назидание? Транзитным наказанием каких-то моих пустословий? Плевать он хотел с высокой колокольни на пени мои и стенания, а также на то, что под его раздрайными криками проза моя захромала, подавшись несчастливым образом в бега.

Натравил на истошного звуковержца моего натасканного на многие вещи котика, напутствуя перед делом: смотри не повреди проходимца, а только гони ты его во всю ширь и мочь, чтоб не верещал мне пустой прозою в мысли.

Он, конечно, все понял, интересант, мысль мою схватил на лету. Разбежавшись, полукрылато взмаханул на ахнувшую от вскормленного тела яблоню, на воробья и ухом не повел, зато без промедлений, на лету десантируясь, свесился на подходящей ветке прямо ко мне под окно, улыбнулся широченной, немного сумасшедшей улыбищей оттого, что я ему замечательно виден, и тут же, опустив предисловие, зачирикал что-то свое, безумно довольный, что мы сквозь стекло общаться придумали. Вот и попиши с этими дико восторженными ребятами! Поневоле взвоешь дикой, кровь леденящею прозою...

Теперь, к безобразью моему, на яблони образовалось два гремучих вероломных воробья – собственно воробей, по веткам рассыпанный, и воробей кошачий, целиком составленный из моего дружочка (эх, на что разменялся, мой котик, на что себя ты обрек...). Сидят каждый по своим веткам, друг дружку не замечают активно, так увлеклись опустевшим мною и радостным повсеместным вредительством моей отлетевшей куда-то вместо воробьев прозе. А засим отлетаю и я. Буду третьим на их звенящих благозвучием ветках. Полон сад мой гармонии звуков. Полон сад мой откуда-то свалившимся, попадавшим на него странным раем. До краев – только не расплеснуть бы, Боже, – полон я. На три голоса мы споем этот мир, на три звучные нежности его разложив. То-то проза моя отлетевшая в отдалении где-то порадуется и обзавидуется! Ей же первой вернуться захочется, а я еще привередничать и кочевряжиться буду, топырить певчески губу.

Нечего мне бояться: я утоплен своим хлипким и беспомощным даром. Ну а вы чем утоплены? Вас даже деньги спасти отказываются. Не спасет даже смерть, великая прародительница (все мы родом из смерти), садовница и дарительница, – только все она в вас усугубит. Запаситесь же презреньем и невежеством – вот ваши истинные внутренне вам подобные помощнички. Они уж не подведут, когда нужно стоять на земле непрошибаемо прочными и бессмысленными, бессмысленными, бессмысленными ногами... Ну да ладно, быть или не быть – еще не факт, что это вопрос, присаживайтесь, в ногах правды нет, постояли вечность кряду – и будет, не столбенеть же вам бесконечно. А то еще и вечности ноги в толкотне своей разом поотдавливаете. По причине ножной хлопотливости вашей, по вине топотливости не хотелось бы иметь колченого бредущих вечностей, инвалидок мучительно 1-ой группы.

Пришипился, утишинился, вслушиваюсь в чье-то ненавистное, с хрипом рвущееся дыхание, точно преследующее гибло меня, оно мне что-то страшно напоминает... и вдруг понимаю, что это дыхание некогда было моим дыханием, и то, что я сейчас слышу, это шелест бывшего моего дыхания, донесшегося неизвестно откуда. Оно утеряло былую легкость, я так тяжело, так предсмертно никогда не дышал...

Это я из смерти уже себя подслушивал?

Лег спать, закрыл тяжелые, как гневные плиты, глаза, окаменело за день натруженные.

Перед внутренним зрением, будто выскочив из какой-то умственной резервной засады, тотчас вспухло слово из трех неотразимых букв.

Вы не о том подумали! Напрасно вы так о моей испорченности. Я чуть лучше, чем вы обо мне думаете.

Ура! Ура! – вот что вспухло во мне глубокой, сильно одревневшею ночью, словно я на сон глядя отважился на безнадежную, пропащую атаку, которая все равно захлебнется. О, это я отважился порадоваться жизни и прошедшему среднему дню!

Ура! Ура! Всецело ура!

Я почувствовал себя ликующе оттого, что хоть на мгновение удалось провести на трех буквах бездарно истекшую за день, совсем никакую жизнь. Потому и сон мой глубок, потому и бормочу невнятное из него – оттуда, где уже никому не достать меня ни презреньем, ни вашей ввек запоздавшей любовью, которую я, по причине ее небывания, не успел даже как следует потерять. Так что ни сновиденьем единым не извиняюсь, в отношении вас все сны мои ныне безвинны, – они успешно грешат в другом направлении. А засим – сплю, сплю, множественно, тучно сплю, вселенски прямо морфею, не мешайте мне громкими чужими шагами, сон мой может подумать: потусторонни. Ваши шаги до ужаса невероятия могут исказить мои дрожкие и мнительные сновидения, я не хочу, чтоб они были посмертны.

Я так увяз в своих тягучих, застойных и, кажется, уже бездыханных чувствах, что мне по методе небезызвестного гражданина Мюнхгаузена нужно срочно вытаскивать себя за незримые, за

непонятные волосы из разросшегося внутри болота. Иные средства никуда не годятся, я пробовал много – подъемная сила прочих изъятий чересчур слаба своей нечудотворностью, своей банальностью здешних спасений. Ничему земному, видимо, не вытащить меня ниоткуда. Тем более – из разверзнувшегося во мне далеко окрест *низачем*.

...И тогда я прочен, как даже не знаю что.

Ну, как, например, моя утренняя мысль попить крепчайшего чаю. Или, что равновелико с чаем, как моя запасная – из неприкосновенных запасов – смерть.

Я увидел, как человек побрезговал милой моей бедностью.

Я вынужден был, защищая бедняжку, нанести ему ответный удар: сердцем выкинул его прочь.

Навсегда отлучаю его от скромной своей бедности – он недостоин к ней прикасаться. Он изгнан навеки из моих предпочтений, а равно и из моего нескучного, разноречивого общества, в котором десятки моих бесподобно роскошных и неотразимых Я отправились сейчас веселой гурьбой пить шампанское, вкушать безумно сладко тающие во рту деликатесы и танцевать зажигательные танцы с ослепительной прелести мадмуазелями, и только один я сижу за опустелым моим, нехорошо притихшим столом, покинутый личными своими хлыщами, долблю на пишмашинке недоуменно взирающую на меня вечернюю тишину, если повезет, отколупываю у ночи мелкие прекрасные частицы, которые складываю прилежно в одному мне известное место, чтоб возникал постепенно тайник.

Денег у меня сейчас всегда хватает, потому что их нет.

Деньги очень и очень похожи на людей: своим пошлым, дутым величием. И реальным ничтожеством. Там, где крутятся более-менее деньги, жди верной подлости, неминучей.

Не умею доверять людям, которые не могут – так их распирает – скрыть любви к цапающим жадно за руки дензнакам. Ныне целые народы объяснились в нестыдливой любви к сим хрустящим и звенящим очаровашкам, живо ворочающимся в кошельках – вот-вот выползут и пойдут по телу гулять. Целые народы и цивилизации пошли у денег по рукам. И сколько еще будет их, ушедших в эту бездну, разверстую вдали! Таскать нам, видимо, не перетаскать. Хороших дел на много лет вперед хватит, скучать будет не о чем совершенно. Возможно, тут и зарыта философия общего дела, которую долго искали, но она отказалась найтись, ссылаясь на опасность попасть не в те руки.

У меня, как у крайне узко действующего писателя, и вся-то группа поддержки, а заодно и рекламная компания – мой ни за что меня любящий и явно безденежный (по глазам сразу видно) котик, просто обожающий заглядывать мне в рот, лишенный состояния покоя: а чего это я там пожевываю, бессовестно отнимая у его питания, даже не делясь с ним убегающим в сторону сытеньким взглядом? Не-хо-ро-шо! Так друзья не-разлей-вода не делают. Сам погибай, а друга выручай. А ты изуверство творишь, басурманин домашний! Так говорят ясным светом его зеленые, как роскошь лета, глаза, сопровождающие меня жмурящейся любовью везде, куда бы я в пределах дома ни запустил судьбу вслед своим разгульным и самозабвенным стопам.

Так и быть, отвалю котику добрую часть едомого куса, уверю его в своих кошачьих к нему чувствах. Кушай, кушай, мой ненаглядный котик, поправляйся кругленько на дружеской почве. Нам побегать еще предстоит, много раз исхудать успеем, только не сделать бы это занятье единственным, за неимением лучших и остальных.

Оконфузил меня котик.

Передо мной дурно пахнущая куча мертворожденных писателей, и всё с развевающимися знамённо на страницах печати именами. За этой повальной кучей виднелся лес штыков стоящих начеку ободратевших в партизанах критиков из группы хозобслуживания, плавно переходящей в группу захвата.

Сколько их, мертворожденных, сошло уж в бездну, а они все мертворождаются и мертворождаются! Вот ненасытные! Их теневой живости позавидовать можно огромно. Они не хотят умирать, даже еще и не пожив никогда. Это настораживает. Тревожусь о соблюдении приличий в обыкновении заведенных законов.

В маститом солисте все бездарно, кроме природно чудесного голоса. Но недостачей, *воздушными ямами* личности и голос вдруг обнаруживается бездарным. Он тускл неизгладимой малостью и бесцветностью этого знаменитого человека-пустоты, человека-пустяка, не имеющего даже ни сносного имени, ни выносимой фамилии, чтобы хоть кем-нибудь быть иногда и от голизны прикрываться. Стоит ли открывать примитивную тайну его почти не существующего имени? Оно все равно ничего не даст. Оно нанести только может непоправимый урон, обдав кипятковою, всегда вероломною пустотой.

.....; и тогда мое сердце радо...

Теперь сочинить к этой фразе все остальное, подобающее чистому чувству этой фразы.

Итак, приступим с веселящимся и прекрасным от ясной радости сердцем:

Стоит увидеть, как она идет и уже издалека протягивает мне свою бескорыстную и чуть виноватую и чуть – неизвестно от какой участи – опечаленную улыбку, я перестаю хотеть быть собою и хочу быть только ею, для нее – жизнь напролет. Меня тогда уже нет для себя; я – только чудное продолжение ее дальней, полнеба осиявшей волшбой улыбки, на ясном завершении которой нежно, небывало отзывчиво трепыхается мое сразу сильно возросшее сердце, слегка накренившееся... закроем глаза на то, что это опасно...

И тогда мое сердце радо – идущей навстречу тобою и счастливым излетом поначалу в обрывке явленной фразы, которая ведь могла потеряться, не найдя для меня моего любимого, моего вечно бесследного человека, ту единственную, что долго так шла откуда-то издали, из невозможного отчуждения, из опаснейшей небыли. Ну вот ты и пришла... Через всю мою долгую жизнь, которую все-таки пересекла... Ты прости, любимая, что так затяженны и хрупки были мои ожидания, что так длительно, ненадежно они тебя вызволяли из пленения давних эпох... Но все же они привели тебя ко мне, мои терпеливые кромешные ожидания, указали окольно дорогу. Дай стряхну пыльный прах с твоих ног. Даже прах тот теперь никому не отдам. Все твое драгоценно без меры – дорогими ожиданиями я заплатил, сгинувшими бесследно годами. Многими моими убитыми сердцами. На века затвердевшей кровью. Но теперь все-все позади... Неужто и я за поисками тебя не заметил, как весь остался в былом? Кто ж сегодня и впредь тебя будет встречать в неизменно счастливом, в безоглядном порыве?

Кончилось время людей, которые одаряли спокойствием, щедро берегли время слов. Это было слишком обильным даром – окружить благодатным покоем. Тот дар уже не по нынешним узеньким временам, он для них бессмыслен и ненужно роскошен, впустую расточительный, непозволительный дар. Я чем-то должен отдаривать это даримое мне изредка спокойствие, а мне платить нечем, кроме слов, которые страшно обнищали и обрели свое запустенье, свой печальный и грозный упадок. Мне не отплатить ими даже час безмятежной души, светлый миг паренья свободы.

Никто больше не даст сокровенного времени, не наделит блаженной минутою. Никто, если всеми правдами и неправдами, если тихими, потаенными самоубийствами не выкроишь его за счет собственной жизни. Я сегодня возьму сокровенья у смиренного конца моей жизни, отбросив затем, по прибытии в те времена, тот ненужный опустелый остаток, что истрачен ныне был начисто. Я вызволю себе спокойствие из неприкосновенных личных запасов, из сугубо смертного. Вот старики собирают смертное (приданое для обручения с небесами) – скудный скарб первой необходимости, нехитрая обряда, в которой им предстать перед Богом, которая всегда будет при них за жизнью. Мне, видимо, загодя придется для немятежной души истратить свой неприкос-

новенный запас и оказаться пред Богом сполна голым и разоренным. Мне предстать пред Ним никаким. Пусть так. Пусть принимает меня таким, каким я буду отсутствовать перед Ним, пусть не обессудит, ведь при жизни мне неоткуда было взять самых простых спокойствия и безмятежности, самого обыкновенного благоденствия – тех пугливых одежек, в которые должна быть прилично одета душа, так не любящая сверкать голизною. Ей следует наряжаться в тончайшее и прозрачное, в пронзительно сотканное из непритронутой тишины умиротворение, если она хочет быть изящной, незлобивой душой. Если хочет плыть средь людей таковою, осуществляя в них вольный, ни на что не похожий, смертельно прелестный полет.

Меня окружают все больше люди с горбатой психологией. И не замечаю, как сам становлюсь психическим горбуном. Буду по-уродливому мстить тайно миру за свою увечность (за не-вечность)? О, превеликие фигушки! – моего мщения не дождетесь. Буду истайна вас любить, сам не зная, не прозревая, что это любовь. Буду нежно слепить вас моим негасимым сердцем, давным-давно уж ослепшим.

Это время такое – паравремя, мнимовремя, – когда большее значение и большую огласку имеет периферия, а не центр. Исключение составляет лишь взаимоотношение Москва – провинция. В Москве всё, даже глупость, известно. В провинции неизвестно ничего. А подлинное неизвестно даже больше ничего, неизвестно как бы с отрицательным знаком, оно извращенно безвестно. Как-то мстительно забвенно.

У истин есть одно неприятное свойство – быть соринкой в глазу, костью в горле, бессонницей средь ночей, вечным укором и бессменным позором. Кому по нраву придется эта неутомимо досаждающая и упрекающая штукенция? – Лучше на все истины стать слепым, так виднее будет.

Национальный эксперимент (а может, и поглобальней – национальный проект) на прозябание писателя в провинциальных условиях, предлагаемых к выживанию. Да и не только провинциальных, ведь захудалой провинцией повсеместно стал самый дух. И в столичках теперь писатель неизбежно провинциален, если не торгует чем-нибудь шибко расхожим. И тогда – торгуя – носит он высокое звание пастыря бессмертного базара, никакой писатель и близко тут не валялся. Все флаги ему во многие его руки. Слово! слово! ты бежи его поскорей. Впрочем, оно его и так давно избежало. Слово ведь не простофиля, оно намного умнее, чем мы о нем думаем. Оно и о нас думает намного умнее, чем думаем мы о себе сами. Таково вот оно, слово, – очень-очень себе на уме... Оно за себя еще свое слово скажет.

Провинциальный писатель умирает, естественно, в десятки раз больше, чем писатель центральный, заглавный, – обратите внимание, как щедро смерть прорежает окрестных российских поэтов.

Так какого ж рожна соблюдать обустроенные вами литературные условности, помогающие нам провинциально дОхнуть, а вам благоденствовать! Нетушки, я отдам концы и без вашей помощи, без предупредительных, ласково вьющихся вокруг меня услуг вашей предложенной к проживанию смерти. Потенциальный клиент с виду из меня хороший, даже обалденный. Но в глубине лучше не копаться, дохлое это дело, – там отвратнее меня потребителя не найдешь. Б-р-р-р, для рынка я просто ужас чистый представляю, можно сказать, его квинтэссенцию. Пугало для ворон и то меньше значит на протяжении всего устрашенного огорода.

Я вчера выводил погулять свой автопилот, который до сих пор помнит меня лишь промельком.

Сегодня я точно уж опередил эту ловко пристроившую свою писучую судьбу писательницу на целых три миллиметра! А то все время от нее отставал неуклонно. Да разве ж за ней угонишься?! Резва, сука в ботах, не по годам. Не поспеваю суетиться с личным сбытом и самораспродажей, чтобы она хотя бы на горизонте была различима, не потерялась из виду, а то я теряюсь, куда даль-

ше в литературной гонке рвать когти. Могу ведь явиться в другую сторону, где литературу совсем не ждали (вот удивятся-то, рты приотвалят). А это было бы с моей стороны большой глупостью, на которую я особенно падок, охотно способен. Коврижек и ливерной колбасы не давай, – но дай прибежать как раз не туда. Где обычно уже никого не бывает, лишь встречает с распростертыми объятьями разлюбезная, весьма расположенная ко мне пустота. Она меня всегда хорошо привечает, по-теплому. Наверно, узнаёт во мне какую-то свою родню. Общий предок у нас – отчизна.

Одни из самых важных и распространенных вещей на Руси были самосад и самосуд. Причем и первое – табак, и второе, хоть и прикидывается прозрачненько делом, однако тоже – полный табак. Мы табаком изрядно подзаросли, сквозь всю историю и географию. Поэтому так бурно дымим и надсадно кашляем, а политики наши – так те вообще очень часто страдают раковой одутловатостью туманно задымленного мозга, который сам по себе может сослужить службу хорошо отвлекающей дымовой, а заодно и шумовой завесы. Такова специфика. Она у нас очень спецификоватая. И неуловимая, как вечно присутствующий где-то смутьян, которого все ловим и ловим, а он ни в какую, зараза, не ловится.

Расплевались две литературные дамцы, конечно, вдрызг. Мимоходом и литературке досталось – ее задели-таки несколькими так-сяк словами. Посторониться она не сумела, растопыра неповоротливая, простодыра, а временами, как на нее накатит, – непроходимая дура.

Расплевались дамчата. Как и принято в великой современной литературке великолепно базарного направления. А что еще делать-то? Ведь никто не виноват. Абсолютно ж никто. Не ищите в нашей литературе виновных, они теперь далеко не там, так как все стало за ее пределами. Даже сама литература выставила себя за пределы литературы, не то сгоряча, не то невзначай, не то просто сдуру. Это со временем, изучив свежую рану на месте, скажет литературоведение, если, конечно, оно куда-нибудь себя так-таки и доведет, не сходит по неосторожности внезапно налево, в колючую прозу или в обочинные стишата по грибы опята. Это и будет для него неминучей гибелью... Вот уж от кого не ждали...

На дальнейшую, так сказать, минимум-жизнь остается 7 небольших, даже с виду не то скромных, не то паршивых рублей. А ведь нередко так ни с того, ни с сего остается. Раз – и осталось. И внезапно живи как хочешь. Поэтому в заунывной картошке вижу больше правильной идеологии и верного, точно упреждающего смысла, чем во всем остальном. Зюганова же съесть невозможно. То ж самое – и сладкозвучного либерала: невозможно его к зубам прибрать, никак невозможно. Несмотря на соблазнительную гладкость и внешнюю вкусность и кусковатость обоих в филейных местах. Зубенки-то в миг пообломаешь, взявшись с удалью есть.

И ведь так привольно по всей глубинной, донной России расселилась экономная картошечная проголодь, презирающая жирные куски ходячей политики. Проголодь – наша скромная идеология, наша величественная национальная идея, которую нашли мы давным-давно и вряд ли когда потеряем – это наше всё, это, можно сказать, наш бытовой Пушкин, повсеместно разлитый, а также разбросанный под видом картофельной ботвы и ее же – картошки всесущей – очистков. Это ж просто поэма гражданского аппетита в натуре, поэма, расселенная, раскинутая как ей самой лежится в нашем необъятно голодноватом пространстве! Вон как оно уже примеривается к тебе ненасытным, всеядным глазком...

Народ – понятие весьма относительное и приблизительное. Все более размытое и размываемое. Ну, электорат, конечно, в первую очередь, этого у него не отнимешь. Ну, товаропотребитель в немалой степени. Что-то там еще хватающее где плохо лежит и не возвращающее никогда обратно. Что-то не любящее никакого служения для общероссийских дел, презирающее всякую общую пользу. Сброд личных, не желающих поступиться и уступить потребностей. Молекулярная масса. Биомасса также, этого тоже не отнимешь. Свобода дикого и низменного, разбитного.

Непредсказуемая, пугающая бездна, из которой с завидной регулярностью исторгаются убийства, катастрофы, темные истории и от которой ждать нечего, кроме хорошеньких неприятностей.

Не хочу такого монстра. Без меня народ очень даже всегда полный. Даже полнее, чем если бы меня не было.

Или все это врут мои тайнонародные мозги и народ есть что-то другое? Наподобие, будем надеяться, пушистого шоколада.

Не пугайтесь, пожалуйста, это я себя испугал народом. В качестве прививки – чтобы впредь не очень яростно его бояться.

Зачем вам был дан Толстой, когда вы продолжаете по-прежнему ненавидеть, когда вы погрязли во всем разноличье и безличье вражды?! Я отнимаю у вас моего Толстого! Всё, хватит, кончено! Лишаю Толстым вас на ближайшую сотенку лет. Вот когда малость образумитесь, тогда и приходите, может быть, его вам осторожно верну. Но коли будете продолжать глупо так ненавидствовать, даже и не заикайтесь о никаком возвращении. Вам ничего не светит, ничего-то вы не получите! Ну, может быть, Агату Кристи я вам еще и верну, со скрипом, с огромной натяжечкой, но на большее и не надейтесь, не обольщайтесь рассчитывать. Да и то если ваше поведение выправится и будет слегка удовлетворительным, вытягивая на среднемировой хотя б уровень.

Хоть расшибись, пошлости не объяснишь, что она пошлость. Равно как и глупости. И всему, что носит характер эпидемического самомненья.

Дураку никогда не приоткрывается, что он всамделе дурак, натурально таков, – это уж прочное такое устройство, неподпорчиваемое. Своего рода непрошибаемый талант – быть дураком. Не каждый сумеет.

Этот с превосходством называющий себя порядочным человек хуже спившегося, – последний (он всегда последний) хоть что-то брякнет наобум истинное, навзрыд исстрадавшееся, до боли чувств истошное. Он неотклонимо, непогрешимо правдив в исковерканных, смятых в дрянь чувствах. Он правдив хотя бы в дряни своей. А у этого порядочного истинно лишь его довольно отъевшееся на полуправде пузо, каковым он рассекает надменно не достойные его касаний волны скоропортящегося народа. Порядочный бухнет такой очумелой прописью, что тошнехонько станет всем кряду устоявшимся традициям, – их тут же поколеблет и опрокинет рвотным прибоем. И поминай, как их звали. Но ничего не помянешь. Отшибает и память.

Русский вариант удовольствия: сладострастие горя и неудач.

Вот чисто русская идиома: трезвый и злой.

Ну нельзя же сидеть в каждом слове моем и движении! – Отзыньте! Не сопровождайте меня мутью въедливых глаз и сорными возгласами. Я хочу побыть исключительно один, в беспримесной чистоте помыслов своих и покоев, в идеальном сиянье личных своих движений, не запятнанных посторонним.

Свободы хочу незаразной.

Она бесприютный человек. То слякотный, то ледяной, то ветреный. Дует ветер из нее северо-западный. Не бывает в ней безмятежных тихих погод и сентября, а октябрь очень куц и всегда второй половины.

Сразу видно – этот человек не один уже раз умирал.

Нестерпимо внимательно слушает, боится хоть слово живое одно упустить. И смотрит – как в последний раз, на самый последок, на самый. Разлукой смотрит и отстраненностью и собствен-

ным своим отсутствием, все яснее очерченным, проступившим настолько фактурно, что оно видимо вдруг ярче насущной реальности: прозрачная зримость отсутствия.

Он уже основательно сделался прощанием. В скорбях прочно осел на постоянное местожительство. Туда не идут поезда. Ох, как они туда не идут, всей бездвижностью! Это где-то далеко-далеко не здесь, далеко. Может, мы когда-нибудь там побываем. Есть надежда. Только следует прежде как следует умереть. Только следует прежде... Только следует...

Позвонив маленькой дочке, позвонив моей Лизе, я все равно буду, превосходя себя в упорстве, твердить: "Какая у нас красивая в Саратове осень! Ты даже представить себе не можешь! Эх, если б ты только увидела мою осень..."

Чтобы это в разговоре слышалось главным.

Чтобы какой-то почти мимолетной частичкой в нее заронилось, что главное в любом разговоре – вести речь о красоте. Что, если никто между слов не обращает внимания на красоту, то и нет разговора. Значит, никто и не общался ни здесь, ни сейчас, и была где-то тут одна небыль.

Этот дом опустел вчистую, он сделался – наглухо. Лишь повсюду беззвучно и беззаветно поваливались недотыкомкины вещицы. Сама же недотыкомка таилась где-то рядом, даже ближе желаемого и необходимого, изредка зачем-то незримо выглядывая. Вот всегда она как-то не по-людски! Нет, чтобы сесть ощутимо и внятно за стол и впрямик сказать пару мизерных слов. Все-то бы ей что-то истайна лишь шепнуть, все из подлой своей незримости, прячась за неуловимое... Так не годится. Так тишина дальше здесь не пойдет. Следующая станция – неприбытие.

Зря писатели на себя наговаривают – про шахтерские якобы сложности фразеологического труда. Это они дурака валяют, возмечтав выставить себя мучениками, которых надо издалека почитать и снизу, взглядом для пьедестала. Писать – самое легкое в мире занятие, местами полетное. Читать теперь стало самым трудным делом, вот оно что, делом практически неподъемным и неодолимым. Поэтому многие и отказались трусливо – а вдруг смертельно опасное это занятьице? На героический подвиг лежания мы еще способны всем существом своим и всеми его крайностями, на слабый поступок чтения – нет. Руки сразу начинают тремором браться, гнутся предательские колени. Слабы в коленях мы пред буквой букашечной стали. Не выстоять уже перед натиском любого даже средневооруженного романа. Скоро вся наша бедная, погрустневшая территория будет занята голубоглазо наглыми волапюками, невинно помаргивающими. Они-то и устроят нам давно призываемый на княжение, наш многочаемый, наш родименький геноцид. Будут вам ужо блинчики-романчики, записулечки в три сметаны. Наваляетесь. Для подвигов лежания и нележания. Для героизма небытия.

Так и хочется иной раз, чтобы кто-нибудь хоть нечаянно, хоть матерщинно воскликнул: «Вот, сука, как здорово пишет! Ай да мы его, ай да ну и ну! Убить такого мало! На десять расстрелов такого хватило бы...»

Лучше Государственной премии, ей-богу. Ту нечаянно пропьешь, нагрянув. А слова не вырубишь и топором, это уже плоть и кровь. А топором если замахнутся – это будет уже кровоубийство. А за это отвечать да отвечать придется. Это уже суд. А где суд – там обычно и тюрьма близко маячит. А там уголовнички. Вожделенно поуркивают, зада ждут. За всю литературу и помимо нее сполна воздадут. Уголовнички умеют дары дарить крепкие. Для этого они и созданы, хоть и выглядят от противного, прикрываясь сознательно извращенною нравственностью.

Лучше держитесь от меня в сторонке и не смейте смешивать меня с матом! Золотую цепочку всего нехорошего я пред вами уже раскрутил. Повесьте себе на шею. Сгодится носить.

Сколько дурачья налипло вокруг литературы! И не продерешься, чтобы поцеловать любимую в губы, сказать ей пару ласковых слов. Совсем перекрыли мерзавчики доступ к прощанию с телом последним.

До того хорошо наловчились разворовывать Россию, что в одной из публикаций у меня слямзили даже пробелы между различными фрагментами текста. Недорасчленили меня. Жду с замиранием сердца публикаций, когда лишат пробелов между слов, а затем начнут уворовывать и скромные буквы. Надеюсь, к концу жизни до последней буковки поразворован я буду.

Хоть точку-то мне оставьте, лиходеи. Она ведь, странница милая, со всех сторон неопровержимо, неотвержимо моя! И будет, к тому же, на что меня схоронить довольно шикарно. С музыкой, с помпой, с плачущим навзрыд безутешным народом. С огромным всем прочим. Только в точке последней надобно будет хорошенечко покопаться, чтобы сжатых в ней кумулятивных щедрот раздобыть. Их хватит на все случаи жизни. А на смерть-то уж точно достанет – скупа и узка она, нерастратна. К тому же – самоокупаема вполне. Хозрасчет там извеку процветает. На нем одном она, считай, и держится, потому что удачная это форма экономической деятельности, беспроигрышная. Иначе нигде бы смерти давно уже не было. Вот что такое точно попадающая в жизнь экономика, нацеленная на дальнейшее.

Прочь, сомненья! Не разъедайте вы меня. Я и так разъеден, разложен и высоконравственно деморализован. Самое то из себя представляю для борьбы с призраками. Неуловимым становлюсь все более, а бесследным – особенно. Теперь за мной больно много-то не усмотришь, больно-то меня не проследишь. Где-нигде натворю кой-чего. Непременно уж наворочаю дел прозрачных. Даже и не заметите ничего. А на той стороне бытия будет все аккуратнейшим образом сделано, точка в точечку, отсутствие прямым попаданием точно в отсутствие.

Единица глупости – один вакуленко. Вы спросите – а что это еще за вакуленко такое, с чего взялась подобная мерка идиотизма? Да Бог же его знает. Я и сам хотел бы уяснить это. Из чистого любопытства ко всему чисто неизвестному и никакому. Говорят, где-то в Саратове теряется в народе словесный профессор с похожим названием. Но скорей всего врут. Ведь чего только в жизни не бывает – даже и того, чего не бывает. Это тем более уж в России бывает. Как раз такое обычно в России и случается. Просто из упрямства побыть во что бы то ни стало, вопреки собственному опостылевшему небытию.

В вакуленках глупость теперь мерьте, господа и их превентивные подруги, непременно в одних вакуленках. Никогда не ошибетесь, и обвеса никакого не будет. До граммулечки принесете домой ходовой дражайший товар. Вот ужо полакомитесь!

По-настоящему писать в любой стране в любую эпоху умеют всего-то несколько человек. Иногда ни одного; времена текут очень худые. И тогда Бог что-нибудь делает от отчаянья. Иногда с собой.

Только я сел к батюшке-компьютеру пословословить, как тут же и луна в окне расселась в небе напротив.

Дождалась, что ли?

И чего тебе все неймется, госпожа луна? Мы ведь люди с тобой разных профессий. Ты по небесным делам и заделью, а я иногда ползком – исключительно по земным. Да и то в основном по кухонным и недалеким окрестным.

Не напрасно ли ты меня поджидала, а потом вне терпенья расселась с грустью напротив?

Сейчас проверим с первой же строки.

Нет, сегодня будь напротив души моей, госпожа ясноликая. Ныне ночью ты мне никак не напрасно.

Будем вместе отворять и затворять слова. Только как бы тебя, дорогая, не просквозило. Сквозняки тут бывают свирепые и безудержные. У меня-то давно иммунитет, а тебе, луна, не помешало бы от сквозняков привиться. Вон, смотри, какой уже ветр словесный подул! Тучей краешком хоть укройся. Потому что с насморком луне быть негоже. С насморком порядочные луны

напротив души не бывают. Чих да чих, чих да чих – не дела это. Это сплошная ж одна болезнь ночи, протянутая уже встающему утру, а не моя писанина.

Я хочу, чтобы фраза у меня улыбалась – излучая в мир добрую, юно мерцающую эмоцию.

Довожу ее до такого мучительства, что она того гляди обхохочется, от причиненной ей боли окончательно запутавшись в чувствах.

А знаете ли вы такого-то, такого-то и такого?

Ну а я как могу знать таких-то, если они ничего не написали, чем-то до чрезвычайности странным исчеркав много лишних томов?

Я их знаю, но пусто.

Их все-таки не знать нельзя – они слишком много пустоты вокруг распространяют. Она крикliва. Она смешно щекочет бока. По ночам занимает добрую часть очень занятых моих сновидений. А ведь одна аренда редкостных снов встает мне в копеечку, очень даже и не сновидческую. Вы бы совесть имели. Так безрадостно меня разорять, столь беспочвенно оскорблять!

Какая-то крокодильски бескровная проза. Очень слабое брезженье литературного таланта намечалось в нем лишь вспышками графоманского сияния, иной раз весьма радужного. Любил он, стервец адреналиновый, рискованно балансировать на самом краю с графоманией. И ведь не боялся же, отчаянный! Хлебом его не корми – только дай ему покрокодильничать, нас вволю попугивая. Не удивлюсь, если однажды мы найдем его в той пропасти, причем чуть живым, если не вообще мертвым. Дошляется он. Ох дошляется.

Да и деваться ему некуда. Нужда скромного дара заставляла ходить узко. Как протоптал с неоперенности одну набитую дорожку, так и шлялся по ней взад-вперед, вот помешанный! Других путей не знал, был слеп на незримые тропинки, на них не умещался. Ибо матерый со временем выползал из него графоманище. Иногда значительнее даже любого добротного писателя – тот все чаще скрывался в незримость и в небывалость, нашел, называется, глупец, всем укрытьям укрытие. Его редко когда можно было разглядеть в натуральную величину, добротного-то. Ну, так ему и надо, если брезгует быть учащенным сердцем народа и присутствием его в мире.

Сколько окололитературной сволочи!

Больше, чем народу в России.

Если б знать, из какого дополнительного населения эта дрянь берется...

Ну что с этим сделаешь... – чудовищно средний писатель...

Средний писатель всегда чудовищен.

Потому что назначение у него такое – пугать, развлекая, и развлекать, многовидно страша, смирного и ни в чем не испуганного обывателя, вероломно имитирующего в России в целом замечательный средний класс, который удивить чем-то трудно, практически невозможно, – он сам собой удивляется, так как существо это чрезвычайно самодостаточное, превыше всех мер мира. Средним классом мерить можно абсолютно все – расстоянья земные и до небесных светил, вес всамделишный и вес призрачный, наличие примесей в воздусях, посевные площади, идеалы, длину крокодилов (попугаями мерить теперь – отменить!), всякую пропажу и всякое наличие, а также все, что помимо всего. Такая универсальная это и преудобнейшая во всех отношеньях штукенция. Да, забыл еще: любая отмычка к любому замку, к каждой бочке затычка. Вот какая всепоглощающая полезность – средний класс. К нему бы всех поголовно писателей приставить надо, чтобы он беспрерывно был духом бодёр и ответно бы нас веселил. Да разве ж напасешься на такую прорву достойных писателей. Поэтому и случаются иногда отдельные грусти и недоразумения мимолетных печалей. Ничего, мы эти вопросы слегка порешаем, все дурные наклонности эмоций исправим. Фон жизни у нас будет сплошь из страстей добропорядочных и приличных,

негатив весь на заднике подскребем. Ни пятнышка никакой скорби скоро вы там не увидите. Это чушь потому что. Особенно смерть. Которая по оскорблению чувств совсем уж последнее дело.

Сия глубоко вторичная несиятельная писательница много отчего-то о себе навоображала. Результаты не заставили себя долго ждать – явились. После катастрофических последствий воображения выбилась из ужасающих всяческую фантазию завалов в глубоко вторичные личности, что, сознаемся, было полной и почти приятной неожиданностью: мы ожидали полной гибели всерьез, так как вследствие таких катаклизмов мало кто уцелевает. Но ведь мужественная была дама, сугубо живучая. Ни слезинки при этом не проронила. Впрочем, плакать она давно перестала. Сразу в детстве и прекратила это гиблое ручьистое занятие – потом слишком много мокрого места от тебя остается. А это во глубине тусовок считается неприличием. Даже верхом его считается. Мокрить знать и уметь надо, где и когда. Всему свое место. А то так все гадить начнут где ни попадя, только успевай хорошенькие места прятать да перепрятывать. Не напасешься мест никаких.

Окололитературный таракан – он, конечно, всюду расползается. Везде поспевает. Несмотря на то что премного один. Вернее, до неразличимости один и тот же. Как ему удается достичь такой множественности? Много замечательных писателей не умеют так хорошо распространиться, как единственный он. Никакого широковатого таланта не хватит, чтобы разгадать одну эту простую загадку, недоуменно вперившуюся диким взглядом в чьи-то раскорячившиеся в даровитом порыве мозги.

Легкого чтения не бывает. Есть только усиленно облегченный читатель. Да ведь, Александр Сергеевич? Если я ошибаюсь с помощью детской своей болезни левизны, вы меня не церемонясь поправьте, как былой матерый райком. Я человек вслушивающийся тугим, напряженным ухом. Люблю больше всего на свете прислушиваться к тому, что не здесь, не сейчас происходит. А особенно к тому, чего вообще нигде и никогда не случается, не бывает. Спасибо за Ваши бесценные подсказки из ниоткуда, неутратное, нераспыльное Наше Всё.

Он трижды несвободен. По причине издания, где прикормлен. Из-за принадлежности стае, где обласкан. И сам по себе, совершенно бескорыстно. Третья причина столь прозрачна, что выглядит уже добровольной.

«В эпоху развитых коммуникаций, когда в каждом доме Интернет и телевизор, популярность исключает свободу действий. Информационная эпоха делает всякого известного человека заложником ситуации. Как только человек становится популярным, он утрачивает способность создавать ситуацию. Теперь он может только встраиваться в нее. (...) Поэтому у популярных фигур сегодня не может быть собственной долгосрочной стратегии. Реально – это пешки в очень большой игре. Кто же тогда игроки?»

«В захваченных городах всегда звучит музыка победителей. В Берлине 1945 года во всех ресторанах и кафе звучали советские песни. Зайдите сегодня в парижское, московское или мадридское кафе, послушайте, какая музыка там звучит, и вы поймете, кто стоит за новой технологией оккупации. Нас побеждает что-то нечеловеческое. Ритмы в стиле «бум-бум» не имеют корней. Это что-то механистическое, технократическое, чужое, вызревшее из недр безбожной потребительской цивилизации, которая растворяет в себе все живое и человеческое».

«Предупреждаем: никому не верьте! У нас нет лица. Кто скажет: «Я – автор этого текста» или «Я лидер «Проекта Россия», тот обманщик и провокатор. Будьте готовы к провокациям. Враг силен и умен. Но мы выстоим, потому что нас нет. Потому что «музыка и слова – народные». «Проект Россия», книга первая (произвела на меня ошеломительно умное и ошеломительно честное впечатление; советую-советую...).

Культуру надо даже не навязывать, а насаждать. Огнем и мечом. И не совсем духовными огнем и мечом. Пора, например, ввести прямую порку душераздирающего населения. Ну хотя бы для выведения лишних шлаков из организма. Да ведь и как-то к душе населения проникать надо, побуживать к порывам ее. Не то забудут последнюю душу где-нибудь в неподходящем совершенно месте, останемся с одной голой задницей. К чему нам она? Из нее сердечности не извлечешь. Не такая тонкая это материя.

Никаких претензий к среднему классу нет. За исключением того, что он несет мелкую, подловатую идеологию, замешанную на бесчеловечности и усредненности – усредненности как эталонном императиве.

Ну, пусть несет. Может, куда-нибудь и донесет что-то эдакое. Хоть какой-то, а прибыток, что уже неплохо средь сплошных убавлений. Пусть государство хоть чуток разжиреет путем жировых наслоений среднего класса. Лишь бы в целлюлит не перекинулось. Государство у нас и без того одышливое. Еле-еле прется в самую мелкую горку. Старо стало, надменно вальяжно, ходит вразвалку. В дом престарелых, может, его собирать потихоньку?

Я сам себе сделал успешно операцию на выживаемость. И ничего. Только сначала больно. Потом из-за смерти ничего не чуешь. Слегка лишь пощипывает что-то невзрачно. Ну, у смерти ведь тоже есть свои любимые боли. Иначе бы что же за вещь такая была – смерть? Одна голая, скучная ровность. Но это никуда не годится. Еще не хватало в смерти от скуки концы отдавать! Нет, смертушку надо взбодрительно чувствовать. Не то и оттуда совсем пропадешь. Вот тогда уже точно всесветный каюк. Неизвестность окажется полной, разлитой до самых краев. Даже зряшное тело никуда там не втиснешь. Так многие и пропадают, едва выйдя из дому.

А что не жестоко? Жизнь? Любовь? Или друг сердечный? Назовите хоть что-то, причастное людям, что было бы не жестоко. В России даже картошка жестока, не говоря о других чувствительных вещах.

А вы твердите – я жестковат. Нет, я значительно мягче обычно людского. Просто кисель человеческий, а не я. Причем откровенно черносмородинный, для отбивки лишнего запаха и для лучшего сбыта. Вот какой я специально продажный, навязанный во вкусовое общенье. Купите, а. Я ведь практически нипочем. Обертка и транспортировка бесплатно, потратится фирма. ГОлоса ни в какой крайней ситуации ни ползвучинки не подам. Буду тихо лежать средь квартир, упакованный, слыша млечно и медленно протекающую мимо, мимо меня вашу речь.

Но если уж я говорю, то тем паче
Есть голос и у пустоты.

Инна Лиснянская, «Знамя», N10, 2006 г. Как Лиснянская, казавшаяся в 70-е годы лишь добротным литератором, обратилась в одного из лучших поэтов – неразрешимая загадка. Такой тайна и должна быть – в чистом виде.

«Где тайна, там и жди дьявола». Л. Гумилев.

У всех, всех вокруг есть своя правота. Жужжат и жужжат личной правдою. И у меня есть своя правота. Вот я ее и выискиваю. Так что же вы сразу кинулись на меня обижаться? Что же на жужжанье-то обид не таите? А тоже ведь правота, чуть ли не настоящая. Ну а вы считайте, что я тоже жужжу. Жужжу себе да пожужживаю. И мне понетягостней будет от вашего легкого невнимания. И пройдет моя правота стороной, как дождь средь немых зарниц. Будет она конечно же босиком. На длинные дороги слишком много обуви надо. А у нее лишь осталась пара стоптанных босоножек.

Нужно получить такую массу унижений, такой заряд бодрости отвержений, чтобы всякий страх слетел с тебя до конца жизни и даже несколько забегая вперед не туда, куда надо. Вот тогда и запишешь вольготно. Тогда уж точно запишешь, попадая в самую точную точечку. Мгновенно запоешь. Даже как-то помимо себя и чуть поневоле, при том не теряя и волю.

Запишешь, завопишь и запоешь – един в трех лицах, глотках и голосах, которыми с избытком запаса снабжает отчаянье.

Наиважнейшим из всех искусств для меня является искусство шевеления ушей моей тени на стене во время еды. Неподражаемо! Потрясающе невыразимо! Как только задумываешься специально так же взметнуть ушами – все очарование тотчас спадает, вся картина непроизвольного эстетизма разрушается. Вот не надо птице говорить, что она изящно летает, а раку – что ползет назад восхитительным попятным маневром. Эта разучится крылато летать, тот – задком ползать. Я утрачу теневое искусство поплясывания ушных торчков на стене. Нет уж, буду молчком кушать, исподтишка наблюдая метанья ушей по стене, нарочно об этом не помышляя, не исхищая коварно добычливой мыслью сей чудомудрый танец мира в отдельно взятом месте.

С каждым днем мне встречается все больше замечательных людей. Лихорадочно ищу для их размещений новых в себе душевных покоев. Как ни страшно, как ни лень, как ни стервенюсь я заниматься даже мелким строительством, а придется возводить промеж себя дополнительные жилые массивы. Это не будут спальные районы. Все расположится в центре. На две чудесные страны народу уже хватает. Россия-2 будет? Нет, что вы, – просто Россия. Россия обыкновенная. Я в основном оттуда людей встречаю, из наших запасов черпаю.

Перенаселения на этой планете никогда не случится. Так как чудесные люди не перенаселяются. Чем больше их, тем нетеснее. В этом-то вся прелесть чудесности. В этом – нечаянно возвратившийся распрямленный простор, гордо ставший собою.

Как можно роптать на жизнь и желать еще чего-то случившегося бы, непроизошедшего, когда в моей жизни и так всё уже поперебывало. Замечательного и неповторимого – на несколько человек, плохого – еле-еле на одного потянет. Да и того несчастного я давно из себя с позором изгнал, чтобы не ныл мне назойливо в душу, не дышал в затылок, не мельтешил перед свежими счастьями, чтоб уныло не клянчил, разнюнясь, все лучшей, упоительно незнакомой жизни.

Благодарить жизнь надо, благодарить неустанно – за то, что обильно так подарила, за то, что мало так отняла.

У других-то жизнь чаще всего отнимает почти все, оставляя для утешения лишь прекрасно ухоженное тело да две-три ненадежные краткосрочные памяти. К итогу лет уж обязательно присовокупит к подарку маразм, не удержится по инерции от бесперебойных щедрот.

Хотя, конечно, и мне маразм приплюсует. Но это уже в виде особо ценной награды. Вряд ли в своем маразме маразм я узнаю. Наверняка разгляжу в нем не бывавшее ни с кем никогда новое счастье, ни на пятнышко еще не запятнанное, извеку непритронутое.

Сегодня мне взбудораженно, даже сногсшибательно снилось, будто я богатырского роста и телосложения, кулаки – по приличной голове добротно уродившегося в хороший год младенца. Всю ночь, естественно, куролесил в каких-то физических подвигах, гордых и неудержимых, преимущественно патриотической направленности. К чему бы этот куншток? Сбылась наконец-то заветная мечта меня тринадцатилетнего? Вот ужас-то... Это, оказывается, была мечта идиота.

Но как же долго вымечтывался, проклевывался в подсознании этот физически несшибаемый обормот. Только на 52-м году жизни я его отчетливо разглядел и во сне все еще радовался на него во всю силу дебильного духа.

Теперь сей обалдуй, как уж водится, повадится таскаться в мои сновидения делать подвиги. У меня в снах герои очень продолжительные и редко меняются, неуклонно превращаясь в героев эпи-

ческих. Инерционная масса психики чрезвычайно большая. Только недавно кончило сниться, что я завладел богатствами того самого острова сокровищ, где я был убит наповал черной стрелой. Так вот и живем беспрерывно в неописуемой роскоши. Побреживаем туда-сюда потихонечку да побреживаем. Из детства в старость, а потом и обратно легко добрести, на боковую тропу возраста по желанью свернуть. Дорожки там великолепно протоптаны, земля на них убита до черного блеска. Всё четче и отраднее яснеются они перед долгожительными глазами, в одно мгновение разбежавшимися по всем возрастам, по многим изжитым годам. Вместо глаз ощущаю рассЫпавшиеся года. Вместо постылого тела идут все бывавшие со мной листопады, все прошедшие мимо меня осени.

Отчаявшийся человек всюду имеет выход. Так широк он становится. Только деть себя совершенно уж некуда.

Рукою на день моложе за столом помоложе
был иначе нарезан вчерашний хлеб.
Вислава Шимборская, «ИЛ», №6, 2006. Именно такое люблю в литературе. Моя любовь сконцентрирована здесь в беспримесном и почти беспамятном от обожаний виде.

Некий пис. (всем писам пис) говорит, что серьезность – признак графомании.
И отсутствие серьезности – признак графомании. По-моему.
Что же талант?
Запутался. Всем писам стал пис.

О, как не по пути мне с примкнувшими к искусству людьми! Явно не туда они пошли направляться то гурьбой, то гульбою, а то и тем и другим одновременно, что не лезет уже ни в какие ворота. В нонсенс еще влезешь, в ворота – ни за что в жизни.

Он всегда из примкнувших. Другим не бывает.
Настроение обычно не то.

Зачем вы подсунули вместо этих людей фальшивки, которые я успел полюбить? На которые я много чего уже приобрел. Чем мне перерасплачиваться? Чем хотя бы оплакиваться в неизбежной тюрьме долговой?

Человек без собственности в глазах – ни личной, ни общественной. Какая-то промзона во взгляде. Или в лучшем случае – хоздвор, из покинутых и раскуроченных. Воровство там всласть погуляло и натопотало, кое-где по углам всыть нагадило.

За первый месяц после публикации повести было целых минус 0,5 отклика. Уже превосходно, хоть и могли бы понекислей. Отрицательный результат тоже результат, причем еще больший, чем в науке. Даже не знаю почему. Просто теряюсь знать.

Прочитали слегка, понедоумевали, месяца три для приличия помолчали, потом начали обвинять в том, что неправильно я умирал. Проницательно подсказывали, как нужно было умирать лучше. Показывали красивые коленца и позы кончины.
Я, конечно, все понял. Стал умирать гораздо иначе, поосмотрительнее. Чтобы никто ничего не заметил. И чтобы из смерти моей ничего нельзя было понять и извлечь. Я сделал смерть герметичной, словно тот свет, непроницаемый свет, где мереть – покойное дело.

Мне не грозит никакой читатель. Но ведь и я тоже никому не грожу. Веду себя крайне тихо и смирно, до невозможности небывало. Зря все-таки вы меня испугались, переполошились не-

предвиденными моими явленьями. Не страшнее же я испуга. Крокодилы и то ужасней бывают. На целый порядок.

Никакому писателю под меня своим текстом подлаживаться не надо. Я его все равно тщательно, пристрастно и донельзя возвратно прочитаю. Всеми видами чтения его обойму, какие только есть в моем странствующем распоряжении. Если только это действительно писатель. Пусть подлаживаются под читательский наполнитель, под его величество пользователя и потребителя, коими и является преимущественно буквопожирающая масса. Уж до нее-то писателю нет никакого, даже самого второстепенного или второсортного дела. Он не производит продукт. Он производит нечто. Нечто – чему редко найдешь названье, особенно приличное.

У этого критика тьма примеров собственной художественной слепоты. Потому так боек и буйноречист. Не уймешь никакими кирпичами премногих томов. Мгновенно развивает бурную ответную деятельность, которая также, в свою очередь, выливается в премногие тома, которые читать другим. Так и происходит перенаселение книг на земле. Бедные, бедные, скоро им кушать нечего будет. Станут глодать книжечки одни буквы сухие и черствые, запятыми питаться подножными и корнями лексических трав. Вот беда так беда.

Вот тебе участочек для боли, гнева и смеха, на нем и участвуй сколько тебе влезет, во всю глотку свою разоряйся. Зачем суешься по непрошенным сторонам? Что ты лезешь все за пределы? Мало палкой стучали по морде?

Не могу, расширяюсь помимо себя. Без вины виноват получаюсь.

Ты лучше умри, но ни в коем случае не смей сказать о нас плохого. Мы не привыкли к нарушению нашего спокойствия. Нам дорогА наша во всю жизнь растянувшаяся недвижная тишина.

Да ты и так умер. Не хватало нам еще заупокойные слова слушать! Делать нам, что ли, больше нечего?! Теперь что хочешь, что волен бормочи себе под нос там, на свете обратном, не нашем. Какое нам дело до твоих отлетевших слов? Какой в них прок? Ничего-то в них не слышится ни сблизи и ни издали. Комар и тот живет голосом громче и развлекательнее. Не говоря о животных более крупных, полезных. Нередко и млечных. Довольно удойных. А с тебя как с козла молока. Ну, и на том спасибо, дорогие товарищи, что милостью своей не оставили, – замерев, отвечаю с поклоном обратным, но полновесным.

Вы считаете, что имеете право писать всякую глупость и мутотень. А я считаю, что имею право писать абсолютно все, что для меня важно. Вот вам моя свобода. Она вся перед вами, без хитрых утаек, лазеек. Не нравится такая личина ее? Вы предполагали, что она у меня другая – безгласная, безропотная и никакая? О нет, моя свобода не как у вас, на вашу ничью она не похожа. Она посвободнее, своенравней и побродяжней, потому-то и выглядит хуже, чем ваша, плетущаяся бок о бок средь чужих мнений. На людях надо прилично выглядеть, иначе не понять могут. Все правильно, верно, и вы замечательно хорошие, как с переводной картинки. Всем приятно, комфортно, все любят друг друга надежно исподтишка. Любовь нараспашку – это последнее дело. Гиблое это, доложу вам, занятие. По своей рваной, испепеленной шкуре знаю – спалил ее на ночевке в ваших любовях, у дальних прохладных кострищ.

«Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..» Лермонтов, «Герой нашего времени».

Эта мастерица культуры легко выбрала – с кем она? Почти не задумываясь, нутрецом не кривясь. На что указали бегло лучшие выгодные желания, то и стало без промедлений. Еще не хва-

тало этой блестящей во всех отношениях женщине копаться колхозно в грязи всякой правды! На это всегда другие дураки сыщутся, страна большая, идиотов непременно наскребется в нужном достатке. Они в той грязи и загнутся, подохнут. И правильно сделают, сумасброды, совокупного привета в головах по стране будет меньше, резко пойдет на спад количество идиотизма на душу населения. Довольно глядеть исподлобья, вздыхать тяжело и таить, мы будем друг друга беспрестанно хвалить. Такие уж щедрые мы, благородные, до предела корректные. Нас на все и всех пусто хватит. Да еще и на призраков массу летучую вдосталь останется.

Человек, паразитировавший всю сознательную жизнь на литературе.

Ничего, получилось.

Ничего получилось.

Ну никак эта строптивая литература не позволяет делать из себя карьеру, никак! Строит из себя недотрогу. Царевна-несмеяна, блин. А вот бизнес милостивей, он дает продвиженье наверх веселей. Нужно туда приноравливать все свои льстящиеся, ластящиеся силы, стопы. Все у нас непременно получится. Мы еще вам покажем, вы нас все равно увидите из всей нашей неразличимости! Все равно вы увидите нас из нашего светлого, из величественного ниоткуда...

Единственная претензия к нему предельно проста: всю жизнь ошивается около литературы, до которой ему нет вообще никакого дела. Не любит, не знает, с плохо скрытым восторгом ищет изъяны великих – специалист по их великодушным промашкам. Его основной литературной профессией было паразитирование на литературе, он солитером работал. Хорошо он к чужим словам присосался. Никакими временами и переменами не отдерешь. Вот червячина способный! Просто прикормился когда-то, никак не оторвется. Как-то даже наркотически втянулся в кормежку. И так пошел и пошел как бы в гору. По дороге к дальнейшему корму даже получил по случайности кое-какое имя. Как-то его ведь зовут. Спросить у просторов – они обычно что-нибудь знают, нередко и по именам. У нас же исключительно много даровитых и чутко знающих все без разбору пространств. Они никогда, никого еще не подводили. А вот на то он и талант, пусть бы хоть и премного окрестный, пребывший в далеком рассеяньи.

На фоне трупов многих погибших писателей, не справившихся на повороте с управлением своей судьбой, сей червь раздобрел знатно. Вот он – сверхудачно паразитировавший на литературе и поалкавший много ее соков. Его вы не сразу узнаете. Не тотчас и различите, ибо в основном он незрим. Но есть, неусследимо он есть среди нас, в этом не стоит и сомневаться. В животе у вас не поскваживает мерзавно? О, как далека, как всесуща червяная та тошнота!

Давным-давно, двадцать пять лет назад, в далекие прошлые эпохи перестал быть он писателем. И немедленно начал быть мерзавцем. Чтобы простоя не было.

Почти закономерность: если в человеке угасает талант, жди в нем производственного роста мурло. Свято место потому что пусто не бывает. Извеку не умеет оно быть пустым. Хоть негодяя ему тогда, но подавай.

Страшно не люблю начальства, особенно в нашей насквозь изначаленной исподтишка литературе, где каждый второй норовит стать завхозом всего учреждения, только немного уже богоугодного.

Просто от природы не люблю начальства, внутренне им брезгую, аж кишочками вздрагиваю при чуть начальственном дуновении. А руководители литературы ведут себя как приезжие областные начальники. И обязательно чтобы шашлык был и отвязные девочки, а привязных ни в коем случае не надо, это гадость и разврат с другой стороны. Баня еще. От парилки ни в одном тексте не отвертишься, пусть бы речь и зашла о судьбе среднепрудного, чуть взгрустнувшего карася. Откуда ж на всех них всего им набрать? Ресурсы в стране ведь имеют предел... но, правда, и беспредел. Это многое объясняет, и даже лишнее, чего объяснять никогда никому бы не надо – выйдет ужас из

тумана, вынет ножик из кармана. Вот и приходится писать как попало, то бишь как Бог на душу положит. А Он иной раз столько положит, что и не донесешь, а только стоишь на одном месте да крякаешь от удовольствий натуги, выпуча дурно глаза, из которых даже дорога выронена .

Крупноватое должностное лицо районного размера. Важный. Надутый. Ходит, естественно, дурак дураком. Однако на непросвещенный взгляд незаметно. Ибо живет среди таких же непревзойденных самодельных умников (они, конечно, знают все про все – от устройства атомного реактора до устройства лихих бездн души, но покуда держат про себя в тайне, чтоб не смутился народ). Это вам не шукшинские чудики, это уже какие-то повсеместные, тотальные чудища и чудовища. Точно прежние те безобидные чудики размножились до невозможности и сошли до нормальности с ума. Своя среда, очень для них питательная, комфортная – они всегда здесь на своем месте. Свой круг – замкнутый. Порочный. И в уме нет насчет себя, что попросту – дурачье. А лицу районного размера ведь и должность не позволит быть дураком, вовремя прикроет, укрупнит, пусть там мало что поддается укрупнению. Свои дрянные, презирающие человека мерки. Свои застоявшиеся, уже игольного ушка взгляды. Свои насквозь пошлые, примитивные, обрубающие всякую лишнюю личность прописные ценности и несуразные истинки. Свои веселые идиотии. Даже свой своего рода дураковатый ум, который любит поучить на все случаи и предметы жизни. И ничего в итоге своего – серо-серая, уныло-унылая, вечно бесплодная личина безликости. Голая, опустыненная человечья равнина, раскинувшаяся в никуда.

И на все про все главное остережение, неотвязный императив: а что люди скажут? каким глазом начальство посмотрит? И всех, кто в его мелко надзирающей власти, пригнуть до себя, до пронзительно быдловатого своего уровня. Особенная это сладость – унизить собою. Застать врасплох своей ищущей отыгрыша неполноценностью. Кто не как я – тот против меня. Вы все у меня вот где будете! – потрясывая крупной безвольной жменей.

Рабство при том даже в тени собственной тени. Только уж дома, за свободой закрытых запоров, когда никто сторонний не видит, самодурство можно распустить в полную сласть, насладиться его шикарным, глубоко личностным мехом (изощренное творчество наконец-то вступает впервые за день в должную славную силу). Только вечерком можно влезть без помех в шкуру окончательного животного, раньше никак нельзя.

Этому человеку слегка мешает что-то гаденькое. Все вроде сделал как надо, в высшей степени замечательно, но неизменно от его поступка остается впечатление чего-то тягостного и темноватого. Что-то все равно не так, и дела его никого не просветляют, даже если был он в предельную силу искренности щедр, благодетелен.

Он слишком любит опровергать, разоблачать, и брюзгливая тень былых отрицаний густеет над ним постоянно, уже не умея развеиваться.

С ним случилась некогда смерть света. Он надолго пережил свой собственный свет – теперь его дела, слова, поступки бессветлы и не могут никого тронуть проникновенно.

У неплохого с виду домочадца тонкий дар мелкой тирании. Если этот дар не реализуется ежеминутно, неплохой с виду домочадец чувствует себя прескверно и начинает тиранить злыми мыслями свою и без того растрепанную негодованьями душонку. Лучше сторониться тогда его – может брызнуть ядовитыми жидкостями своей личности и причинить огромный людской и материальный ущерб, как правило, невосполнимый. Килограммов 100 дури в тротиловом эквиваленте в сей человечьей взрывчатке? Что вы, берите выше – это несколько тайно тлеющих Хиросим, не нашедших пока себе должного применения.

Тирания мелких ничтожеств стала бы ужасающей, если бы ей предоставились размах и полная, ничем не сдерживаемая воля. Хорошо еще, что только несколько десятков ничтожеств прорвались в двадцатом веке на большую сцену. А если бы смогли из томящей их злобной неволи выдраться на первый план все ничтожества, которые есть чуть ли не в каждом доме, что бы тогда

было? Немыслимо и представить. Человечество съело бы себя само в одночасье. И даже не поперхнулось бы.

Есть целые выводки таких гаденышей. Целые дурнопомешанные и дурносклонные семьи. Генетика проворачивает из поколения в поколение темные свои делишки. Дурное усваивается легче, как-то само собою, и на него сил надо меньше, чем на благое, хотя бы потому, что зло может быть залпово, а благое обязательно протяженно. На дурное почти не нужно тратиться – из глубинных, личных, зачастую невосполнимых резервов, оно само собственной избыточной силой играет – есть во зле всегда некая возносящая сила, которая превышает его многократно, увеличивая крохотку зла до гигантских размеров черных солнц. Это ведь не милосердие, которое забирает, если оно искренне, всего человека целиком, и он даже может забыться собою, совсем упустить из соображения, что он тоже нуждается в милосердии, что ему вовсе нелишне было б вкусить чуточку чуткого стороннего внимания, испытать добросклонность чужого нечуждого сердца.

Из всех строгих заведений мне только Воскресенское кладбище скидку делает. Я ею и пользуюсь широко. Беспроцентно гуляю.

Бесталанный человек принужден изворотливо приспосабливаться, делать упорно карьеру, искать себе непроблематичную стаю. Это его органически точный, всецело единственный путь. В иных направлениях направлений ему не дано. Другого ожидать от него бесполезно и очень бессмысленно.

Вполне бессмысленно ждать и искать в нем чего-то иного. Ничего иного с ним никогда не бывает, лишь обыкновенно земное да искусом иль бешенством дряни вдруг – земноводное, когда извращением волшебства он зачем-то животное. Такое случается. Посуществовывает. Это также входит по праву в людской обиход, так как является залогом отлично жвачного будущего.

Но если он милосерден, все вышесказанное – неправда. Если он милосерден, все моментально спасается – и прозревает навстречу.

Мир насытился смыслами за историю до немыслимого предела. Кажется, новые смыслы впускать в него незачем, бесполезно. Старые, наработанные смыслы остаются все более невостребованными, непромысленными. Уже накопленного хватает с лихвой, чтобы в нем тыщи раз утонуло все человечество до последнего его поголовья. И что теперь делать мне со своими выпирающими аж по всему моему телу смыслами? Отдам-ка инопланетянам. Может, у них немножко умного не хватает. Придумают из моих смыслов какое-нибудь новое, межзвездное колесо, при этом изобретая, как всегда, конечно же какой-нибудь астероидный велосипед.

Впрочем, мир постоянно меняется и нуждается в новых смыслах. Без них он в очередной раз задохнется.

Современная шизофреническая разорванность мышления. Идеально, просто классически это заметно, когда лишь откроет рот певчий мыслитель шоу-бизнеса или ведущий думатель новостных программ, ну и политик, конечно, без него и здесь не обойтись, как без него, родимого проходимца, хотя бы ради сверкающего ярко примера. Но особенно это заметно, даже как-то и сверхзаметно, точно мы присутствуем при астрономическом рождении новой звезды, по внешности друга всех мод Юдашкина, а равно и милочки Зверева. Прямо сразу по их внятному виду схватываются тончайшие особенности и извивы современного непростого, громоздковатого, на клочочки вдрызг порванного мышления. А это гениально или близко к тому. Ведь многие, тратя несметные тучи слов, и в десятках томов не могут растолковать доходчиво про свое порхающее и отлетающее то и дело мышление. Но Юдашкин, но безупречно мыслящий внешностью логик Юдашкин, а равно и вдумчивый стилист, даже внешне абсолютный нейроник Зверев, стоит им лишь слегка показаться, – тотчас всем все становится до последней прозрачности ясно. Вот какие средь нас затерялись зримоТолстые, наглядноПлатоновы, которых мы ищем обычно не там.

Всех нужных людей окучил. Теперь бы какого-нибудь дождя, необязательно и проливного.

По осени, когда цыплят считают, наверняка будет с хорошим прибытком. Человечья картошка после таких обхождений обычно не подводит, любит она льстивое и низкопоклонное к себе отношение. Картошечку сдаст с тихой выгодой, на выручку цыплятами отоварится. Пусть считают тогда сколько влезет. Их будет много, до мельтешенья в глазах изобильно. Они будут тоже умны. Так ведь с кем поведешься, от того и наберешься. Речь здесь о взаимовлиянии двух пересекшихся резко субкультур. А больше ни о чем здесь нет никакой речи. Просто кромешное тут молчание. Тьма тьмущая всех кряду слов. Неодолимый один частокол немоты. Кто же через него полезет, дураков теперь нету, они все остались доживать старый, вечно матерый застой.

Ты помирай себе сколько хочешь. Но не смей брякнуть о нас ничего дурного. Засунь свою правду куда-нибудь подальше... в свою смерть например. Хотя и это не очень далеко – все равно все видно, отовсюду какие-то лохмотья и клочья торчат, да с укором опять, с нескрываемым вызовом. Эх, лучше бы тебя и не было вообще, одна морока вечно с тобой, дурная одна канитель.

Умирать ты можешь, мы даже тебе в этом всем миром всемерно поможем. Ничего не пожалеем на хорошее, нужное дело. Но говорить о нас плохо ты не смей. Чтоб она сдохла, твоя хваленая правда.

Ты как, нормально умираешь сегодня? Как некрасиво ведешь ты себя! Постыдился бы дОхнуть так часто и невпопад и при этом нисколечко не умирать! Порядочные люди так не поступают, они мрут строго по графику, в отведенные часы, в предельно сжатые сроки и без потерь и никого никогда не заденут своей собственной смертью, потому что воспитанные. Нам приличней будет с тобой раззнакомиться, чтоб не марать себя твоей взращенной впустую смертной напраслиной. А пошел-ка ты, умиралка дрянная, куда-нибудь немедленно вон! Надоел ты загробным своим мельтешеньем. Уж и умереть человек не может как следует. Ну не бесстыжий ли? Не проходимец ли? Э-ха-ха. Мельчает народ, мельчает.

То, что ты умирал, – это не важно, не в счет. Это, пожалуй, лишнее. Главное соблюсти приличия, которые трепетнейшим образом соблюдают они, чтобы друг перед другом казаться пригожими и прочим сбродом святой для них показушности.

А я, к беде моей, ничего не соблюл, я только несколько раз сдуру был умерши, а потом один разок ни с того ни с сего нагло ожил. Помер так помер, зачем же еще оживать, громогласно и возмутительно прытью блеща? Порядочные дела так не делаются. Вот в чем было мое вскрывшееся вместе с оживой моей неприличие. В этом же заключались и моя невоспитанность, и моя несомненная подлость, и весь остальной мой хлам человеческий, который всегда исправно волоку за собой, потому что не знаю, где застигнет меня что-то очередное. Не ночевать же тогда в смерти голым. Вот это считаю до крайности неприличным. И даже преступным. Непростительным уж навеки. Остальное все кое-как еще можно, все другое как-никак еще позволительно. Только не подобная родимая голизна среди вечных равнин. Это будет уж слишком. Через смертный прямо окажется край. Так добрые дела тоже не делаются никогда, один нонсенс угрюмый состряпаться может. А это никуда не годится, это хуже самой распоследней смерти, которую самый распоследний человек не согласится иметь.

Когда несколько раз умрешь, никакой уже личный тон не кажется чрезмерным. Все кажется, что и еще что-то крупно недосказал – самое точное, пронзительное и непримиримое. То есть свободное в твоей дальнейшей, широко освоенной и распустившейся смерти, в твоем абсолютно независимом умирании.

– Да как ты посмел такое о нас написать?! Как дерзнул на нас посягнуть?! Мы ведь люди весьма и весьма приличные! Мы влиятельны и состоятельны, мы не голь – то, что ты!

– ...Или право имею!

И – точка.

И бросил им в лицо тампон, облитый горечью и злостью. Просто под рукой больше ничего не было. А этот под ногами просторечиво валялся, мяконький такой, даже жалкий, я его из сострадания и поднял с невообразимой ловкостью рук. Тем он и был хорош, что бескорыстно и к месту валялся. Спасибо какой-то девушке, среди открытой природы кстати выкинувшей его прямо к делу. Значит, она тоже была хороша, раз так. Просто так ничего не кидают. Та безвестная девушка явно с умыслом закончила свою менструацию.

Одна женщина в 2000 году по поводу своих плохих дел ходила к мощной прорицательнице футурологического толка. Спросила одна женщина у нее и про меня – как он там ведет себя в астральных мирах?

Мощная прорицательница порылась в уже запылившихся уголках будущего, где-то обнаружила меня, всего общупала бесцеремонно (мой астрал отбрыкивался) и сказала, что я веду себя очень плохо. «Он там все время валяется пьяный. Не просыхает».

Одна женщина удовлетворенно кивнула – она так и знала, в ином будущем я и не мог лежать по-иному.

А вы думаете я просто так не пью, сдуру? Нет, не просто. Шарлатанов разоблачаю. Справедливость люблю потому что. Пуще горькой и пуще сладкого. Да не валялся я там в вашем будущем 27 уже месяцев! Что вы мое будущее-то напрасно калечите?! Исполоскали его своим языком, хоть оно и совсем чистое, ни в каких стирках пока не нуждается.

Нет, из принципа не пью, из одного голого, угрюмого принципа. Чтоб не промелькнуть ни в одном из сбывшихся видений. А так бы, конечно, без будущного принципа, мгновенно с рюмкой общнулся. Да что там с рюмкой-то, только мараться, себя позорить. Цистерной бы себя сразу потчевать стал, во избежанье позора.

Или это я 27 месяцев шляюсь без будущего? Тогда по чему я иду?

Моя личность – дело десятое. Моя личность живет тихо, уединенно, незаметно-срединно. Вы простите ее – она не кричит ведь, каши не просит, она сама по себе как насытна, так и ненасытна. С личным мором и перекормом справляется умело сама. Лишь тошнить ее сообща тянет. Но этот недостаток легко простим и поправим. Мы твою личность в народе пропишем, вплоть до неразличимости, на сенсорное посадим ее голодание. Поблевать-то ей тогда будет нечем, вот она и успокоится. Лучше всякого курорта станет себя чувствовать.

Черт побери! Каждое мгновение без пропуску приходится жить! Ну вот, ага, спасибо, мига три кряду я умираю. Отдохну малость жить. Освобожусь немного от непрерывности, от тугих напряженных объятий, от неотрывного всматривания друг в дружку. Я про жизнь. Три мгновения посмотрю на смерть, она ведь тоже моего взгляда хочет. Ее ведь также поощрять иногда надо, не то забудет она, как выгляжу я, а я забуду, как выглядит ее внешний облик, вполне приличный, цивилизованный, оказывается. Просто глаз не оторвать, так и влюбиться недолго. О мама мия, по уши в любовь свою увязаю.

Спасибо тебе, конечно, Валера, ты изо всех сил помог мне прожить сегодня не так, а именно – как жить никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя, никому не позволено. Ты помог мне осилить сдуру поперечное и неосуществимое. И на фиг бы нам сдались такие помощнички? Шел бы ты, Валера, от меня подальше. Недолго с тобой и хороших бед наделать, отличненьких прямо-таки трагедий, которым трудно будет не позавидовать и не внять, которые охотно будут перенимать, будто всяческий опыт полезный, а это может повлечь за собой катастрофу. И конечно же повлечет. Не преминет. А это нехорошо. Ты давай-ка опомнись, Валера. Не то поздно тебе будет.

Я эту смутную и чуднУю, во многом неотесанную фигуру втемную использую – так называемого Володина В. я имею в виду, больше иметь в виду некого. Он, бедолага, ни о чем и не подозревает, шляется и шляется, самонадеянно полагая себя безнадзорным. Ходит тут, понимаешь, своим зажористым, широкоформатным телом, обнагленно думает – пуп прямо земли, все взгляды мира ему вниманьем должны. А мы его, голубчика объедного, в текст, в жгучий текст потихоньку законопатим, помимо его выспренних пупов и зажорных, самозабвенно мажорных хождений. В целях наших узкоспецифических нужд, о которых от греха подальше никому не расскажем, в тайнах не распространимся. Будет он у нас знать, как отъевшимся и довольным, на солнце сладко прищурившимся шастать тут мимо да мимо! Ну, пошел давай в текст! И в слова уже не пролезает, обжор... Не формат, что ли, значит? Тоже нам, корчит из себя непролезаемого, блин горелый! Сейчас обкарнаем, рука не дрогнет. Где наш тесак?

Ты знаешь, одиночество ведь не спрячешь. Оно где-нибудь да просунется. Изъявит сверкающую от счастья явленья на свет простую, растерянную мордашку, скорее всего веснушчатую, как детство. Скорее всего.

«На свете так мало людей, которые любят несуществующие места...»
«Все в конечном счете сводится к одному: научиться переносить разочарование не мучась».
«Возможность... Памятник отказу от тебя я бы воздвиг посреди этого поля».
Фернандо Пессоа, «ИЛ», №9, 1997.

«Вселенная Пессоа не принадлежит ни этому миру, ни иному. Ей подошло бы слово «отсутствие», если под отсутствием понимать текучее состояние, в котором присутствующее рассеивается, а отсутствие возвещает – но что? Миг, когда настоящего уже нет и едва проступает то, что, может быть, предстоит. Городская пустыня полна знаков: камни что-то говорят, говорит ветер, что-то говорят зажегшееся окно и одинокое дерево на углу, все здесь что-то говорит, но всегда не то, что говорится, а другое, то самое, о чем не говорят. Отсутствие – не просто нехватка, это предчувствие того присутствия, которого так никогда и не обретаешь въяве. Самые герметичные стихи и самые простые песенки сходятся в одном: в отсутствии, в нашей привычной нереальности всегда присутствует что-то. Ошеломленный людьми и вещами, поэт бредет по улицам старого города. Он заходит в парк. Листва шевелится, как будто вот-вот заговорит... Нет, опять не заговорила. Нереальность мира в последних лучах заката. Все замерло, все чего-то ждет. Поэт уже знает, что он – никто. Словно эти почти золотящиеся, почти ставшие явью дома, словно эти застывшие на волоске мига деревья, он тоже уплывает от себя самого. И на смену ему не покажется другой, настоящий Пессоа. Не покажется никогда, потому что другого нет. Лишь иногда показывается, брезжит что-то иное, безымянное, что не говорит само и до чего пытаются дозваться наши убогие слова. Поэзия? Нет, поэзия – это то, что остается нам в утешение. Сознание отсутствия. И снова слышится тот же едва различимый гул. Пессоа, или неминуемость неведомого». Октавио Пас, «Чужой себе самому», «ИЛ», №9, 1997.

Чем я силен?

Опытом унижений. Его массовыми казнями, учиненными надо мной в глухих оврагах и рвах народа. Жизнь несомненно участвовала в карательных операциях. Ее также следует привлечь к трибуналу. За соучастие в преступлениях против одинокого человечества. Ей не удастся, как удавалось всегда, пройти тихим свидетелем. Тем более – незаметным. Она получит у нас должный срок. Вся жизнь твоя должна быть вполне наказуемой.

Я богат только ценным опытом унижений. И слава Богу. Другие богатства меня трепетливо боятся и близ меня не задерживаются, внешнюю личность мою всяческим образом избегая. Трепещут они меня, по всей видимости. И они по-своему правы, – тут есть о чем трепетать. Лучше не связываться. На месте других богатств я точно так же, конечно бы, поступил. Иначе нельзя.

Ну кто б я был без этого ежедневного, годами непрерывного, годами полыхающего средь меня унижения? Да никто. Абсолютное никто. Я бы и себя от отчаянья неунижений перестал чувствовать, по всей вероятности. А так ни на один божий день не дают горечь забыть – благотворно и очень всегда плодовито унижают и унижают. Что бы я делал без вас, вечно и всюду высокие?! Вы везде, куда ни поживи хоть немножко. Не устану вас благодарить, проклиная всем любящим исподтишка, всем зарвавшимся вас догонять внутренним органом – по имени все-таки сердце.

Да не хочу я быть с вами равными! Лучше вы будьте равными между собой. А я сделаюсь равным между собой. Так, на особицу, равенство замечательнее всего получится. Да и свобода моя будет почище, обереженней. В ее чистоте хоть разок за лето скупнусь, – этим летом Волга что-то наотрез от меня отказалась. Отрекается река от меня понемногу, отрекается, уже не передает мне ни с кем ни грустинки привета. Осенью пойду с ней мириться. Осень многое смягчает, помимо нас прощает. Все прошедшие осени давно отпустили все души наши на покаяние, на вечную где-то мольбу.

Что до вас мне за дело? Я пишу о своих всяких-разных чувствах. На худой конец, о своих странноватых весьма чувствах к вам. Вы-то собственно здесь совсем ни при чем. Поищите пишущего о вас средь других. Говорящего о вас средь меня вы навряд ли найдете. Даже можно и не искать, лишь пропажу удачную, ловкую всякий раз обретете. Вот она – только что побывала в уловных руках. А теперь и ее, к большим-пребольшим сожалениям, нету. Эх, что ж вы пропажи-то так не бережете?..

«Это что-то личное, очень личное болезненно в тебе говорит, какая-то давняя, сочащаяся все обида». – «Естественно, личное. У меня все личное, безличное напрочь отсутствует. А давних обид не бывает. Они все время как в первый раз. Если, конечно, это неподдельная и неподменная обида – таких очень мало бывает. Так как обиду до смешного легко можно подделать и выпустить в ходульное обращение. У компьютера очень большие и графические, и цветовые возможности. Деньги гораздо труднее подделать».

Непременно есть какая-то единица качества чистой, абсолютной литературы. Измеритель чисто литературного достоинства. Среди людей тот измеритель вряд ли уловишь, среди людей он едва ли водится, – он где-то выше, иносторонней. Но все равно ясно, даже при очень большом округлении невооруженным глазом: у Астафьева, например, набирается что-то около миллиона призрачных тех единиц, а у Войновича, как всегда, ни два ни полтора, причем и не самых призрачных неизвестно чего. Но Аксенов все-таки уверенно на троечку тянет – а это без малого уже круглый отличник. На то он и существует, отличник. Вечно нахватает всяких там единиц, потом совокупляет их в натуральную вроде б, опрятную с виду пятерочку. Вот вам и произведенье искусств.

Обожаю ничтожества за то, что их нет рядом.

Я думал, она из картона. Оказалось – гораздо катастрофичнее. Из обычной женской плоти. Ошибочка вышла. Я ткнул пальцем в небо, которого не было. Я мимо целых небес промахнулся. Умудрился небеса прозевать.

Женщина изумительно неадекватного склада, просто нелепость какая-то в чистом виде.

С ней можно с огромным душевным напряжением, с колоссальной тратой лучших своих сил договориться только об утверждении ее недоразумениий, нелепостей, о разногласиях с ней. Но ни о чем, что могло бы сблизить и съединить, – некий ступор сообщности тут же все пресечет, словно двигаться глубже в сближенье – значит покушаться на странную область ее непостижимо с чего берущегося превосходства, и в более тонкие, деликатные отношения она уж никогда не снизойдет, не отдаст никому ни дражайшей частички личной самовлюбленной особицы.

Орган, отвечающий за связи с общественностью, в этой женщине отсутствует начисто. В ней исправно работает лишь мстительно-озлобленное, трудолюбивое, кропотливо ведущее учет чужих прегрешений сумасшествие, любящее держаться на отшибе да в затишке, чтобы оттуда, из отстранения, доставать неуязвимо, будучи недосягаемым для посторонних вторжений и прикосновений. Это сумасшествие просто обожает неприязненно клюнуть и моментально спрятаться в свое отдаление, наглухо замкнуться, будто здесь ничего вообще не бывало, его уже не достать никакими добычливыми психическими воздействиями, не настигнуть никакой проворной земной погоней. Сумасшествие перед самым вашим носом захлопнуло потаенные диковатые двери. Яростно машите руками средь оставленного вам в развлеченье личного гнева, так похожего на безумие, перенявшее, видимо, повадки ее помешательства.

Человека охватывает от бессилия бешенство: попран здравый смысл, в прах повергнута справедливость; цель сумасшествия меж тем достигнута; сумасшествие осталось цело-невредимо. Все в дураках оказались, за исключением женщины и очень здравого ее повреждения.

И все понимает на свой будто выкрученный наизнанку лад, превратно тяготеющий лишь к заготовленному впрок неподвижному пониманию (запасено на десятилетия), в коем презренье играет заглавные роли – презрение ко всему, что не есть ее куцее пониманье. И поймет, конечно, так, как и хотела понять еще до сторонних слов, до отвратной попытки чужого сближенья, совершенно не сообразуясь с тем, что собеседник ей действительно мыслил сказать. Из наглухо затворенной раковины личного естества, увязнувшего в неодолимом, ее не извлечь никому – не найдется адекватного средства выманивания ее из собственного нелюдимого пещерного существа. Какое-то крайнее – до срывов в многочасовую истерику немоты и уединения, – болезненно острое самоуважение всего того, что заключает ее очень высокое в ее глазах Я. Пусть и дурное, но мое, а следовательно, неотклонимо любимое и отстаиваемое, с нервами жгучими защищаемое. За свою дурноту, сознаваемую ею конечно же благостью, так же легко обижается, как и за попираемое в ней справедливое. Все слова, обращенные к ней, даже слова явной приязни, заведомо воспринимаются ею с оттенком наносимой обиды, с желающим ее непременно найти оскорблением. Все слова подозреваются как бы в вечной измене, в вечном подвохе предательства, поэтому ухо держи востро, а то, что легко замещает в ней душу, должно подозрительно быть всегда начеку. И что бы ей сказано ни было, всегда среди слов отыщется ее повреждающим всё умом, на что обидеться можно смертельно – и поскорей избежать неизменно тягостного, неизменно лишнего человека, который и знать не знает, что исторгает обиду, что в помыслах есть у него хоть малая толика оскорбительного.

С той нервно заостренной на себе женщиной все тотчас найдет прах свой и разлад, поскольку она учитывает лишь излюбленные свои вдоль и поперек эгоизмы. С нею большого труда стоит условиться, по какой стороне улицы лучше идти, но все равно, во что бы то ни стало уже через пару минут она молчаливо и как бы обиженно, не удосужившись ничего объяснить, панически перейдет на отдельную сторону, мало-мало не попав под машину, отыскав стОящую обиду в каком-нибудь превышающем обычность взмахе спутниковой руки. Ведь ее влюбленное в себя одиночество ценнее всяких близостей, уз, какие только могут водиться в этом презренном мире, который должен быть достоин ее, но не которого должна быть достойна она, на много презрительных миров превышающая все земное манией своего неприкосновенного и чрезвычайно здорового сумасшествия, коему живется совсем не плохо – с чего же тогда эта женщина любит песенки под нос себе бормотать?

Как сложно ни объясняй ту лишь в промельках женщину, но причина ее невероятно проста: в ней всегда отсутствуют несколько самых обычных капелек милосердия, которые бы капнуть простецкой пипеточкой в нужное время и в нужное место, чтоб и время и место мгновенно ожили – живным образом прирасцветшей бы женщины, ставшей вдруг отовсюду узнаваемым и приемлемым человеком.

– Ну скажи, скажи давай, – раздраженно частила подстрекательским говорком, – что там у тебя на языке про меня вертится! Ты же у нас любишь резать правду-матку в глаза! Давай, валяй одним духом, мне не привыкать терпеть твои обиды...

– Зачем что-то говорить тому, что не существует? И, видимо, никогда не существовало.

Какая незавидная участь – с картонными людьми картонные разговоры вести.

Бог меня все более милует, смягчаясь на мои угловатые прегрешения, и все более, заметно более избавляет от тоннажного картонажа.

Картонные люди рассыпаются в жизни моей лишь от одного моего неосторожного прикосновения, от неверного чуть обращения, они рушатся, словно карточные бедные-бедные домики. В добрый путь, многоотсутствующие, в добрый путь. Туда вам и дорога – порожняя на всем протяжении, страшно веселая дорога. Я вам немного даже завидую. Можно с вами пройтись? Ну пожалуйста, ну хотя бы до первого, до ближайшего поворота. Возьмите ж кто-нибудь меня с собой, обещаю вам: пригожусь...

Как только стала говорить «в моем доме» и «в моем доме этого никогда, ни за что не будет!», его дома там сразу не стало. Он мгновенно выселился, предварительно отправив носильные вещи в неизвестность, то есть прямо по назначению. Там они и пребывают, покуда он мешкает со своим на подъем тяжелым, несъехавшим телом. Дурак он на тело, выходит. Вот оно что.

Начало рассказа о зажигательной жизни

Умопомрачительно пахло возбужденными женщинами. Раскаленные пляски и прочие прелести были в самом разгаре. Валерьян (можно – Модест, эти имена равнозначны по проникновению) Перелетов (можно – Недолетов, так оно даже будет верней) под обильный шумок все плотней и терзательней прижимал даму своего сердца именно к этому самому кровавому и обостренному сейчас органу, но также не забывал краем мысли и прочих, все настойчивее просящих этого действия частей взвихренного пагубой организма, бедственно пронизанного лукавым сексуальным гормоном, что-то не обожающим ни мимолетных шуток, ни веских доводов разума, а только как бы утащить с хищноватостью в темный угол да ненасытно везде полапать, сколько успеешь, пока не схлопотал по кипящим, ползучим рукам...

На том рассказ о зажигательной жизни плачевно обрывается, за неимением у нас достоверных сведений о дальнейших последствиях, которые наверняка бы могли быть ослепительно яркими, бурными и во многом непредсказуемыми, но вот не стали, по дурацкой причине исподтишка меня обнявшей, как старая, привыкшая к фамильярной моей эксплуатации любовница, – по провальной причине хронической лени. А засим – не обессудьте, панически удаляюсь потешить и ублажить свою взбалмошную лень, все-таки она мне родная, пятьдесят лет живем вместе душа в душу. Она дороже каких-то намысленных сгоряча пагубных женщин каких-то фиктивных рассказов, только немного навеянных чем-то случайно нездешним. Лишь одно-то и было там из хорошего – умопомрачительно пахло женщинами. Остальной вечер и все, что ему вихристо сопутствовало, можно полностью, без сожаления упразднить.

Я растратился. Крупная недостача. Ревизоры с небес спускались, сказали. Опять грозили пристрастно небесной тюряжкой.

Фиг-то я ревизорское заметил! Но парашюты у них были хорошие, с красненькими, как портвейн, лямками. Явно усовершенствованные, модернизированные под дрейф и драйв. Прежние ревизоры на других парашютах слетали, попадывали ко мне средь очень бодрых еще моих изумлений. Ныне мои изумления что-то увяли. Но это оттого, что пошли в воздухах парашютисты другие. Зачастую сочатся вместе с затяжным ненастным дождем, с мокрым снегом.

Тут я было на радостях возомнил, что отчасти устал. Да и то не сам по себе устал, а люди добрые помогли.

Вранье! Чистой воды вранье! Ничего не устал. Точно помню: не со мной это было. А если и со мной, то бред же это чистой воды. Если бред сей со мной, то – хватит, довольно, поуставал уже, пора и честь знать, которую смолоду дискретно берег.

Теперь уж, хочешь не хочешь, пан иль пропал, – теперь до самой смерти придется не уставать, на смерть всю усталость обваливая. А то стыдновато будет или еще кое-чего. Боюсь я этого Кое-Чего, прямо несказанно боюсь. Заранее весь из себя трепещу и выбрасываюсь. Замучался уже терять себя и шарить в своих напрасных окрестностях, наверное, отказавшихся от меня и куда-то меня запродавших. Ну, поищи еще чуток, поищи. Должно же здесь что-нибудь остаться и отыскаться, пусть невозможное. Усталость свою найти – за добычу, повторимся, не считается. Будет засчитываться за поражение, так как много раз это ты находил, а пройденный путь – уже и не путь, а простые следы многовиданные.

Не знаю уж, кто чего настрелял, но добычу они всегда делят. Дело доходит при дележе до прямых пуль из пистолетов. Обычно доделятся всякий раз до того, что делить уже некого. Вот тогда они удовлетворены, умиротворенны. Даже как-то презрительно тихо сделается вокруг. Будто и не было здесь никого. За добычу обидно. Как всегда, остается ничейной.

По нынешним внешним понятиям, чтобы что-то сделать и кем-то быть, делать ничего не надо. По крайней мере – ничего существенного. Все сделается за тебя само. Но, правда, при этом – помимо тебя. Что не так уж и важно.

Мир стремительно уплощается, цетной объем не нужен – назойливая помеха бегущему напрямую клиповатому уму. «И мир опять предстанет странным, окутанным в цветной туман» – блоковское это уже, естественно, лишнее. Чистый отстой. Виртуальный мир цветным быть может лишь понарошку, как бы ухмыляясь, что он вас провел, так легко купил.

Впрочем, речная рассветная заводинка – тоже, натурально, отстой, правда природный. Но что я люблю больше ее, завороженно кружащей крупные глаза пузырей по розоватой, еще стыдом невзошедшего солнца тронутой поверхности очень глубоко молчащей воды, – крупные глаза на удивление стойких, не научившихся лопаться пузырей, спросонья взирающих чуть недоверчиво и пугливо, чтоб вскоре же, с ног до головы обсмотрев и привыкнув к тебе, в душу твою влюбившись, весело, беззаботно рассмеяться в глаза и радостью приютить их в этом пока диковатом утре... Я очевидно излишен. Во мне много избыточных, не посещенных никем заводинок, тонны складированных как попало закатов, одиноких опушек и потерянных уголков захолустья. Они никому не нужны, ни одного запроса на них не поступало. Валяются во мне большими россыпями, залежами, другими видами брошенности и запустенья, некоторые закаты уже изрядно подгнили: я их давно не проветривал, стесняясь, что меня застанут за этим зазорным занятием. Меня следовало бы широко поубавить. И порядком подсократить штаты моих смотрителей – только даром протирают досужими взглядами этот остерегающийся, избегающий наблюдений мир, пора б их поставить на место: зарвались они совсем в пристальном озирании, никто не нуждается в рвении вашего зренья. Настоятельно рекомендуем выключить ярко бьющий ваш взгляд, он всего-то лишь – ослепляет; и весь толк от него.

Выросли поколения, не видевшие в детстве натуральных, естественно плывущих речек и приключений весело избежавшего людей лесного солнца. (Радио, о домах-хрущобах: «Сознание двух поколений людей было обеднено этой архитектурой».) Вот они-то, нищие сознанием, и стали массовыми нечитателями романов, которые умирают оттого, что они не прочитаны, – их легкомысленно не узнали в лицо. Им отказали во всех знакомствах.

Все равно они массовые нечитатели, даже когда массово читают – какого-нибудь сверхмассивного суперписателя, которому уж никогда не подойдет изгойский термин – великий. Величие

оказалось не проклято, не высмеяно (хотя и это тоже). До него просто не удосужилось снизойти пошлое внимание пустяковых, пустяково законченных людей. Больше ничего и не потребовалось, чтобы величия не существовало.

Средневековое «ars bene moriendi». Искусство хорошо умирать. Это искусство теперь стало еще более средневековее, чем было в свои времена. И оно одичало. Не удержалось.

Всё значит. Даже ничто, даже пустота. Один человек, один род людской перестал что-то значить. Что бы это значило?

И как жить дальше? Куда?

Как-как... Еще много у тебя непрочитанных книг.

Живи преспокойно в непрочитанные книги. Там жизни множественной и высокой без конца, без краю осталось. Лишь умей таинственно ее находить.

Когда убили во мне желание писать? К 1997 году оно уже было убито, это точно. Все на то с отвращеньем указывало.

Былым трупиком до сих пор еще потягивает. Хоть я его вроде бы нормально и со всеми приличествующими моменту почестями похоронил, запредельно мертвецким усилием взрастив на месте оного нового словесно желающего, давшего свежую ветвь и зажившего кустисто вбок от старого. Он растет теперь помимо меня, ни о чем у меня не спрашиваясь, ни на что мое не откликаясь, будто уж вчистую и нет меня. Самонадеянный какой. Ну хотя бы справился для приличия, что в обед на питание будет, в чем на улицу выйдем страстно людей любовать. Нет, молчком все растет и растет вероломным образом вбок. Знаю я, дорастется он, очень даже, доходяга, хорошо дорастется... Обязательно уж нарвется. А потом расхлебывай все я один, несмотря на то что давно меня нет как нет. Что за призрачные, что за прозрачные такие дела, идущие поперек и вразрез меня?!

Ловлю себя на том (до чего ж стилистически дураковатое выражение; блоха я, что ли, чтобы ловить себя на себе?), – но тем не менее все же продолжаю, развлекаясь бедной поживой, упорно полавливать себя на том, что до зуда хочется переписать от руки многие любимые стихи многих любимых поэтов. Годика два бы таким образом усердно еще повкалывать на вербальной ниве. И на этом предательски завершить, предательски же дрогнув коленями, эту огульную словокарьеру. Думаю, я сполна бы тогда состоялся – лучше ничего уже не выразишь, не изъяснишь. Только, как всегда, от себя лишнего наворочаешь, потчуя доверчивый народ отсебятиной дальней свежести.

Провинциален неискоренимо, конечно, лишь тот, кто мыслить и чувствовать не умеет по-своему. Безнадежно отстают обычно те, кто чувствовать спешит. За ними никаким отставанием уж не угонишься. Все равно впереди будешь, как ни замирай в охватившем тебя нескончаемо медленном, измиряющем тебя чувстве.

То ли вчера я вышел, то ли сегодня. Не помню.

Да и куда?

И я ли?

На всем протяжении моей в целом беспечальной жизни всех трепетно интересовало только мое кажущееся неизносимым и проворным тело с его физическими возможностями и мышечными талантами, которых, конечно, хоть отбавляй, так как приударяют в дурь. При встрече говорят всегда только: как свеженько ты выглядишь (не пьешь, значит, стервец). Никто не скажет: какую свежую мысль ты сейчас сказал (мозги, значит, не пьют у тебя никогда). Важны стали лишь тела, в основном мертвые, прямолежащие, мягкоговорящие.

Сбегать за бутылкой обычно посылали помимо всяких сомнений меня – как самого скорого и возвращающегося. А что я думал в это усохшее межвременье, какие картины ужасов переживал, проецируя их на личную шкуру, – никого горячо не волновало. Лишь бы принес, да и вся недолга, и весь с тебя спрос по гамбургскому счету.

В знак деятельного протеста я со временем до бессовестности замедлил свои возвращения в пользу тихой, неторопкой задумчивости, но, естественно, в ущерб качественному приносу. Резко бросили посылать меня в алкогольные синие дали. Видимо, что-то прочухали. Стали глядеть на меня если не с задумчивостью, то с едкой долей уличительной подозрительности: что-то с ним не то происходит, наверно, вконец избегался, вертопрах, пора его из гончих в шею бодренько гнать.

Лучше меня никто меня не написал – главный признак моего подлинного наличия, основополагающее доказательство всамделишного бытия моей жизни, ее реального присутствия здесь, сейчас и чуть погодя, когда окажусь уже в промельках. («Лучше всех пишу *свои* стихи». Н. Глазков)

Между Было и Не Было никакой четкой, реально осязаемой границы нет. Это почти всегда одно и то же. Только люди их зря путают. Людьми путают, напускают ими туману. Смущают своим самонадеянным присутствием. Наводят умопомрачительную смуту там, где смуты отродясь не водилось, где ее быть никогда не должно. Только единственно – Было и Не Было, в их благодатном, неразрывно слиянном, в их гармонично сплоченном единстве. Остальная вся жизнь, расчлененная произвольно, – остальная вся жизнь, на беду нам, дана от лукавого, на голову, видимо, шибко больного.

Молодым всегда есть куда идти.

К старости это великое в юных пределах *куда* сужается до невероятности. Так незаметно оно обращается в жалкое некуда – съежившуюся ничтожность. Так ужасающе постепенно не знаешь, куда же чуть-чуть хоть идти. К кому хоть немного прийти, на сотую часть своей личности. Каким краешком существования, почти незаметным, к вам кому-то слегка притулиться.

Легких стариков не бывает. С возрастом характер переходит во что-то более упорное, нежели характер, и не совсем принадлежащее человеку.

«Насколько я уже стар? Этого я не знаю, как и того, насколько молод я еще буду...». Ницше.

3000 дней осталось мне доскрести до мало-мальски ощутимой бы пенсии. Огромная еще страна дней...

Молодые нас с презреньем отрадным и облегчающим не учитывают.

Они беднее ровно на наше измерение.

Я их пока еще из последних, но немыслимых уже сил всесторонне учитываю. Чтобы, возможно, при случае быть вдруг богаче. Чем ведь только черт не шутит. Лишь бы не зашутился он окончательно, до невменяемости. Не то настанет чертовски успешный, дьявольски процветающий сон разума, который родит не чудовищ, а что-то запредельней чудовищного, возможно, какой-то ни с кем, никогда не бывавший мир, премного бы изумившийся нами.

Когда же кончатся эти обуреваемые тошнотой мальчики? От них мальчики кровавые в глазах так и мелькают, никак не проходят. Попрыгивают диковато средь дикого моего поля зрения, заросшего наглым, отъявленным бурьяном чужих видений. Мне не выполоть потом столь пространное поле. (о прозе младобушующих; с манифестцами всё ребята, с крупными манифестцами, того и гляди текстом кого-нибудь зашибут, – слово там чуть больше, чем штык, очевидно, прямо с оглоблю)

Со своим мелковатым и подлым мышлением напрасно подался он в литературоцентристы. Очень опрометчиво и, как всегда, не в ту сторону он поступил, соблазняясь легкой добычею.

Уже заведомо все сузил, унизил. Еще до соприкосновения с литературой.

И вылупилась из словесного искусства очередная пятиэтажная хрущоба. Вон она стоит, сирота голая, нелюдимая. Полюбуйтесь, если сумеете.

Люди, равнодушные к искусству, вполне замечательно никудышны. Им хватает низехонько ползать, довольствуясь суетой блескучего хлама. И придумывать для своих возвышений небывалые или слишком распространенные в бытованье искусства, стертые до простого сора, равновеликого им и очень внятного и понятного. Вот это наше, родимое. Ни убавить и ни прибавить. Не вырубить топором. Не выгрести никакой поганой метлой.

Это лето умерло так быстро и прежде меня, что не успел я и очнуться. Сколько лет уже умерло прежде меня... Я только и успел – промельком удивиться. Вот и это лето бесследно сгорело во мне, пылкое, знойное, наверное, человечное очень во всем человеческом лето. Кажется, сотни лет умерли за это время во мне, меня почти не затронув.

С ума сошли мои чувства.

Моральный износ на сегодняшний день составил во мне 99,8 %. С моральным устареванием дела обстоят похуже – на отчетный период 99,7 %. Против прошлого года иду с заметным опережением. Некоторые показатели даже не успевают рыскать за мной, ощутимо тушуются, так и не хлебнув полного отчетного счастья. О чем сожалею безмерно – ни одного показателя в жизни я не сделал счастливым.

А вот не надо было пренебрегать, этак брезгливым уголком губ и меня заодно подергивая. Тогда бы и я был цел, а не очутился в безумных пропажах.

Пренебрежения за версту чую, так как ужасно они разрушительное явление, смертоносней вражды, прямых отвержений. И уже за версту начинаю предварительно умирать. Единственно из потакания, из угождения вашим встречным горячим желаньям. Единственно из неправильно понятой мною вежливости. Короче, дурак дураком предстаю в собственном легком убийстве. Если меня заказывать на тот свет, то киллером меня же и нанимайте, лучшего исполнителя преступления все равно не найдете.

В силу моего призрака верю крепко я один.

Попробуйте, какие у него тугие лицевые мышцы. Жует! А значит, жувет.

Вынужден быть конспиративным не менее, чем Солженицын в свое время. Попробовал бы я сказать кому-нибудь незнакомым, чем я в свободное, а равно и подневольное время на бумаге занимаюсь! Да и чем вообще занимаюсь, т. е. писателем, – попробовал бы сказать, предательски дрогнув отвагой в гортани. Мгновенно бы стерт был я тучным презреньем с лица земли, а также с ее испода. Непромедлительно посажен в темницу их доброскло нных взглядов.

Трудами праведными не наживешь палат каменных. Эта истина для России становится все очевиднее. Она все более проясняется, взявшись бесхитростной с виду прозрачностью. За ней уже далеко и просторно видно – до безумного прямо конца-молодца.

Воистину вечный для Руси приговор. До скончанья диких времен, которые всё отчего-то никак не кончаются. Видно, благоприятные здесь для них уродились места. До бескрайности сплошь благодатные.

Почему я ко многим вещам отношусь намного хуже, чем резко отрицательно?

Потому что всей смертью своей отношусь (сам-то я здесь ни при чем).

Ну зачем ты так уж глобально-то? Это ведь не отношенье уже, а какое-то сразу нашествие. Ниоткуда и с точностью в никуда.

Самодовольный ты, братец, стал. И как только истина тебя терпит? Я бы на ее месте давно тебя выпроводил. А я вот – сам по себе – терплю. Я сжат помимо воли своей в негодующую пружину. С тобою вынужден быть жалкой, очень тщедушной неистиной. Поскольку других возможностей не имею, в средствах самых простых весьма стеснен, ограничен.

Забронзовел он окончательно и безвозвратно. И с чего столько бронзы берется в этом мяконьком на вид и легко прощупываемом человеке? Не рудник же он, не плавильня, не горно-металлургический комбинат, наконец.

Выходит, алхимик? Таким манером подпольным химичит? Вот тайна-то обрушилась на мою голову, еще очень мягкую, к ударам открытую и покладистую в основных своих частях и покрытиях. Скорее бы забронзовела, что ли, несчастье мое. А то часто жгуче тебе и неуместно. В бронзе все легче стоять и ходить, а также металлически думать металлические мысли. С готовыми болванками проще дело иметь. Одно цельносплошное удовольствие. Итак, решено, – бронзовею! Не для славы, конечно, а для совершенствования удовольствий.

Это пустая легенда, не соответствующая изнанке моей жизни. Но она, конечно, все равно подведет меня под монастырь и сделает жизнь такой полной, какой и в самом страшном сне не присниться.

В нашем городе тогда все было другое, даже тишина. Были другие виды наших дворов, улиц и лиц. Как будто были везде другие места.

Так время подменяет города, в которых продолжают жить одни и те же люди, до поры до времени бессмертные.

Даже бедная местность на жалкой родине моей почти неузнаваемо изменилась. Что же взять с других ликов, более хрупких, сыпучих?

Что ныне мне взять из ввек пропавшего?

“Где живешь – там и столица”. Сугубо японское. И отнюдь-отнюдь не русское, по всей видимости, никогда русским не будет – не осилит им быть. Вот в чем загвоздка-то – как перенести добротный японский смысл на, в общем-то, благодатную и отзывчивую русскую почву, чтобы везде в России была одна сплошь столица? Другие проблемы пред этой проблемой не очень уже и проблемы, а диких, нагло лишенных столицы просторов одна пустопорожняя болтовня. Все ропщут и ропщут пространства, что лишены они быть хотя бы скромным участочком в пределах московской кольцевой автодороги. Надоело слушать один и тот же их бред. Уж помолчали бы, ветром замкнув напрасно трепещущие свои уста. Сил больше нет никаких слушать треп про столицы.

Вот говорят (речь о фильме «Ирония судьбы»): эти герои ушли из времени.

Что же другие-то никто не пришли, хоть сколь-нибудь равноценные? Силенок оказалось мало – прийти? А прежние всегда приходили. Осиливали. До сих пор иногда приходят, по всей видимости, плутая. Редко – но заявляются. На ночь глядя. Конечно же, не позвонив. И обязательно навеселе, с песенкой, прилипшей небрежно к устам, а то и пристывшей уж намертво. Здесь у них перемен и вредных отвычек не бывает на протяжении множественных, до глупости долгих времен.

Такой вот романс: «...И моя молодость повадится опять заглядывать ко мне...», «...И моя молодость завесится со мною снегом ото всех...» Что лучше еще надо, какого еще более возвратного возврата? Здесь все вернулось, до последней прошлой снежинки, до последней черточки утраченного родного лица, теперь влюбленного в какую-то незнакомую мне вечность, отвернувшуюся от меня всеми ликами бессчетных вселенных...

Оглянись, незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это – только моложе. Не всегда мы себя узнаем. В 1978 году, когда эта песня появилась (Александр Градский ее явил), я встретил ее уже как давнее прощание с молодостью. Был март, конец пятого курса, мне был невозможно старый, катастрофически износившийся 21 год. Углубляться в еще большую, в непроходимую старость казалось немыслимым. Тупиково бессмысленное открывалось тут направление. Даже представить было жутко – быть тридцатилетним, все на свете растратившим стариканом, которому места нет нигде, ни в чем! Сколько себя помню, всегда ощущал тяжеловатое, но и в чем-то утешительное присутствие старости в себе, тосковал по возврату в более ранние, свежие годы; перейдя, например, в шестой класс, я болезненно переживал, как сладко и теперь невозвратно я был в самом-самом приемлемом, в самом точном своем возрасте – когда перешел во второй класс. Реальный возраст всегда оставался в прошлом, точка отсчета личного прекрасного маячила где-то там, в заблудившихся, безжалостно отставших былых днях, я оказывался всякий раз безнадежно поздним, запущенным и упустившим, точно покинутый всеми пустырь, поросший выброшенной из природы травой. Обычная история для всех, уже родившихся старыми, как будто нажившихся задолго до своего рождения, пришедших в этот мир с явным каким-то, очень весомым грузом неизвестного происхождения, неизвестного назначения.

...Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли... А ведь почти гениальные строки есть в добронравовской песенке. Вспомнил все это, вернулся чувствами куда нужно, умозрительно побродил где бродить следовало – слушая ту песню теперь в исполнении Дмитрия Хворостовского 4 ноября 2007 года. Целое хворостовское царство русских песен. Все-таки наша Россия прельстительно хороша, несмотря на в основном все плохое, вопреки всяким нескладностям и нелепостям. Но в том-то вся и прелесть. Полученная методом от противного. Прогорклая полынная прелесть.

И Россия почти всегда – только прошлое, вовремя не вернувшееся во все более ускользающую современность, в беглые все более наши дни, отрекающиеся от нас, словно бы давно отлетевшие, забывшие про то, как мы есть, как мы были, кто же мы.

У меня все уже было. В 40 лет это кажется катастрофой, после заунывных 50 – крепенько утешает. *Было* – как непререкаемая ценность, как бессомненное утверждение, что жизнь состоялась во всей чаемой полноте (пусть даже та полнота в призрачном исполнении и наполнении). Жизнь осуществилась в своей неповторимой драгоценности. Пусть и в прошлом, когда не осознавал, что ты осуществился, осуществлен. Но это не имеет теперь никакого значения. Жизнь уже есть, собою восполнена. Весомо оттягивает тебе плечи. В душе ощутима добротная поклажа. Опять есть куда свободно идти. Как много, как щедро еще этого ясного и просторного, этого размашисто тебя забирающего окоемного *впереди*.

Дело не в том, что этого нет, а дело в том, что это не то. В самую точку как раз именно и не то. Безупречно не то и не так. Идеал несовершенства попросту это, вот что.

Вся жизнь моя состоит из доказательства, что я не верблюд. Так в конце концов верблюдом и становишься, обреченно привыкнув к животной мысли и несообразному образу. Вчера начали расти два жировых горба, хоть я и не жирный. Очень тянет в пустыню. Утром бросился было бежать в Сахару. Вернули, заломив за спину руки и оба горба. Что будет дальше, не знаю. И будет ли?

Мир меня вдоволь и намытарил, и наголубил,
Вдоволь и я в нем начеловечил и нахимерил.
Болеслав Лесьмян, «ИЛ», №7, 2006 г.

Меня увлекает всегда стихия возможностей.

В ней обычно я и теряюсь. Вполне безнадежно. Становясь лишь одною упущенной крепко возможностью, которую никогда не разгадать, ни в какое самое узнаваемое ее лицо не различить. Мне единственный открывается путь – в возможностях пропадать. Но гибельный восторг всегда на моей стороне. Поэтому не так уж сразу меня и уймешь. Повозиться немало приходится. Лет на сто, как правило, всякой возни, а попутно – везни. Аж самому иной раз надоест вусмерть. С превеликим удовольствием бы отвратно от себя отказался, коли знать бы, куда ненавистный свой бренный останок под видом лучшего применения тихохонько, без осложнений подспудных, этак-так незаметно совсем – никуда подевать.

Все мои дети почему-то умнее меня.

Природа на мне вспять отдохнула? Так она возвращеньем побаловалась? Ну, все-таки не напрасно она отлучалась – в роду не без прибытка. И не без урода, конечно. Что не есть самое главное, хоть и естественно.

Сколько души они съели – дети... Одну скупую частицу оставили чего-то уже не нужного и не похожего ни на душу и ни на что. Допитывайся на здоровье, папашка.

“Причину смерти ребенка нужно искать в своих грехах”. (телеканал “Спас”)

Институт отцовства потихоньку гаснет. Но остается еще техникум отцовства. Потом пойдут ПТУ, в которых надежда умирает последней. Однако выучиться и там все равно кое-как можно, хотя бы на отдаленный призрак папаши. Нечего сказать, хорошенькие отцы уже выглядывают сиротливо из будущего! Ну, чего зырите, ненасытные троглодиты родового инстинкта? Детей попрошайничаете, недоученные болваны низшего образования? Кыш отсюда, пустая внедетность, канючащая жадной жалостью своих одичалых глаз. Экая блажь ненароком вам влезла в отлучившиеся от ума мозги! Вы – не отцы, отцы – не вы. Но кто же? – зададимся здесь уместным вопросом. Наверное, папа Карло; помощничками в размноженческом деле могут выступать также и всесветные инопланетяне, – самоответимся тут же от греха любого подальше. А то и нас спишут из отцов распоследних. Хотя уж списали, благополучно в ходячий отстой обратили, в дороженьку пустотою звонкой, весомой, певучей отлично прибарахлили. Теперь главное – не пропасть. Не исчезнуть весьма весомо, напрочь успешно. Только бы не соблазниться роскошным исчезновением, только бы удержаться от неслыханного богатства – в величественном порыве величественно не обнулиться, находя себя самого при езде в неведомое всё либо прахом, либо законченным вертопрахом.

“Истина юности никогда не дается”. Солженицын.

Если женщине некогда родить из-за служебных дел карьеры – значит, это дела неисправимо пустые, глупые и недостойные. Лучше бы и не было никаких таких дел на земле. Мы все без них обошлись бы благополучно – а особенно обошлись бы без них еще не рожденные, но сильно уже возмущенные всем сущим человечки, впотьмах ищущие своего будущего, которое страшно от них ускользает, со временем становясь одной вымершей неизвестностью.

Никто никогда не боялся, что в России дети кончатся. Только с последним малопродуктивным поколением стали бояться, да и то мы одни – не они. Они боятся только, что денег убудет.

Являют собой что-то до жути как бы величественное, цареватое. Очень грандиозные они с виду, как былые пятилетние планы, которые, правда, во многом им уступают. Полагают, они в России главными были всегда и во всем, главными и останутся на все времена и последующие несуществующие поколения. Ох домнятся ребята. Ох умнутся.

Все чаще стало слышно: беременная девушка...

Докатились, конечно.

В наше время такого безобразия еще не было. Девушки как-то бывали еще ничуть не подзачатыми.

В какой гиблый исторический момент беременная женщина возвратно оказалась девушкой, а девушка вдруг приберемененела до неприметности?

Что бы это в конце концов-то значило?

Очередная неразрешимая загадка века, лишь мычащая угрюмо в ответ, не желая дать слов и ясных понятий. И загадочка тоже, кажись, дебильнулась. Поздравляем тебя, загадочка, с приветом.

Припеваючи и приедаючи, молодое поколение живет вполне привольно и летуче в финансах за счет предыдущих поколений, за счет убитого их ресурса, с которым без оглядок и без сомнений разделались. Как бы поквитались за что-то со всем исшедшим и исходящим эти яростные неизвестно с чего противленцы. Причем с нескрываемым озлоблением, в котором читается месть бог весть за какие ужасные прегрешения. Будто родители тягуче о них не заботились, а лишь все протяжное детство секли, сознательно создавая себе ярких врагов будущего и надежные свои могилы.

А мы-то в семидесятые годы боялись жить за счет будущих поколений, опасались растратить если и не их ресурс, то их ресурсы, которые ощутимо тогда дожидались грядущей жизни. Просто вопили по всем просторам, всеми просторами: когда же будет новая жизнь?! ну когда же, наконец, будет новая жизнь?! Такие тогда были минералы и прочие полезные ископаемые, социально активные, гражданского направления. Не то, что сейчас. Попробуйте-ка от нынешней нефти добиться хотя бы пары слов в защиту российского государства. Она такое понесет, уставившись черным неподвижным взглядом, что только и скажешь, мечась: ну хватит тебе, нефть, хватит, пошутили, и будет. Да она скорее десять раз продастся и перепродастся, чем слово доброе скажет! В гробу она видела российское государство и все, ползущее по нему, как взаправдашные мандавошки.

Мы боялись, не умели и не хотели жить за счет других. Нынешние об этом и не задумываются, поплевывая на созданное до них и на чужие скелеты, себя положившие на это создание. Вот в чем одно-единственное ставшее уже не существенным различие между нами. А так – и здесь люди, и там люди, во всех поколениях, куда ж им деться-то, не пропасть же в одночасье, чтоб поколения поло зияли? Похоже, всюду жизнь. Похоже, везде люди. Ну просто деваться от них некуда!

В каком-то возрасте понимаешь, что молодость уже не нужна ни на что, а нужно от нее только простое, какое-никакое здоровье, общее равновесие общих сил. Молодость выглядит теперь нездоровьем, тяжкой обузой. Думаешь, страшком себя теребя: а вот вдруг сейчас молодость вернется! о, поберегись, спрячься!.. Если бы юность вернулась, как неохота бы в ней вертеться, среди нее быть, тратить на нее продолговатые усилия. Не дай Бог быть опять молодыми силами, случиться ими как-нибудь невзначай. Лучше переболеть чем-нибудь помимо молодости. Гриппом – но пластообразно лежать. Сердцем – но никуда не ходить. Головой – лишь бы не думать разбитные, шалопаистые мысли, не рваться на свидание с наверняка чересчур щебетливой, мучительно словоохотливой девушкой, на которой потом обязательно придется жениться. Ибо не удержишься ото всего.

Так что обезмоложенным в кровати лежать лучше и даже превыше всего, нет ничего лучше на свете. Кошмары отсутствуют. Никто не кусает. Спокойно, надежно. Не дует. И очень гигиенично,

просто рай гигиены вокруг – что, пожалуй, и есть самое главное, чего можно добиться от жизни, какая бы глупая замухрышка она ни была.

Ни одной женщины не бывало, не сказалось в моей комнате, но постоянно натыкаюсь на разные женские волосы, то крашеные блондинки, то натуральные брюнетки. К сожалению, а может, и к несчастью моему, ни одной рыжей еще не было. Рыжие своим отсутствием не посещали. Совсем презрели пустотой своей, что очень сильно меня настораживает и как-то не по-хорошему беспокоит – нервично то взвинчивает, то в прах бросает.

Кто насылает мне их? Чего они от меня хотят потерянными волосами?

Когда они здесь бывают? Что делают в мое отсутствие? Что делают с бедным моим отсутствием? Как ждут меня, с устатку разметавшись на моей изжеванной за ночь бездарной кровати? И как не желают, чтобы я вернулся?

Вопросов много, слишком много для одного этого места. Вопросов уже больше моей жизни. Да что же вы творите со мной, светлейшие отсутствующие? Меня ведь здесь тоже по преимуществу нет. Кого вы всё ищете в моей комнате, средь судьбы площадью 13,8 кв. м.? Вы даже мое исчезновение здесь не найдете, опомнитесь, дорогие. Лучше бы поискать вам чего-нибудь в других местах. Там хоть пустячинку какую, хоть чего-ничего, но все равно найдете. И будет оно, в отличие от меня, безраздельно ваше. А так, как здесь ищете вы, получаюсь я весь безраздельно не ваш. Мне обидно.

Сегодня буду целый день тщательно вести с собой совместное домашнее хозяйство. Отвел наконец-то время, выкроил денек, а то жена во мне совсем меня заела, проходу не дает. Прямо места себе не находит. Буду кормить густыми дымящимися борщами и мнимыми, но оттого не менее тающими во рту котлетами себя и себя под видом обормота этого – мужа, тут сразу-то и не разберешь, кто есть кто, мы давно вместе живем, дело пошло во взаимную обезличку. То-то будет праздничек на совместную персону, когда оно тут разгуляется!

Облачившись в заячий тулупчик, пошел в ловкости своей прошвырнуться на базарчик для дальнейшего существования. Любимейшей поневоле добыть решил ливерной колбасы. Но до базарчика, полного яств неземных, добрести не успел – была не судьба: на улице зверски вдруг зачесалась между лопаток спина-дребедень, в самом труднодоступном, как дно моря, месте, откуда бы крыльям расти, а не просторечиво чесаться. Заячий тулупчик, предательски пользуясь случаем, мстительно ограничивал степени свободы (за что мстишь, лохмоток?), не располагал быстренько уличить эту выскочившую внезапно на мне спинную чесотку. Не дьявол ли то взыграл, своеобразно обтанцовывая мою спину? Но зачем ему это надо? Можно гораздо выгоднее и с большей пользой меня изнурить другими видами досягновений.

Покрутился и так и сяк, теряя надежду, чувствуя, как наполняюсь тепленькой паникой. Ничего не проходит, никакого варианта пресеченья событья не видится. Безвыходность положения начинала затмевать мне глаза, стервенеющие мало-помалу от тупиков невозможности. Чесотка, или что-то крупно похожее на нее, меж тем начала прямо в крик орать на спине во всю свою зудящую зряшную глотку, не переставая меня обтанцовывать. Я взялся кружить упаднически на месте, надеясь центрифужно сбросить с себя ту живую птицу чесанья, не зная, что сделать с собой или с тем, что от меня зудежно оставалось, так как ощутимо я умалялся, подавляемый вероломным величием этой дрянной чесоты; постепенно сбиваясь с пути, теряя направленье к отдалявшемуся неумолимо базару и расположенной там в одном лишь собачьем месте ливерной колбасе, отдалившейся еще более, чем базар. Счет начал идти в перескоке на колбасу, видимо, на вселенские величины. Даже ливерный, обычно ярко выраженный, аппетит пропал, весь просто выветрился бесследно куда-то, словно сдунутый ветром отчаянья.

Что ты будешь делать! – хоть на столб безудержно лезь от этой дурной, выпроваживающей за пределы зримого мира чесоты, тараща от спинных катаклизмов растерянные и частично убитые

травлей глаза, обиженные на несправедливость сущего мира. За что, ну за что она меня так? Я ведь ничего ей в жизнь плохого не сделал. Тут пришла ко мне ошалелая мысль, во всяких других временах и местах наверняка побрезговавшая бы мною: а не Бог ли в некой объявившейся суматохе начал жечь своей карой, пробно взяв меня за подручный эксперимент? Но уж очень как-то некстати, не по-божески неупорядоченно, точно возник пожар из меня, а тушить, как всегда, то некому, то нечем. Нельзя, что ли, было предпринять эти пытки где-нибудь на кровати, в уединенных личных местах, давая мне средь наказания немного и удовольствия, пусть и пагубного? Отдельно от всех кто ж почесаться не любит, кто же был бы против? Я ощутимо роптал. Между тем уж стенать и активно икать начиная от преизбытка моторик. Просто шепоты и топоты татар какие-то рвались из меня и побурливали, колебля окружающую действительность как обыкновенный тростник, ничего не желающий смыслить в том, что так убого, но очень пристрастно со мной происходит – равнодушная скотина это растенье тростник, невольно мелькнуло. Таким вот наплевательским животным он мне вдруг явился, пестря и унывно шурша средь смутительных мыслей.

Точно в удачно найденную щель между бесплодными стенаньями и проклинаньями юркнул шустро я за первый попавшийся, кое-как случившийся тут угол – чтобы неотложно поискать там прямого, а не обводного какого или косвенного спасения. Стояло голое, благостно и милостиво шершавое стволом дерево, и оно сразу показалось мне древом жизни и хорошего, прочного будущего. Оно в мгновение ока мне полюбилось, как если бы это была осененная солнечной тенью цветущая осенняя девушка. Было совершенно безлюдно в сем тупике человеческом и других, разрастающихся на глазах моих тупиках. Самое место расправиться с чесотой один на один, в честном единоборстве. Смахнув с озверенья себя точно пушинку этот все переставший значить зайцетулуп, яростно я припал спиной к шершавому пристанищу, опаляя его своим неукротимо рвущимся вовне наслаждением, и, по ходу дела возобновляя в себе деревенскую привычку чесаться тылами о косяки (о, сколько жителей земли подобным макаром перечесалось, эту бездну не счесть!), стал учить спину о дерево хорошо жить. Я елозил с безумно обращенным в глубь себя вниманием спиной вверх и вниз, вдоль и поперек, осваивал и потенции диагоналей, могущих принести желаемый и даже сверхожидаемый результат, чувствуя, как жгучее наказание переходит кроха за крохой в беспримесно чистое наслаждение. Я отлетал, похоже, в рай и получал спиной за некоторые заслуги тамошнее блаженство. Я и не предполагал, что рай случится со мной в таком виде и при столь странных, близких к преступным обстоятельствах. Воистину – не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. И что при этом естественно увидишь, а что противоестественно.

А увидел я следующее: вдруг мимо шибко, почти бегуче замелькала девушка, всевозможность глаз привлекая таращиться на мое витье и как я въедливо, тщательно взвиваюсь куда-то по дереву, не могя, но хотя больше жизни своей улететь. За упорной заботою наслаждения я поначалу и не заметил ни ее, ни бесшумного, текучего ее приближения. Всевозможность глаз ее, взирающая с воодушевленным недоумением и первобытным интересом на расхристанный – ах, до него ли мне было? – по снегу заячий тулупчик и на змеистого меня, молодо вьющегося полуодетым по древу, округлялась все более, делая всевозможность уже вседозволенностью, пока глаза не закричали вдруг ужасом и не вылетели из орбит, осуществив таким образом вместо меня мечту излета.

Потом произошло и еще следующее, простоя никакого ни капельки не было: девушка стала двигаться мгновенно, можно сказать, пошла вся мгновеньями, словно пятнами, запестрила в глазах моих, стараясь набраться космических скоростей, унесших бы ее отсюда молниевидно. Потом, не справившись с местным космосом и его скоростями, побежала косым поскоком вполне по-земному, мерцающим воробышкиным аллюром, не растрачивая ни крупицы драгоценного времени на пустую оглядку и на обманувшие ее космические приобретения.

И умелькнула из жизни моей и событий моей обремененной чесотой души навсегда, будучи неразгаданной и нерассказанной сказкой. Только ее и видели. Только и слышали бесшумность крылатых ее шагов драгоценных и светлых.

Наверное, подумала, бедная, разочаровываясь попутно во всем человечестве, что одним сексуальным извращенцем в мире стало намного больше.

Оторваться от немыслимого наслаждения и догнать ее, разубедить у меня не было сил, ибо весь наслаждением изнемог, – и пустил я ей вслед одно порожнее свое желание, на неуклюжих лапках метнувшееся за угол. Не знаю, догнало ли оно ее и как помогло изменить картину мира в лучшую сторону. Я продолжал вихревато виться по шершавому дереву несмотря ни на что, не понимая уже, чего я от него получаю в ответ и чего все-таки хочу от дальнейшего, да и хочу ли в действительности, да и вообще хочу ли действительности. Виться тут я мало-помалу уже привыкал. Не остаться ли в этих местах на вечный витиеватый излет?

Вот до каких мыслей может довести крайне нормального и благонамеренного, а главное, законопослушного человека обычная чесотень, когда она становится манией тела, явившей себя в труднодоступных, как дно морское, местах и в неудобное, во всех отношеньях случайное время.

14 ноября 2007 года в Саратове первое зимнее яркое утро. Совершенно зимним и ясным выглянул в свет этот денек. Повсюду – любимый даже не душою, а каким-то подсознаньем души сияющий, исхищающий снег. Чуть подтаивает на мартовском совсем припеке. И пахнет просторным, величественным, многообещающим мартом, который лишь тяжек зазимовавшей во мне виною.

В этом году зима началась прямо с весны, обратным ходом. Отчего-то смутилась зима, подзапуталась. Улыбается в окошко смущенно, застенчиво, мол, ну что тут поделаешь, дала вот промашку, с кем не бывает... Но я ее прощаю за путаницу и очень рад, что все начинается с марта, легко отодвинувшего в сторонку где-то насупившийся теперь нелюдимый ноябрь – он исчез, слава Богу, он длится в пропаже.

Пробрелся по сиятельному студгородку. Рябины, вобрав морозную чистоту, ею одной напитавшись, пронзительно оранжево выглядывают из-под нападавшего на них снега яркими, птичьи любопытными, но в действительности ничьими глазами. Мои деревья все целы, на месте. Какой-то странствующий поезд особенно медленно тянулся мимо местности студгородка, пристально ее разглядывая и точно узнавая, попутно дивясь. Вот уж увезет в дальнюю даль впечатлений! Будет что рассказать дальним странствиям и другим любопытным местам!

Так хорошо было уступать всем встречающимся людям узкую дорожку в снегу. Обратно возвращался счастливо мокрехонький – пальцы ног в осенней обуви уже немного разговаривали, влажно почавкивая, – рады радешеньки были о чем-нибудь поговорить, нам молчание надоело.

Пришел домой, в 13, 8 кв. м. Вдруг нестерпимо захотелось купить на книжном развале старый весомый том Юрия Трифонова, набухший от времени, в два раза толще первоиздания. Что-то в сегодняшнем дне есть от трифоновской прозы. Его мерцание, его недосказанность. Его притишенная, но и искусительная, его глухая и славная боль, разлитая по всем окрестностям слова.

На сегодня я резко отпаду от ислама, отродясь им и не быв, – возьму да приготовлю сплеча суп из весело ржущей от разморозки свинины; вот отрежу только клеймо, не хватало мне еще иметь клейменный чернильный желудок. Да простит меня Аллах, но мне нужно быть крепким. Впрочем, и так второй год живу даже без насморка за душой. Малость обидно делается иногда за болезни – такие слабые они попались, в неощутимых призраках мне доставшись. Никакая бледная немочь не берет, а сердечно-сосудистые от меня буквально шарахаются. Как-то досадно. Неужели я так уж плох и даже на порядочную болезнь не гожусь? Может, я стал теперь хворать исключительно в форме антиболезней? Спасибо дедушке и родителям, – мне кажется, это они с того света руководят моим здоровьем, насмерть привыкнув меня воспитывать и думая, что продолжают заниматься моим воспитанием, убиваясь меж тем ошибочно о моем здоровье, под прозрачным предлогом усовершенствования души вечно маленького и вечно невыросшего меня, навеки с их стороны пятилетнего, все сопливого да сопливого, безостановочно на века.

Надоело мне вечность кряду быть сопливеньким, носом бессмертные пузыри пускать, хоть и радужные. Я немного устал от их неотступной запредельной опеки и хочу просто поболеть прежним гриппом, чтобы все стали тише и ласковей и чтобы спрашивали: а что тебе сегодня купить? Купите ныне халвы. И также коврижек, – слабым и дрожащим горлом отвечу, книгу про гусаров сронив на грудь. – Я что-то по халве соскучился сильно. Обязательно-обязательно купим, – мне

отвечают. – Только ты скорей давай выздоравливай. Уж не разболевайся. Эх, ёк-караёк, как ты вырос. Давай-ка температурку смерим.

Когда папа брал меня, пятилетнего, в тележные поездки, предводительствуемые лошадкой Халидой, куда-нибудь в отдаленное лесничество, в дороге он покупал мне сто граммов пряников, ссылаясь на отсутствие дальнейших денег. Ровно три штуки окаменелых созданий сельских магазинов, три тщательно оберегаемых оковалочка, которые я грыз кроху за крохой весь долгий путь и которые сегодня очень люблю погрызть с благодарностью на ночь, неудержимо похожую на странствие вдвоем сквозь тот чудесно измедленный путь.

Мой дед Михаил Максимович, *годок* Ходасевича и Гумилева, был такого же возраста, как я сейчас, в 1937 году. Тогда-то он и возвратился домой из сибирских отсутствий.

Конец 2007 года. Я только-только вернулся с Колымы. В моем теперешнем возрасте я вряд ли смог бы уже вернуться, но дед сумел превозмочь и мой склонный к пожилому возраст, – он-таки тогда вернулся, осилил нас вернуть вопреки слабостям моим. Как долго же меня не было... Целых 75 лет. Конечно, многое изменилось. Многое начисто, бездонно пропало. Нашего села так и вообще, можно сказать, нет. Что ж, пообитаем где-нибудь. Возможно, осталось еще местечко на пасеке под Безобразовкой, средь лета 1965 года, не все ведь места, может быть, попропадывали... Там мы с дедушкой тоже некогда были. Там должно что-нибудь остаться. Должно. Иначе что же это за места такие, если они всё пропадают и пропадают; тогда это будут уже не места... Авось безобразовское то земляное пятнышко нас к себе приберет, смилостивится над нами. Тем более что дедушка немолоденек, 121 год как-никак, пора бы ему и успокоиться, приют найти окончательный, прочный. А я буду при нем, как при месте. Чиновником по особо отсутствующим поручениям.

Нетрудно заметить, какую должность занимал бы любой современный человек в 1937 году. Совсем легко заметить, кто там уже мертв.

Папа в рукопашной на войне, когда увидел вплотную немца, не поверил, что немцы такие бывают, – у него было обыкновенно человеческое лицо. Они не стали убивать друг друга, чего-то окончательного не хватило – и будто бы сознательно прошли мимо один другого. Но когда впереди и там, и там многих поубивало, они вынуждены были вернуться навстречу добивать друг друга. Но так и не добили, опять окончательного не хватило. Вынуждены были по обыкновенным мотивам снова пройти один мимо другого, ничем каждый каждого не зацепив, единственно – взглядом, отталкивающим надежно вражину в сторону мыслимого убийства. Так и возвратились ни с чем, без победы каждый к своим, которые казались теперь в другой стороне.

Отец запомнил, конечно, лицо того немца накрепко, во всю жизнь и всегда считал, что с тех пор его немца больше никогда не убило.

Вспоминал ли папу тот папин немец? Хранил ли его памятью ярко, жестоко – чтобы папу нигде не убило? Но факт налицо – отец как-то выжил вопреки всем казнящим причинам. Да и я налицо, в виде факта. Подтверждаю в качестве неоспоримого послевоенного сына.

Теперь папин немец неуклонно мне снится, переданный по наследству. Все чаще расхожусь с ним в рукопашной мимо. Все чаще к нему возвращаюсь. К войне мы взаимно привыкли. Приходи, Фриц, сегодня ко мне под видом битвы пить вечером чай. Повоюем глоткАми душистой заварки, взаимно смеясь о чем-то постороннем и беззаботном, отрекаясь от снов. Отдохни наконец-то от сдуревшей моей рукопашной. Милый Фриц, ты не бойся, не бойся. Мою рукопашную в дом мы сегодня не впустим, пусть остынет она на порожнем ветру. Пей спокойно бескрайний наш чай.

Прости, дорогой папа, за все нездешнее с нами, что состоялось вне нас. Дай я тебя поцелую прямо в нездешнее лицо, которое я вижу прямиком из детства. У меня оттуда сегодня окна распахнуты – сразу в твою покойность, как в наш разорившийся, в убитый наш сад.

Это люди уже сплошь родные. Неотъемлемые. Все-в-тебе-проницающие. Родные настолько, что нет никаких вопросов, за исключением вопроса – кто кого будет хоронить и оплакивать, кто будет первым в скорбях, кто жестоко предстанет последней утратой.

Еще продолжительное время после захода солнца в высотных окнах держится мертвенный свет истекшего дня – цвета бледного огня, а может быть, линялой, уже некровавой крови. В эту предсумеречную пору конца августа или ранней осенью нет ничего лучше их, тех измедленных в никуда окон, нет ничего таинственней их, величественнее. Нет ничего проникновеннее и необъяснимей. Даже с великого лика опечаленной всемирно Луны, занявшей, кажется, полнебосклона, взгляд неостановимо соскальзывает на эти дремлющие во все глаза, текучей нутряной сталью отливающие и стылые в печали некой неразрешимости окна, отзывающие чем-то четко потусторонним. Прямоугольнички, мелкие глазкИ такой похожей на все земное смерти, выстроенные в строгие, недрогновенные, отчужденно-холодные и непроницаемые ряды безукоризненно точно вспыхнувших этажей, отсчитанных кем-то и отведенных для временного небытия. Маленький парад как бы шествующей мимо временной смерти, которой скоро уже умереть, стать прелестнейшей чистотой отсутствия, духом грез.

Пока в распахнувшемся настежь городе, пролетающем средь цепенелых, завороженных чувств, – пока в драгоценном моем городе не перевесит окончательно лунный свет, лунный свет предосенья, эти окна, эти странно вымершие полотнища стекол, отражающие странное небо пугливо странного цвета, будут самым мертвенным из того, что только здесь, средь земли, быть может, бывает. Столь совершеннно мертвенным, что оно порождает исподволь жгучую страсть, тоску по всему живому, неутолимую и паникующую жажду возврата в эту жизнь, в эту непозволительно уж слишком земную жизнь, раскинувшуюся небрежно вокруг и еще пошумливающую утомленно, вечерне, на тихом излете, тихим прелестным покоем.

Этот возврат прекрасен. Словно ты явился сюда после долгой, может статься, и вечной разлуки. Он даже лучше самой жизни, тот возврат. Самой жизни – всякой и разной, все ясней становящейся лунной, глубоко ночной. Скоро станет все тишиной. Скоро станет здесь все небывалым. И нахлынет сюда что-то большое, чему названия нет, никогда не будет.

«Очень мало у кого есть родственные отношения с Богом».
«Если бы мы были с Богом на ты, ушло бы много напраслины». (телеканал «Спас»)

«Невозможно поверить в Бога, если не увидеть в глазах хотя бы одного человека сияние вечности». (телеканал «Спас», молодой богослов цитировал Антония Сурожского)

Нет ничего лучше на свете русских женщин. Это очевидно и для непосвященного. Даже рай перед ними тушуется и пропадает, старается незаметно и не без конфуза пропасть. Со стыда от своего несовершенства просто куда-то проваливается. И нет рая. Одни вокруг русские женщины взамен. Тихонечко и непревзойденно прекрасно поругивают мужей неразумных своих. Те, конечно, в ответ. И погромче. Из чего сразу видно – русский мужик не для рая создан. Для чего-то более громкого и решительного он. Не в кустах райских сидеть. А если в кустах, то явно земных, чтоб с хорошей закуской. Небесные яблочки ему ни к чему, они как-то угрюмо кислят. И в рот не полезут, не то что уж в душу – она будет сразу окрестно уязвлена. Даже вопрос о кустах тогда отпадает. Они также начинают внушать непреодолимое отвращение.

Зачем славить Бога? Разве Бог нуждается в прославлении? Ведь Он, как никто, далек от земных страстей и тщеславий, запредельно им чужд. Бог же не малый ребенок...

А может, и впрямь Он – ребенок?

Бог намерения целует.

Какое здоровое действо! Как мало на Земле равных этому бескорыстных и чистых поступков...

Мы целуем обычно не то, не там и не так. Нам лишь кажется, что мы целуем.

Пронырливая случайность

Звонит поздно вечером в мое стоматологическое укрывище, где я обитаю сторожем, и прямо с объятий мне начинает непревзойденным этим любящим голоском нащебетывать: «Ну, здравствуй, солнышко мое! Вот я и приехала». И так далее столь же прекрасно.

Я ошарашенно слушаю. Я онемлен чудесною немотою. Не соображу никак – кто это? ну кто же, Господи Боже ты мой? Кто ты – та, чьи слова столь бесценны? Из каких омертвелых уголков моей жизни явилась, возвратиться сумела? Из праха лет каких и событий ты легко так восстала? – голос твой живо и незнакомо бьется в трубке, утопая в восторге и потопляя, обнимая своей чистой, рвущейся мне навстречу так ясно, так самозабвенно любовью. Кто ты, моя мгновенно родная, одним прикосновением речи светлой твоей – любимая?

Я корю себя за собственный порок затрудненного узнавания чьих-то знакомых по отдаленности голосов. Я успеваю лихорадочно и потерянно спросить себя – кто же это, случайная, еще может в жизни моей остаться, откуда-то извлечься, чтоб без длинных начал, приступая прямо к объятьям, солнышком своим назначить меня? Ум мой начал потихоньку мутиться – ему блаженство противопоказано. Как мало же, оказывается, ему надо, чтобы обольститься, перевернуться, сладкой смутой вдруг быть!

Только вот так уж сразу и «солнышко мое», это опасно. Это грозит непредсказуемостью, невосполнимой тратой надежд. В «солнышки мои» я, кажется, давным-давно не гожусь, так как из разряда солнц и даже зимних лун вроде отчислен: был, да весь вышел... Осталось – и сказать неловко – что, лучше бы такое никому и не оставалось.

Речь ее льется, трепещет, обволакивает – не остановить мне никогда тот поток, никогда... Я стою близ него очарованным странником, потерявшись странствовать дальше.

Наконец с темным озарением понимаю – этого милого голоса, знакомого только прежними милостями, я никогда не слыхал. С ним я не был знаком – с ним, этим редкостным существом, с голосом женщины, разговаривающей со мной по телефону, незнакомой со мной еще более, еще далее, чем ее далекий голос, чем ее существо, которое она выпустила и с такой любовью в меня впустила. Тут с солнышком с той стороны явная вкралась ошибочка. Пытаюсь вклиниться как-нибудь в обволакивающую меня с ног до головы противоположную речь, но потоком нежности меня легонечко, как пушинку, сносит обратно в любимые. Нежность ее не допускает меня нежность ее утратить. Вот стою на каком-то пустом бережке, весь в объятиях, весь из милостей незнакомой женщины, созданный целиком из ее поцелуев... Просто сам не свой – но, Боже мой, как это приятно! И улыбка моя сейчас – тоже наверняка вся из нее, из каких-нибудь неизвестных ее жестов, из пары особо любимых ее слов, из одного ее, может быть, вздоха и полувзгляда... Как отрадно, как неповторимо чудесно состоять из чужой любви, принадлежа ей полностью, безраздельно!

И все же говорю, воровато вкравшись в поток, – вы, вероятней всего, ошиблись, но мне очень приятно слушать то, что вы сказали и говорите. Вы говорили всё правильные слова. И про себя добавил: до ужаса точные. Объясняюсь, что я не солнышко никакое. Ну, может, в глубине души и считаюсь, и даже пребываю немножко солнышком, только я, к великому моему сожалению, не то солнышко, за которое меня сейчас усиленно принимают. Хотя, конечно, быть солнышком, которое распространяет она на меня, вряд ли бы кто отказался. Поэтому пусть уж я буду немножко и вашим сияньем, раз так получилось.

Женщина до маленького безумия хохотала и, конечно, по-прежнему счастливо. Как же я так попала впросак?! – сказала. – Звонила одному, а получился другой... И спросила, ну как же так мог выйти у меня ошибочный номер? Это нелепость какая-то, ведь набрала я все верно. И где ж это

мой дружочек-то прячется? – сказала. – За этим номером вместо вас должен быть он... Или вы должны быть им, – чуть было мне не услышалось.

Я послал ей через расстояние недоуменное пожатие плеч. Она мне сквозь похрипывающие и похрустывающие километры посылала и посылала растерянную, взгрустнувшую вдруг улыбку. Клянусь, и я, и она – мы оба все это видели. Мы оба как-то знали об этих наших прозрениях, неизвестно почему, но они случились, неизвестно почему мы знали об этом, знали точно и накрепко, каким-то знанием, от нас не зависимым, может быть, и принадлежащим-то нам один-единственный раз в жизни, а теперь – обоюдно совпавшим. Мы так ясно вдруг увидели нас в наших взаимных видениях, в ясновиденьях невпопад. И так хорошо было видеть друг друга издали, из невероятного отчуждения расстояньями и полной, кромешною незнакомостью. Прощаться никому не хотелось, но следовало. Ну, незачем из-за меня так недоумевать, – сказала. – Сама я во всем виновата, вечно чего-то напутаю. Не стоит и пустяка вся эта история... Незачем вам улыбаться так грустно, – сказал я. – И ни в чем-то не виноваты вы, это что-то другое за нас напутало... Потом от растерянности средь замечательных ее слов я начал мямлить что-то другое, чего бы никогда говорить не надо. Но женщина простила меня мгновенно, и несуразица моя где-то тотчас же потерялась, даже во мне от нее не осталось и крохотного полуследочка.

Женщина извинилась за свою заблудившуюся речь. Но я отвечал, что прощенья просить тут совершенно ведь не о чем, то предельно хорошая речь, обзавидоваться можно на того, кто так говорит и кому услыхать такое. Всякому лестно солнышкино выслушивать. Вы сказали всё правильные слова, правильней, наверное, ничего не бывает. Вот и мне ни за что перепало немножко, погостил я случайно в ваших волшебных словах... Я, пожалуй, украду для себя ваших несколько слов, чтобы пользоваться ими, когда захочу, если будет недоставать чего-то... (Да сияний же, ведь сияний!)

Все опять повторялось, но это был прекрасный и неповторимый повтор. Хотелось, чтобы он длился и длился. Чтобы всю жизнь не кончался. Но и повтор уже подошел к своему краю, за которым кроется дурная лишь бесконечность.

На том и распрощались мы славно. Женщина все напоследок смеялась от личной ошибки и горячо, с искренностью как-то большей, чем искренность, пожелала мне того, что она не тому случайно сказала. Я поблагодарил и с такой же искренностью, превышающей всякую искренность, пожелал ей удачно найти того, кого она безрезультатно пока теряет. Он непременно найдется, сказал я, ваши слова непременно его найдут. От таких слов никому не спрятаться, никуда. На такие слова сами, голубчики, готовы выбрести отовсюду. Женщина наградила меня последним своим смехом, который был как воочию серебрист и намного больше, чем женский смех.

Через несколько десятков секунд вновь звонок. По каким-то неизъяснимым его особенностям, по доверительному и проникновенному тону, с каким он звучал, я уже несомненно знал, что это опять она, точно женщина передала звонку часть своего голоса, самую лучшую, самую сущностную. В голосе телефона была очень большая крупица ее, этого совершенно безвестного мне человека. Звонок явственно звучал ею, звал к себе ее нетерпеньем, о котором я не имел никакого представления, которого не знал, но все равно уверен был: это ее, ее нетерпенье, ни на чье иное оно не похоже. «Ну, здравствуй, солнышко мое! Вот я уже и приехала...» – но голосом уже чуть посуше, голосом, немного израсходованным на прошлое и малость надорванным состоявшимся полминуты назад ошибочным счастьем. Но смех в ее голосе еще клокотал, совсем недавно отсмеявшийся, упокоившийся смех, наш смех, хотя один бы я сейчас узнал, различил в том голосе смех, верней, его несмолкшее эхо, присутствие таких разных и противоречивых излетевших теперь смешинок, составляющих ее великолепно огромную озвученную улыбку, обворожительный живный слепок отсутствующего ее лица, – призрачный-призрачный след с внезапной безуминкой хохота.

«Простите, – сказал я, – но это опять я. Вы вновь на меня попали. А в какой город вы звоните?» – «Ой, это опять вы... Вот странности-то... Я в Улан-Удэ звоню. Из Орла. А что, разве это не Улан-Удэ?» – «Вы извините меня, но я – Саратов». – «Как – Саратов? Откуда – Саратов? Господи,

чудны твои дела! Вы уж простите меня. Я все время набираю Улан-Удэ, а получается почему-то беспрерывно Саратов. Да что же это такое? Прямо беда... Вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, я ведь ничуточки не нарочно... Что-то удивительно непонятное происходит. А ваш саратовский номер точно такой, по какому я звоню?» Я назвал. Он был тот же самый. Все совпадало единица до единицы, только города в цифирки эти не попадали, не влазили. Хотя, отчего-то казалось, могли бы и попасть, это казалось легко и просто, только города попались какие-то несговорчивые, уклончивые. Вредноватые это были города. Вести себя не умели. Ну хотя бы ради приличия совпали. Хотя бы на несколько мгновений. Чего им стоило? Сделался бы Улан-Удэ на минутку Саратовом, не убыло бы ведь от него. А потом бы снова стал сам по себе, будто ничего и не бывало. Но нет, не дождешься. Потому что упрямые были города, все три, один другого упрямей. И затаившийся Орел, пусть и тихоня, но не менее упрям и уклончив. А ему бы тоже не помешало на полминутки побыть Саратовом, совсем бы не помешало. Женщина также, похоже, сожалела об этом несдвижимом безумии городов: как возьмутся быть одним-единственным городом, так хоть ты расшибись, а не подвигнешь какой-нибудь обрюзглый, вечно всем недовольный Усть-Кирдык пусть для пробы стать мимолетным Парижем, а Париж сделаться на мгновенья, скажем, Аткарском иль Аркадаком, где мелькнет ненарочно совсем Монпарнас. Монпарнаса, что ли, жалко на пару секунд? Во Франции исчезновение его на столь короткое время никто и не заметит, он порядком там намозолил глаза, Монпарнас. А в Аткарске иль Аркадаке он тотчас бы стал украшеньем мгновения.

На том конце бесконечного провода женщина тихонечко привздохнула от невозможности расстояний и вредности городов, не желающих на время стать друг другом, на самое малое время, чтобы только успели люди встретиться и перемелькнуться. Вздохнула грустно, устало от странности своих непопаданий. Недосягаемость любимого человека становилась опасной. Она разрасталась. Она обволакивала и меня, наделяя опасностью и какой-то хронической, непреодолимой отверженностью своей. Мне грозила теперь некая вечная недосягаемость. Но эта женщина была не виновата. Она не виновата была ни в чем. Было здесь виновно что-то постороннее – неузнаваемое, неуловимое. Какой-то сумрачный дьявол тайны тут вертел. С некоторым налетом тепла и грусти мы попрощались, как былые любовники, немного уставшие один от другого. Чувство еще сохранялось, где-то в глубине тлело, но была эта необъяснимая усталость. Она мешала. Она все поглощала. Если бы не она, можно свободно длить отношения, все предпосылки к ним есть, все основанья еще не порушены. А пока следовало крепко отдохнуть друг от друга. Разъехаться на неопределенное время по разным, не пересекающимся местам, где не будет никого знакомого, ни единого из прошлого лица.

Через какие-то жалкие полминуты – новый поворот судьбы, все более непредсказуемой. И все более, по всей видимости, пропащей. Вернее, пока лишь становящейся пропащей, неостановимо устремляющейся к таковой, хотя неизвестно, где она, эта пропащая судьба, чтО она, да и может ли судьба лихо так раздваиваться, будучи одновременно пропащей и непропащей? Тогда к чему же стремится еще недопропавшая судьба, думая, что она направляется к судьбе как бы вконец пропавшей, дабы взять с нее весьма странный пример, обрести в ней образец для отвратно исчезновенного подражания? Что-то неладно стало у нас этим вечером с направленьем судьбинных движений. Вот он, новый поворот судьбы, все более непредсказуемой, по всей видимости, склоняющейся охотно к пропащей: в третий звонок и в третье «ну, здравствуй, солнышко мое», в третье по счету, если отскакивать от нынешнего вечера, «вот я уже и приехала», – во все это неискоренимо печальное и, надо полагать, напрочь последнее третье я просто-напросто молчком кладу трубку вежливо обратно – я, до всех пределов растерянный и точно бы начисто обокраденный, свирепо, казалось, обманутый во всех своих лучших прижизненных ожиданиях. Страшно вежливо, даже ужасающе вежливо кладу трубку. Запредельно вежливо делаю то же самое. Соблюдая прохладную церемонию вежливости в царском варианте ее исполнения – так освобождаюсь от трубки. До мелочных пунктиков и до распоследних последков убивая, изничтожая вежливость, избавляюсь от проклятья телефонных вторжений, от проклятья телефонных проклятий – я не

буду, не хочу больше никогда говорить по телефону, говорите сами, если уж так вам нравится, если так вам зачем-то надо... Так вежливо, предупредительно прибирают приготовленный к смерти корабль – перед тем, как его затопить.

Я честно был вежлив. Упрекнуть меня не в чем. Долг вежливости выполнен до конца. И вот я уже средь своего молчанья, поначалу кажущегося чистым и непревзойденным, царствующего вольготно во мне и в тишине позднего, никчемного вечера. Оно выглядит отдохновением, крупной передышкой перед всем крупным будущим и друзьями его неразлучными – туполобыми трудностями и неудачами.

Гиблое, однако, молчание.

Гиблая и тишина.

Давайте дружить семьями.

Это что ж получается – гибл и я?

Было бы чем хорошенечко прибить себя, прибил бы без промедления. И не задумался бы даже над глубокими судьбами своей глубоковатой судьбы.

Но у нас в стоматологической поликлинике, как на грех, ничего тяжелого не бывает. Не зубоврачебным же креслом себя сплеча садануть. До утра инвалидом быть трудно без скорой помощи. Только собственной же кровью весь обстрекаешься и помещения многие напрасным струеньем изгадишь. А с утра уж попрет клиентура. Ей и дел никаких мыслить нет до того, что здесь сталось, лишь бы чистенько было и в зубах не навязло чего-то. Лужи красненького на полу, труп развязный при них клиентуре честнОй совсем ни к чему. Лучше детектив почитать по излеченьи зубов и по установке достойных имИджу имплантантов. Там трупы лучше. Благообразием от них так и веет. Детектив между тем тоже благоухает, не забывает этим делом заниматься, в долгу у читателя не остается, так как свои кровные он заплатил.

Но вернемся к печальному и немного обратному. Тем более что надо же всегда куда-нибудь возвращаться. Возвратимся на сей раз к женщине, которая только что покинула нас, будучи только что взаимно покинутой. Мы были равны в наших покиданиях, но я казался себе покинутым больше. Возможно, у женщины сложилось точно такое же впечатление по отношению к себе. Так что истины невозможно было найти – кто ж на самом деле из нас покинут?

Мне страшно жаль эту мою-не мою женщину за ее жалкие промахи, за ее жалкие ошибки. Но мне ее жаль и как-то иначе – все в этой жалости по-другому. Мне жаль ее более крупно, чем жалкая жалость за недоразумения ее неузнавания, за торопливые броски ее подслеповатой нежности, за слишком быстрый любовный резон, за поспешные ее объятия ниоткуда – и ни к кому, потому что ведь я для нее не должен быть кем-то. Мне убийственно для себя жаль ее, вот оно что. Словно я прожил с ней долгую жизнь и сгубил ее жизнь. Вот как жаль. А значит, это чувство – скорее вина и непоправимость. Это чувство – невозможность ничего-ничего исправить. Все погибло для этой женщины, все погибло во мне для спасенья ее, и я не знаю теперь, как быть мне. Как быть с таким непомощным и беспользым самим собой, который сгубил женщине жизнь и не может ничего поправить. Все рухнуло, обвалилось в напрасное прошлое, все стало одной-единственной руиной былого, все обернулось одними развалинами и призраками – и ничему нет и не будет возврата. Про себя глубоко внутрь я виновен, сплошь заросший виной, как бедой.

Так казалось отчаяньем.

Я корил себя всякими правильными и неправильными словами за то, что нежное и доверчивое счастье той женщины никак не может, не умеет найти приюта сегодняшним вечером, как будто именно я, и никто больше, был в этом виноват, нехорошо умышлен. Оно опасно заблудилось среди других людей, в том числе и среди никчемного меня, который это счастье окончательно заблудил, увел почти злонамеренно с сердечных ее дорожек совсем-совсем не туда, куда приводить его следует. Или это сошел с ума одичавший втихаря телефон, свихнувшись окончательно на трудновообразимых расстояниях? Мне страшно неловко, мне просто бедово пред той незнакомой женщиной, поникше стоящей сейчас пустым своим образом, лишь жгучим сгустком укора в моем представленьи ее, пред той женщиной с очевидно пресветлым, до самого чиста пробирающим и

очень-очень кого-то неведомого любящим голосом. Да, за этот голос – все отдать. Мне немножко – так как мое самолюбие перетягивает ведь на мою сторону – обидно за того любимого ею человека (как бы меня, малость меня), так и оставшегося сегодня напрочь не узнанным и опасно, очень незащищенно пребывающего таковым. Долго ли будет он оставаться ненайденным? Долго ли быть ему исчезновением – чтобы вне ее любви продержаться и окончательно не пропасть? Не заблудится ли безнадежно это хрупкое, сбивчивое, полуслепое вечно и вечно бродяжное счастье в поисках его и его несчастливой пропажи?

К утру следующего дня я вконец уверяюсь, что это именно мне женщина звонила – женщина, которую, возможно, я некогда знал (а может – и нет), с которой был, вероятно, хоть мельком знаком (а может – и не знаком). Разницы между былым знакомством или незнакомством не было уже никакой, всё едино, из прошлого струит какая-то однообразная и очень несправедливая одинаковость. Но все правильные ее слова принадлежали теперь безраздельно мне, были целиком и точно по одному моему, по разъединственному адресу. Ну не болван ли, не отменный ли идиот? И где отныне искать ту женщину, теперь уж утраченную на никогда, затерявшуюся гораздо крепче того, чем ее не было в жизни моей? И кто она? Господи – кто? Впрочем, это тоже почти несущественно. Главное, что она была, вернее, уже есть. Это самое главное, что вчера вечером с нами случилось. Значимее этого ничего не быть сможет. Благодарю, благодарю, благодарю ее виртуально, в распахнутое настежь в туман октябрьское окно. Всем отчетливо ставшим вдруг виртуальным сердцем своим разлетевшимся благодарю.

Вот и день отуманенного октября сегодня какой-то совершенно последний. Что может быть последнее 31 октября? Только совсем уж никудышный ноябрь, который ни на что не годится, лишь на махонькую, еле мерцающую жизнь-пустышку. Это даже трудно назвать жизнью – то, что происходит с нами в ноябре, в самой угрюмой и нелюдимой норе года.

Спасибо тебе, дальнее солнышко мое. Ты украсила, ты смягчила, ты развеяла мой всеместный ноябрь. Теперь-то уж он наверняка не наступит...

Ну, здравствуй, солнышко мое! Вот и я тоже приехал... И где-то даже приплыл...

Не напрасно сегодня с утра купил я много мятных коврижек – рука сама излишек понабрала, рука уже подспудно все про нас знала и позаботилась для двоих. Будем сейчас, солнышко мое прежнее, незакатное, пить неторопкий всегдашний наш чай с утренними коврижками, от которых дыханье свежо. Их на двоих как раз хватит, должно хватить непременно. Только чайник пойду вскипячу. Ты присаживайся пока где удобно. Как с дороги ты сильно устала! Под глазами круги... Милая-милая! Насколько ж ты мне родная... Вот нельзя же не спать всю-то ночь... Хоть бы пару часов, а вздремнуть надо было. Ты откуда вернулась в туманное утро мое? Из какого нашего года, из каких нерастратных наших потерь? Я забыл. Все забыл. Ты прости. Ах, да, точно, точно, как же так я запамятовал! – мы пьем чай сквозь тополиный июнь 1976 года, даже утро во многом такое же, погляди... тебя чаще всего зовут, наверно, Ирина... Вон смотри – накрапывает опять прошлый дождь, как похож на тебя он неуследимо! Он похож... А воробьи-то, воробьи какие прежние! Как и не умирали. И с чего они устроили такой переполох? С чего б им быть сегодня такими живыми?

Культура длинных осенних вечеров под оранжевым абажуром, средь русского захолустья...

Ушла.

Она нас покинула.

Еще в восьмидесятые годы те осенние вечера были живы.

Книги не казались печальными. Они не стали еще ушедшими. Они только приходить умели. Любили попить с нами смеющийся чай.

С человеком, который говорит «я глотаю книгу за книгой» или «я буквально проглотил этот роман», мне разговаривать не о чем. Это сплошь чуждый мне человек. С не проглотившим ни одной важной книги и то есть о чем больше переговорить. А особенно – крупно, очень крупно перемолчать.

Почему меня страшно раздражают все эти сокращения в детской прозе: чел вместо человека, комп взамен компьютера и т. д.?

Из-за презрения к полному человеку и многомерному вещному миру, по сути ведь – волшебным, непостижимым, намного большим, чем их названия. А тем более – чем их называющие.

Все состоит из неразмыкаемых вещей в себе. Они не определяются через внешнее. Их можно увидеть и разгадать только через нутряное, присущее им одним, как бы сидя маленьким человечком посреди заключенного в них бытия, в уединенном, закупоренном прочно там, сверхтаинственном мире. Да кто ж тебя так усадит? Кто сделает из тебя крохотного подглядывающего человечка? И как же извлечь тогда из вещей практически неизвлекаемое? Тупичок, тупичок... Поэтому всё не так и не о том. Гармония есть гармония, красота есть красота. И даже жена есть жена, которой, конечно, нет как нет.

До истинной сердцевины нам, похоже, никогда не добраться. И приходится говорить с постным унынием – гармония есть то-то и то-то, красота есть вот именно то, а не то, жена есть удачно придуманное устройство по совместному ведению домашнего хозяйства, а также по оптимальному переоборудованию непочиняемой во многом судьбы. Но все это, естественно, будет неправдой. Прямой поклеп на замечательные явления. В действительности, конечно, все далеко не так и иное. И гармония – другое, и красота – другое, а жена – просто особенно, просто разительно другое, что-то близкое к похищающему тебя умопрепровождению.

Вот говорят: зачем искать истину? Мы и так, без истины, все напишем, все проживем, она будет только мешать, под ногами толочься. Кому нужны сегодня сермяжные страдания и откровения? Вот и именно что – никому!

А зачем вы тогда здесь нужны, если с вами истины нет? Подите прочь. Не мешайте хотя бы вашу истину поискать, ведь что-то в вас все ж таки да есть, вероятно. Может, что-то ни с того, ни с сего и найдется. Неужто это опять будут сермяжное страдание, безобразная беда, слезы, дрызг, неуемные дикие крики? Да когда же это кончится, Господи?! Лучше уж дело иметь с существами по имени нигде, никогда, водить знакомство с другими простыми ничейностями. Они хотя бы при встрече здороваются и спрашивают абсолютно сердечно: ну как ты живешь? «Да вот живу, – стало быть, отвечаю. – Поживаю себе. На жизнь молитвами вашими жаловаться отказался».

Он говорит, что совершенно не тратится, пишет, как рука упадет на клавиши.

Все правильно, все замечательно.

Только отчего же прозе-то быть отдачливой? Как тут с законом сохранения энергии? С законом траты ее? Да черт же его знает! Но говорят: приличная проза, весьма недурственная. Может, искренне врут? Или истинно я заврался?

Равнодушный зевок времени, в котором много так кромешных зияний. В них невероятно много, целые пропасти пропадает всего, даже и не явившись, и не родившись, даже еще на том свете толком не успев побывать до ничейных рождений...

Та самая масса деятелей искусств, что с восторгом неописуемым, покорно и благодушно плывет потребительским руслом, засунув руль и ветрила куда-то глубоко не туда, – та же самая масса кричала во времена Брежнева наше стойкое, наше решительное «одобрям-с!». Пусть этот поток и был заполнен другими людьми, но масса, инертная масса все та же. Точно та же самая. Абсолютно та. До мерзавной отчетливости узнаваемая. Но не в лицо, а как-то примитивно иначе. Так как лиц там нет, не бывает. Лица их покинули их, не успев побывать людьми теми и никакими. Даже и напоследок ушедшие лица людей тех личинами не побаловали.

Мало кто по-настоящему свое мнение имеет. Только важно считают, как бы величественно раскидываясь мыслью, будто обладают на удивленье большим личным мнением, неповторимей-

шим из неповторимых. Иные, не в редкость, прямо и раздуваются от невозможно своего, драгоценного мнения, которому всякий мир мал, так ничтожен он для ума заключения.

Где бы поискать чего-нибудь с каким-нибудь исключительно собственным мнением, с чистомнением, так сказать? Да разве ж отыщешь. Неосилимое дело ты затеял, неподъемную оказию взвалил на себя... А вон столб напротив меня убежденчески явно стоит, уперся двояко, непоколебимый, в небо и землю. Сразу видно: чтобы переубедить, повозиться придется. У этого-то уж точно есть о чем задушевно мнить про себя, знать себе, как упрямо стоять по-собственному в прочем, массовом сплошь пространстве. На него другие столбы слабо влияют. Он прислушивается к ним краем лишь слуха, целиком поглощенный втверживанием в приватное противостоянье. Очень это убежденческий лично товарищ. Одобрям-с, господин столб? Вот и славненько.

Там нет впечатлений, там одни помехи. Там я закупорен, выброшен в море, отправлен в недальновидное плавание. Плыву бутылкой недоуменной в безвестном все направлении – бутылкой, которую я сам успел опустошить пораньше с утра. Что-то будет, где, как? На горизонте ни встречающего, ни провожающего. Ни былинки. Одна убыль торчит там одиноко и скучно. Иногда струит мне навстречу. Но это не бриз. Ты меня не обманешь, убыль, ни на какие дали веющие не обманешь, не проведешь... Бриз вот никогда мне не врал, честно дул все мимо меня да мимо, балуясь шевелением моих развесистых уш.

Ну почему, почему ты такой тьмутараканистый?

Почему? Почему?

Просто обзавидоваться можно.

Отчего ты не даешь мне чуток тьмутаракашкой побыть? Жалко тебе, что ли? Ведь это совсем-совсем немножко. И нисколечко даже не больно.

На обычный вопрос «что делаешь?» он отвечает «веду трезвый образ жизни».

Вот как достало человека! Спекся...

Крайне понемножку выпивал. Украдочкой от себя.

На следующий день тайное стало явным, во все лицо.

Прятаться теперь уже было неоткого, не имело смысла. Неразумным, гибельным выглядело теперь это занятием. Пришлось, вопреки себе, в охотку попить.

В жизни следует быть настороже только с двумя скользкими вещами – с водкой и собственной прозой. Это оторвы неуправляемые. Ведут всякий раз значительно непредсказумее меня самого. А я ведь тоже неплох, я ведь тоже субъект без ветрила. С одним рулем, да и то сломанным, а заодно и потерянным, к тому же и не моим, что существенно меняет все дело и все так называемое направление, которое становится не то напастью, не то призраком, то ли паническим бегством всех наших стремлений.

В выпивке есть две решительно хорошие вещи: выпивка и чего-то еще.

Выходит, ни одной.

Причем одна из них неразмыкаемая вещь в себе, а вторая – неопределенная вещь в себе.

Вот и попей.

Это у меня распространенный такой вид активного отдыха – когда лежишь при смерти, сраженный прямым попаданьем похмелья. Каждый раз так лежишь на дне воронки, сообщающейся легко с миром иным, – каждый божий раз, думая, что не может ведь дважды снаряд угодить в одну и ту же воронку. Но всякий раз он именно в нее и угождает, места живого на мне уже нету.

Это Бог так замечательно метко умеет стрелять? Или же это я так точно в себя попадаю?

У меня был один высокоградусный читатель.

Он дочитался, бедный. Он дочитался.

Свой роман недотянул прочесть до конца: местами длинно, местами плохо, а в целом – скучно. Спать пора. Он уснул.

Дай отпить, говорит, утроба ты ненасытная. Не тебе одному, говорит, остограммливаться, я тоже утробой быть невыносимо хочу, аж кишочки подрагивают. Дай, мужик, отглотну. Дай-дай-дай. Счас сгорю.

Я не дал ему устроить над собой акт самосожжения, и он солидно глотнул моего ста грамма, в дальнейшем не обратив на меня ни малейшего внимания. Деликатный, стервец, попался.

– Смотри – допьешься, – сказал я деятелю некоторых отдельных искусств, – и сделаешь не то открытие, какое хотел, а как раз обратное иль запредельное. Козленочком станешь.

Всенародно любимый деятель вульгарно набычился.

Но и я ведь не промах, я тоже умею стадо из себя строить.

Ну, порогатились. И это была битва первых крупнорогатых лиц стада. А не просто какая-нибудь бандитская бычатня. Интеллигентно мы пыряться умеем. Без одного рога отдельный деятель остался. Не беда, бывает и хуже. Недостающую кость головы ему жена с удовольствьем наставит. Она мастерица по внешности мужа и ее дальнейшему раздельному употреблению. Весь в дизайне ее искусник купается, сладко жмурится от внешности собственного удовольствия. Давай за ушками тебе почешу еще, дядя котик. Вот и чудненько, все довольны, все словили свои приличествующие себе радости.

Заведовал кафедрой психологии минералов. Между делом завидовал. Упорным трудом зависти и других тщательно побочных искусств стал завкафедрой психологии несбыточного товара. Прогресс был налицо. И на все остальное тоже. Батюшка-живот тут нисколь не подгадил. Также прогрессировать пустился и преуспел в этом вскоре. Стал глубокоуважаемым и заслуженным в пределах губернии пузом профессора. Выбился из простых, неприметных анатомических органов в люди. Так они и жили.

Рано, очень рано наш кандидат в науки начал быть самодовольным. Ничего еще не доказал, а так только, вокруг истин средь суматох потолокся. Ни одной истине прямо в глаза взглянуть не осмелился. Да и доказал бы – это ничего бы еще не значило; даже и скорее бы ничего не значило. Ведь отрицания обладают ровно такой же подтвердительной базой, как и доказательства. Даже за отрицаньями побольше, погуще толпится сторонников и приспешников – за ними хаос, энтропия и сама матушка Великая Неизвестность собственной персоной.

Так что лучше бы кандидату в науки для ощущения личного счастья сразу переметнуться на сторону отрицаний. Там можно и небритым ходить, в одних тапочках на голую ногу. И умное лицо зря делать не надо. Там мгновенно бы все стало ясно, там давно все понятно – с обратной стороны всякого смысла, методом от противного, очень внятного.

Трудопустые заводные пчелки. Заведенье их жизни убого, неприязненно и внечеловечно. Всё ищут, чем бы этак меленько изничтожить и отменить другого. Всякого, любого Другого. Всякую, любую жизнь, кроме разлюбимой ничтожной своей. За нее они перегрызут все певческие горла без разбору, без слез, без жизни и т. д.

Не повезло человеку – он труднопроходимый мерзавец. Беда откуда и не ждали. Ждали чего-то с другой стороны. Ан не оттуда пришел он, а прямиком из негодяя. Там, оказывается, его родина. Там его народ, с которым, как уж водится, он неразделим, заодно из него питаясь подходящими соками, фруктами, дальнейшим быльем и событьем.

Забронзовел, чисто засранец! Ну, туда, стало быть, ему и дорога... Как в бронзу, так и в остальное. Туда путь далеко, широко пролегает. Весь не исходить никогда. Есть где порезвиться и оторваться. Места хватит скуку развеять, время убить.

Что-то слишком быстро, однако, он ометаллел. И где только цапает эти пуды цветмета? Какие распространенные провода режет себе на переплавку? Надо вот теперь выставлять слежку по всем мыслимым и немыслимым расстояниям... Только этого мне и не хватало, как будто у меня других дел нету, как будто я в своих делах своими делами обкраден! Пусть бронзовеет без присмотра, без удержу, без слез, без жизни и т. д. Это исключительно его личное дело – железякой быть. Нам-то что: слышим звон, да не знаем, где он. И все дела. С нас взятки гладки.

Никто не имеет права быть самодовольным. Но коль уж на то пошло – я и самодовольным-то сумею быть поизощренней. Только помимо идиотичности той еще кое-что останется. Ну вот хотя бы эти, проклинающие меня за довольство собой, строки, которые, будет время, найдут повод отхлестать меня по щекам. А после вас-то останется что? Никакая собственность ваша вас не отхлещет, даже связываться с вами не будет, зачем ей это надо, она не привыкла разбрасываться по пустякам, важность свою туда-сюда понапрасну тратить. Хоть бы вы как-нибудь наследили, что ли, – все какой-то зримый интеллектуальный продукт, пусть и в виде пятен сомнительного, неустановленного происхождения.

Талант – единственная новость, которая всегда нова... Неслыханно дерзкий социальный протест поэта. За одну эту строку можно было тысячи раз усмирить его Колымой и всеми имеющимися в распоряжении гибелями. Не за то его гноили. Проморгали, как обычно. Поэтов всегда не за то гноят.

Я как-то даже болезненно люблю стихи Пастернака. Какая-то там ровно моя излишняя выкрученная точность мира. Сверхточность вдруг улыбнувшегося и зазевавшегося мира – он постоянно отстает от самого себя, он чувствует себя малость в пропаже.

Эти стихи читаешь – мурашки по спине начинают бегать, давно не бегавшие. Так все ужасно точно. Настрашишься Пастернаком, настращаешься – и жизнь кажется тогда пустячной и безобидной прогулкой, сладостной вечерней дорогой домой. В ней бед больших уже не бывает. Или они так устрашились и усмирились, что и не кажут личика бедного своего. Смертельно напуганы. Сами от себя даже спрятались.

Говорили, что великий поэт погиб на войне. Конечно, погиб, – в такой массе убитых трудно не потеряться. Но всех великих не убьешь, не хватит на это никакой существующей в мире могущественной силы. А значит, великий поэт все-таки где-то выжил. Только перестал писать. Смерть превысила невзначай его иную великость.

Незаметно и тихо, почти безвестно умер великий писатель. Никто не заметил, никто даже и ухом не повел. Но я слышал каким-то чудом, как он умирал, пусть и не был с ним знаком.

Я ничем не умел ему помочь сквозь обильные расстояния, только послал ему на выручку свою собственную смерть, находящуюся всегда в состоянии повышенной готовности и тревожной исправности. Но что она могла, эта до блеска отдраенная неумеха, эта как на парад приготовленная странная штучка? Она и сама беспомощна, хоть и прикидывается спасительной и всемогущей. Она нуждается в ежедневном утешении, в беспрестанном ласковом с ней обращении. Ее и саму-то надо спасать. Иначе вообще останешься без ничего. Штаны не считаются.

«Тот, кто хочет разгадать такого *инородного* человека, как Беккет, должен почувствовать вес выражения «оставаться в стороне», этого немого девиза каждой беккетовской минуты, – всего таящегося за ним одиночества, всей подспудной одержимости, самой сути этой обособленной жизни, сосредоточенной на труде, безжалостном и бесконечном. От адепта, ищущего просветле-

ния, в буддизме требуется упорство «мыши, грызущей гроб». Любой писатель, достойный своего имени, живет таким напряжением. Он – из породы разрушителей, которые *приумножают* существование, наращивают его путем подрыва».

«(...) Многие его страницы казались мне монологом *после* космической катастрофы. Ощущение, будто вступаешь в загробный мир, в пределы, которые могли бы привидеться дьяволу, свободному уже от всего, даже от своего проклятия! Эти существа, не знающие, живы они или нет, раздавленные бесконечной усталостью *не от этого мира* (если выражаться языком, чуждым Беккету), созданы воображением человека, который, как догадываешься, очень раним и из застенчивости носит маску неуязвимого (...)».

«С первой нашей встречи я понял, что он – *у самого края*, что, скорей всего, он оттуда и шел: от невозможного, немыслимого, безнадежного. Поразительно, что при этом он *не двигался с места* и, разом упершись в стену, со всегдашним присутствием духа продолжал стоять на своем: предел как *отправная точка*, конец как прибытие! Отсюда это чувство, что его скорченный, агонизирующий мир может длиться до бесконечности, тогда как наш в любую минуту готов исчезнуть». Э. М. Чоран, «ИЛ», №1, 2000 г.

А ведь достаточно лишь чуть приподнять литературную планку – и многих нынешних маститых нигде не окажется. Только вот кому ее приподнять? Неужто уж некому? Неужели никого не осталось и все заранее поупадывали в *нигде не окажется*? Ну попросим давайте хотя бы этого Некого, он все равно что-нибудь сделает. Как он там, ничего пишет?

Сейчас потребен средний уровень письма. Это практически всех устраивает. И всегда почти всех устраивал средне блестящий уровень. Только среднее было различно. Нынешняя золотая середина – это хуже уже некуда.

Почему в массе своей скучна проза младопишущих, младобушующих? В ней не хватает того емкого измерения, которое дается только возрастом, возрастными годами. Им недостает ощущения смерти, еще к ним не пришедшей, до них не дошедшей.

Они отсутствующи для меня на одно это измерение. И та пустота очень существенна, очень чувствительна. Ее безболезненно не минуешь.

Я подивился тому, что Элиот назвал героев Гомера (а стало быть, косвенно и его самого) безответственными.

Какие книги, кроме гомеровских, были так долго ответственны за этот мир?

Меня всегда смущали в театре поклоны актеров после спектакля. Неужели никак наоборот нельзя? Зал дружно, могущественно встает, берется за длинные цепкие руки и долго, с оттяжечкой кланяется актерам, уже рассевшимся на сцене в предвкушении продолжившегося бы со стороны зрителей представления. Пока артистам до тошноты этот обратный спектакль не надоест. Кто-то тут сильно не поработал над наличием справедливости и чтобы ситуация не выглядела сумасшедшей.

А как было б здорово, какое великолепное действо! Дело заполночь, а зрители все кланяются, часть из них – как лошади, когда отгоняют слепней. Некоторые повыкручивали уже себе ретивые верткие шеи. Некоторые отмотали буйные свои головы. Не верю! – изредка кричит им сыто и капризно какой-нибудь ухарь развязный со сцены, пошевеливая для чего-то пальцем в носу. – Не верю! Пока не отточим поклон до блистания, никто не расходится! Репетируем до утра.

Платонов никому не дает впорх читать. До сих пор. Поэтому его многие легкие и стремительные любители русской словесности обожать не привыкли.

Платонов не шибко-то дает им любить себя. Выставляет это дело не безнаказанным. Когда это прекратится, Андрей Платонович? Времена на дворе другие, вы бы с ними хоть сообразовы-

вались. До каких пор будете повреживать нам с того света? Учтите, там своя общественность есть, свой социализм имеется. Добром ваши медленности не закончатся. Вы хоть совесть там слегка поимейте. А еще лучший колдун двадцатого века... Не пристало же запредельно вам вредительством заниматься.

Один вальяжный при литературе человек, ведущий по ящику одну чрезвычайно культурную вальяжно-крутую программу, между делом сказал: все наездились уже по Европе.

Немножко ошибается – я ничуть еще не наездился. И Россия вся еще не наездилась, рассосавшись по медвежьим углам и неправомерно ими увлекшись.

Вообще никуда даже близко не выезжал, к поездкам и не притрагивался. Даже с места пока не стронулся, в западном направлении не пошатнуло меня ничуть, не говоря о прибытиях в места пребывания северо-атлантического альянса. Не то с выездами, не то с деньгами у меня что-то явно не то. Выезды неисправны, деньги несправны, барахлят и те, и другие вроде бы. Одним словом, пошаливают. Нездоровым причем образом. Как бы повредились в себе. Эти погуливающие деньги следует поместить в сумасшедший дом, они нуждаются в срочном лечении. Психозы добром для них не пройдут. Но пасаран! Поздравляем всех вас с далеко-далеко последующим. С неприходящим – особенно.

Вчера потерял я последний достойный карман.

Осталось еще себя, дурака растратного, где-нибудь выронить. Ну, за этим у меня не задержится, терять себя мы ловко умеем и благостно.

Так от дурака и избавимся втихаря, будто бы ничего такого и не бывало у нас отродясь. Так между делом обрящем, с пользою личной от личных потерь.

Денис Евстигнеев, вспоминая об отце, удивляется: как отец, родом «из Нижнего Новгорода, нет, даже из Сормова, из какой-то дыры», смог совершенно естественно сыграть аристократов, изящных людей ушедшей эпохи.

Да потому и смог, что не видел в несчастном Сормове «какую-то дыру». Просто для Евгения Евстигнеева никаких дыр, по всей видимости, нигде в жизни не было. Сплошь жизнь одна была. Куда ни плюнь.

Это обычно с дырами ничего не умеют.

Для многих у нас, к их несчастьям, вся Россия – «какая-то дыра». А прорехи-то ведь с головы начало берут. И в голове нередко заканчиваются.

Американский президент Барак Обама почему-то неумолимо похож на нашего Е. Петросяна. Именно так наши народы похожи друг на друга? Здесь пролегает зыбкая граница узнавания нашей общности? Здесь крайности сходятся, до последующего их неразличения? О, как этого бы не хотелось! А хотеть придется, ох, придется... Поневоле тут захочешь, через себя и помимо себя!

Бывают ли дальние, но тайные сближенья, из странных? Искать ли здесь лишь заблудившуюся с перепугу простую случайность? Масса, прямо скажем, неуместных вопросов с одним этим Бараком. Кстати, вот и имечко... Наше же все, наше! Сияюще свой, получается, человек! Нам от него никуда уж не деться – без малого родственники. Ну а шабры – совершенно же точно. По бараку, наверное, по тому самому скорее всего бараку.

Власть на планете у мировых бандитов. Руины Южной Осетии окончательно все расставили по своим местам. Тех – размером с планету – бандитов можно остановить только кровью – своей или их. Но обязательно кровью, насухо они уже не понимают, никогда не поймут. Без крови бескрайней в мире теперь не обойтись. Эта редкостно дорогая жидкость резко упала в цене, с некоторых пор подражая тихой с виду, обыденной, косоглазой немного нефти.

Просто мурлище какое-то, всем мурлам мурло... Мурло мурл всесветных и всеночных! Вот бывают ведь до отвращенья красивыми и негодяи, мерзостные буквально очаровашки. Хоть бы ради негодяйского своего приличия так сразу не отпугивал, так ярко и животрепещуще не отвращал. Но куда там! – он, пузатенький океан, силой нетерпения, маразмом диким полон кипуче.

Это был шибко больной на одну голову человек. На остальные головы был он изумительно хитер и расчетлив.

Это был чистый Змей Горыныч, а не человек, вот что. Змей Горыныч с неувядаемыми, с беспропадными просто башками. И как быть мне пред ним, скажите? Я теряю ведь последнюю свою голову...

...смертоносный служитель добра... (обрывок телевизионной фразы)

Унылый переносчик тоски. Сам ею никогда не болеет, а вокруг все заражает, даже вещи, предметы, бедняжку-округу и город мой весь насквозь поражает, навылет ранит. Как я ненавижу бедственную его тоску, которая вторгается в меня массированными нашествиями, этими бездонными марш-бросками! Сегодня он вызвал во мне целых три эпидемии летального уныния, два крупных небытия и одну вселенскую катастрофу, надеюсь, к вечеру поправимую.

Говорила со злым мерцаньем в глазах: ты меня специально разозлишь, а потом пишешь всякую дрянь...

Слишком большая для тебя честь – твою дрянь писать. Я всегда писал дрянь другую. На чужую дрянь никогда не зарился. Хотя бы в этом-то не уличить меня, на том не поймать, не оставить вину мне на память, для пропитанья.

Победителей не судят. Исхожу из этого. Когда-нибудь, лет этак через тридцать, наверняка одержу крупнейшую в истории местностей победу где-нибудь в битве при Неверкино. Под эту победу голову и возношу, задирая нос, под нее работаю, живу, под нее бурно надеюсь. Этой победой из дали лет защищен. Ею я хорохорюсь и беззастенчиво хвастаюсь вечера напролет, досрочно выйдя на пенсию и на лавочку по ее неотменимым заслугам.

Устал я быть русским евреем, что-то мне надоело, вусмерть обрыдло. Увольте меня с этой неблагодарной должности как по собственному желанию, так и против собственного моего желанья.

Все больше вижу в своей судьбе судьбу рассеянья и изгнанья. Доколе? Хочу иметь в себе наконец-то твердое, непоколебимое и тихое на всем протяжении свое государство.

Уволюсь я заодно и из русских – их слишком много было убито, мне надоело быть мертвым. Я все-таки, наверно, из русских уволюсь... Вот только трудовую книжку семи поколений у предков выцыганить как? А без трудовой этой длинной и призрачной книжки я, похоже, никто. И опять вот рассеянье и изгнанье, и опять я обнаруживаю себя неуклонно в русских евреях. Никуда, выходит, не денешься. Знать, судьба, подружка моя неисправимая... Ну, здравствуй, родная! Давно ли не виделись? Как без меня побродила? Небось по мне малость скучала? Ну-ну, не бросайся так, вижу-вижу...

Но все труднее быть русским евреем. Попробовать, что ли, еще побыть русским татарином или русским чукчей? А впоследствии, видимо, придется вообще отказаться от пресловутой национальности и стать вольным стрелком, даже, может быть, негром. А то без нацпринадлежности как-то неприлично, как мужику в женской бане, а русских уже почти отменили. В русских теперь даже и голышом не походишь – скажут, не в том одеяньи ты вышел потоптаться в сей мир, хватит тут нам сверкать голизной непотребной!

Талант нетрудно узнать: у него очень яркое и запоминающееся лицо величиной в грустные наши пространства, так бездарно унылые.

Все чаще спрашивают: а ты русский?.. Азиатчина под старость поперла из меня с резкой силой угрюмою.

И куда-й-то ты вздумала убегать от меня, милая? Далеко все равно не убежишь, мы даже вслепую быстро друг дружку поймаем, без коней всяких, арканов, без лучников и арапников. Это все будет уж напрасное.

Не бойся ты меня, я тебе всесторонне еще пригожусь. Вместе встретим праздник второго пришествия Азии, то-то родственнице порадуешься, то-то власть с ней по-свойски опять накалякаешься! Бишбармак любишь? Вот и ладушки. Будь как дома, садись. Перед степью поесть нужно плотно. Когда-то еще до еды дорвемся, аппетитом кочевным опомнимся... Дороги тут не то что пустые, а бездорожные, начисто выветренные. Дорог в моем краю не бывает большей частью вообще. Бог прибрал их к себе, чтобы попусту ими люди не баловались. А по небесным дорогам намного дальше ускачешь. Проверено.

Страннолюбив (библейское)

Я человек межконфессиональный, уж извините, так помимо меня получилось, я тут во многом не виноват. Видимо, переработка моих предыдущих поколений, навязанная мне из веков их генетическая идеология. Предки, конечно, ничуть не подгадили, каждый нос свой в меня из любопытства сунул, не нос стал у меня, а одно название из их противоречивых желаний и указаний, лучше бы вообще носа не было никакого. Ну как же без них-то бы я обошелся, деточка крайняя, неразумная перед пропастью вслед за мной растянувшихся поколений, чай, упасть может, ушибется больно о прошлое, повредится умом ненароком, сударик! Я измучан их сторожбой, весь издерган и расхищен мелочной их опекой. Бестолковое это занятие – так меня сторожить, стоять каждый миг над душою. Все равно ускользну: исчезаю.

Н-да... попробуй тут вот исчезни... Шагу простого, дурацкого без всякого предка не ступишь! То, понимаешь, татарин из десятого колена, безудержным сладострастием одержим, шевелит кривым мизинцем твоей в целом фино-угорской и дикой конечности, то поляк седьмого колена, пся крёв, выпятит не туда твое пузо – и рад-радешенек чуть не до смерти, а твои кишочки уж пагубой сводит, то русские братцы из всех колен вперемешку, точно на пожар всеобщей судьбы, вдруг начнут валить целой оравой сразу не туда, куда ты однопоколенчески брел, личный насморк лелея и выпуская развязно в платочек. Приходится поворачивать и идти в обратную с голосами других поколений шумливую и бестолковую сторону, пожар есть пожар, куда денешься? Не то и сам в три счета сгоришь века четыре тому назад. Да и человек я крайне законопослушный и глубоко воспитанный засевшими во мне поколениями... вот расселись-то, вот расселись... чайку с вареньицем не желаете ли?

Каждой кровки прошлой пугливо слушаюсь, трепещу. Всё беды в себе степной боюсь, либо засухи, бунта бессмысленного и беспощадного. Даже и не знаю, с какой стороны в себе ждать какого-нибудь нашествия иль тотальной бескормицы. А то, что они придут, – это, конечно уж, обязательно. Такого в истории не бывало – чтобы не приходили, они никогда не обманывали, не те это вральщики. Да здравствует 1 Мая – день международной солидарности трудящихся! Приплюсую сюда для восторгов и 8 марта, исключительно за его неискоренимую и бессмертную международность. И ты, значит, да здравствуй, 8 марта. Не обижайся на меня, если чего не так. Не по злобЕ я.

«Происхождение значит немало, спору нет. Но решающий шаг навстречу себе мы делаем, когда остаемся без каких бы то ни было корней, так что подробностей у нас в биографии не больше, чем у Господа Бога...» Э. М. Чоран, «ИЛ», №1, 2000 г.

Да, действительно, эта информация соответствует действительности: я самый ненастоящий писатель! Все призраком да призраком служить привык. Только призраком и умею хорошо подрабатывать. Самый что ни на есть ненастоящий из настоящих. Ну, потрогайте, потрогайте, если, конечно, сможете осязнуть и увидеть внятно меня. Ладно, так уж и быть, сейчас включу внутреннюю свою подсветку на полную мощность, буду как здание, освещенное ночью для траты отечественного электричества. Вот я и вышагнул из собственного призрачка, левой ногой, правда, запутавшись, как всегда, в приставучей его оболочке – типа нижнего то белья. Ну как? А вы чего же хотели – 30-летнего бугая в диких перьях одежд, с мускулами – каждый по булыжнику пролетариата? Вы сквозяще ошиблись. Призрачки очень изнашивают. Это, по сути, неприподъемная работа – быть просто призраком, чернорабочим прозрачности. Изо дня в день, без отпуска, без перерывов на обеды и в пресловутый все-таки туалет, без положенных на сон законных восьми часов. Всё отсутствие, сплошное отсутствие. Это каждому надоесть может. Это каждого может сломить. Ну, прощайте, однако. Что-то слишком я присутствовался с вами, до бессовестности сделался явен. Вынужден зашагивать в незримость обратно, ждут дела и сквозные свершенья. До встречи где-то в неведомом, невероятном и очень-очень пропащем, где-то там, где обычного так необычно всё не бывает и не бывает. Жду в отсутствующие вас гости. Мы попьем бесчаю, внечаю. В небывалый сходим пристанционный буфет – вокзал давным-давно то ли отбыл куда-то, то ли тихо отправлен на пенсию.

«Если бы знать, кто говорит изнутри него – этого, вон того или еще какого-нибудь человека! О, сколько мертвецов охотятся за живыми голосами, и как они друг друга толкают! Борьба между ними гораздо жестче, чем у нас, живых, ведь и повод для раздора куда серьезнее; зато побежденных никогда не убивают, а только изгоняют. И даже если такая унизительная драка – единственное, на что они способны, я благословляю их, я благословляю их за эти последние проявления жизни; пусть хватают, трясут и терзают меня – только пусть делают хоть что-нибудь. Мертвецы, возлюбленные мертвецы, как бы мне хотелось вас узнать, одарить и усладить прекрасными полновесными часами моей быстротечной жизни!»

«Телесный контакт, по которому вечно тоскуют призраки, оборачивается для них жесточайшим разочарованием. Каждый раз люди и призраки испытывают при встрече безграничный ужас и отвращение друг к другу; и не без основания».

«Одиночество – это попытка человека держаться одинаково далеко ото всех живых точек вселенной, поскольку все они готовы его поглотить».

«Собственная память его ненавидит; она дает о себе знать неизменно тогда, когда следовало бы держать язык за зубами».

«Тот, кто молится успеху, во всех отношениях человек конченый: добившись успеха, он отождествляет себя с ним; а не добившись, изводит себя наифальшивейшей тоской».

«У мертвых дело спешное: норовят поскорее убраться из взрывоопасной зоны».

Элиас Канетти, «Заметки для Мари-Луизы», «ИЛ», №4, 2007 г.

Я чрезмерно щеголевато щелкнул дверцей личного своего «Форда» (или как он там еще назывался?), припарковав его в пику милиции в самом неположенном из всех неположенных месте. Знай, блинство, наших! И где теперь мой призрачный «Форд»? И где теперь якобы не призрачный я? Так-то вот быть вопреки милиции с личным колесным имуществом, пусть и выдуманным... Я сознательно, в трезвом уме наговорил на себя этот сволочной «Форд», так как привык наговаривать на себя много лишнего – во избежание наихудшего.

Но одна мысль запала намертво, крепче всего милицейского: я точно стану когда-нибудь внедорожником! Это утешало меня во всех состояниях, даже в газообразном. В нем-то как раз казалось лучшей надеждой.

В том дворе даже кажется, будто эти яблони не я посадил. Так все стало нелепым и отстраненным.

И отказавшиеся от меня яблони выросли вопреки мне на 25 лет и смотрят не менее отчужденно, чем прочие родные взгляды, укорененные в давнем воздухе.

Не спиливайте, пожалуйста, это старое, выжившее из ума дерево. Давайте выгородим его на пенсию.

Вы, деревья, теперь размножайтесь как знаете. Я давно вам не судья.

Отчего начал блекнуть снова Саратов?
Все люди здесь только прохожие.
Прохожестью цепкой одной на меня похожие.

Вдруг неотложно захотелось в Занзибар. Прямо припекает поехать. К чему бы этот фортель выбросился? Не повредился ли я в путешествиях, в голове? Но вот хочу и хочу вне терпения в Занзибар. Тянет. Не знаю, как и уклониться от этой поездки, какой взять самоотвод. Желание мое разрастается в неумолимость и неотвратимость. Чувствую, путь мой уже четко лежит туда, пусть и не ведаю, отчего там мой путь пролегает. Вот и приехал. Здравствуйте, негры. А что дальше? Ну, почем у вас, скажем, пшено?.. И селедка! Про картошку уж и не спрашиваю!

Во, уже хорошо. Для начала неплохо съездил. Ноль – ноль в мою пользу.

Но умудрился сам себя перемудрить. Потом болел. Вскрывали.

Никаких поломок не обнаружили. Все органы были сплошь бесхитростные. Глядели, наивные, невинно, дескать, мы тут ни при чем. Умильные, голубчики. Хоть Новый год в их кругу встречай. Хирурги многие с непривычки плакали, сестер от чувств выносили. Вот до чего доводит окольными путями многая мудрость.

Мурр, муррр.

Не пугайтесь, это я к вам лащусь. Это я вам дивным своим хвостом вильнул. А вы и не заметили порхов моей ласки?

Ну, ничего. Сейчас все равно заметите, прилащиваюсь бурней, на четвертой скорости нежности.

Муррр, мурррр.

Каков мой льнущий к вам беззастенчиво хвост, а? Чудо красоты и загляденье, не правда ли? Редко у кого такие пушистые бывают, это почти промысловый хвост... Ну ладно. Брысь так брысь. От меня не убудет. Брысну. И заодно уж порскну (чтоб эстетичнее был сам момент отступленья) – тратить так тратить блаженную нежность глаголов!

Шикую сегодня во все сказуемые. Все равно тюрьма мне давно не светит. А до самого себя так и так не доворуешься, что-то вечно остается в тебе неукраденное, хоть плачь.

Нет такого вора, который не был бы пойман. Но для начала нужно отловить уворованного уже, как обычно, мимоходом поимщика. Заколдованный круг. В этом разврат российской беды, а не в том, что воруют. К украденному мы привыкли. Это даже где-то греет.

В воровстве тоже должна быть своя прямодушная логика. Лучше всего – железная. С ломчиком, с фомкою. Вот какая крепкая должна быть эта самая логика, хотя она и начинает выступать в запредельных своих и малоузнаваемых формах... и фомочках. Тут все силлогизмы меняют родимый облик – со своим лицом в эту уголовщину не сунешься, мгновенно засветишься. Здесь надо быть своим идиотом.

Этой зимой куда-то подевались все бомжи в студгородке. Жалко. В них было что-то все равно активно хорошее. Где теперь их страна? Я хотел бы ее навестить. Побыть там не гостем, но коренным населением. Узаконенным и принятым на всем протяжении бродячей его территории.

Я потерял невинность на острове Святом, в Мещере, предварительно начитавшись чудным, но, видимо, пагубным в чем-то ином Паустовским.

Женщину звали Саша, нас чуть не сгрызли комары, но мою невинность мы вопреки всему потерять все-таки умудрились. У Сашеньки ее не было, как-то на тот момент не нашлось, терять ей особо нечего было, и мы на радостях, что хоть что-то у нас есть, потеряли одну мою, роскошную и молодую. Так и посеяли ее где-то под кусточками на острове Святом, средь пространных, многодневных озер, которые мы одолевали поначалу невинным походом на лодках, сплоченною групповухой.

Думаю (и втайне надеюсь), из моей невинности произросли на о. Святом какие-нибудь диковинные плоды. Попусту ведь ничего не бывает. Зачем-то ведь я ее терял. Я все про оброненную в спешке невинность толкую.

Но что за плоды это могут быть? Узнаваемы ли они в земное лицо растений? Иль стали кривыми гримасами кустистой той местности? Ох, съездить бы, посмотреть, что-то последнее время душа у меня не на месте. Только страшно вот встретить свою невинность лицом к лицу... Да и узнаю ли ее, в лик потерянный угадаю ль? Вдруг возглянет на меня что-то страшное... А у меня ведь и страху-то много не осталось. Вдруг придется не испугаться?

Я устаю только от мелких предательств – разом, на годы сомнений, на годы провалов вперед. Никакая иная усталость меня уже не берет; отвыкла от меня, по всей видимости. Отвернулась, противная и недалекая.

От крупных подлостей только чешусь крупной хваткою. Денечка три с пылкой страстью почесотничаю, с удовольствьем, горящим в глазах, и все, как рукой снимает. Вот неплохо иметь хорошую физиологию и ко всему приспособленный организм катастроф, по временам сменяемый катастрофическим.

Идеально, до невозможности крепко средние писатели и примкнувший к ним Пелевин, массовик-затейник высшей категории, ударник капиталистического труда. Так и чешется им чем-нибудь помочь. Да разве поможешь... Пред нами явление непомогаемое. Лучше уж вообще не связываться, а то замараешься средним. Кому ж нынче обывателем быть охота? Одному только бедному среднему классу. А меня в этом году, благодарение Богу, перевели, пусть со скрипом, но в следующий. На этот раз хоть на второй бессрочный год не оставили. И на том огромное, огромное вам спасибо, спасибо. Век не забуду. Второй – буду приходить потихоньку в себя. Там между делом и встретимся, по пунктам прозрачным дальнейшее обговорим.

Тот писатель хорош тем, что он на удивление плох. Это все в нем объясняет и многое ему заранее, еще до читального прикосновенья к нему, прощает: он ведает, что творит до скуки скуловращенья. В этом неотменимая его значительность писателя. В этом его донельзя точно отловленное призвание. Задрав штаны, бежать за модой не каждый сможет, мыслители грузноваты обычно и медленны, как тараканы на кухонном водопое; к тому же бегут всегда, как придурошные, не в ту сторону да и вообще незнамо куда. Задрав штаны – тут нужна почти мошенническая ловкость ног. Да и руки не должны сплоховать, им пристало быть провористыми, ловким фокусом сплошь повитыми. Голова также должна четко позиционироваться и всем видом своим ясно отвечать на вопрос: с кем она, невольная деятельница и подельница культуры, удалая ты бренд-башка? Царство ему небесное. Царство ему небесное. Да где ж его взять-то? Такие вещи на базарах что-то не водятся, на складах изумительных не валяются. Тем не менее, похороны состоятся, это неотменимо. Ведь мы же люди. По крайней мере, вынуждены позиционировать себя так. Никуда не денешься. Позади так и так ничего нет, что хоть сколько-нибудь было б.

В России до умопомрачения много различных литератур. Английская, франкоговорящая, тевтонского броненосного пошиба, южноафриканская и кочевых народов Сахары, литература индейских племен, на утраченных языках письменности, также из «Нашего современника» твердокаменная и не сшибаемая с ног литература, проза рублевских шоссе, проза пьяных дорог и так далее. И все до тихого ужаса русская. Вот где странность-то и непонятности. Только собственно русской как-то маловато и скудноватенько. Где тот крокодил, что ее проглотил? Даже уши пообрывать стало некому! В этом главная и беда. Ну а русская проза что? – русская проза есть только величественное ничто, все дело в ушах и в сборе их для богатого урожая. Правда, с органами слуха уродило нынче плохо. Звуки не те лились. И не вовремя. Целый месяц к тому же была песен добрых и дивных свирепая засуха.

Одиночество собирает душу. И потихоньку куда-то все складывает. Перепрятывает? Потом в одиночку ни за что не найдешь. Приходится на весь мир шум поднимать: где моя душа? куда вы ее подевали, лиходеи и растеряхи?! верните же мне, наконец, мою бессмертную душу! когда кончатся эти ваши злые утайки? Может, тогда что-то да и найдется. Хотя вряд ли уже. Очень сомнительно. Душа, наверное, окончательно разбежится от наглядных площадных испугов и от сообщных форм самоневыражения.

Этот писатель – одна сплошная неудача. Прямо места живехонького на нем нет, синяк на синяке и синяком погоняет. Слишком много в текстах убивается. И зачем так себя не бережет? Уже сине-лиловый весь от битых мест по всему телу и рубцом суровым, шершавым пошел. Если, конечно, это не татуировки. Они сразу меняют все дело и сразу ставят все на свои места, на сомненья тогда никаких площадей самых скромных не остается. Хотя уголовный писатель – это звучит гордо и здорово. Шибко звучит. Гораздо лучше обыкновенного писателишки гремит-погромыхивает. Того и не сразу заметишь, не вдруг. Муха – не муха, но и не человечко. Сидит и сидит он себе глубоко в теснине темной его пленившего зада. И, по всей видимости, ему хорошо, лучше не надо. Над ним, видите ли, не капает. Иначе отчего ж он не ропщет? Ну ничего, он у нас как миленький поропщет еще и взревет! Мы все равно, обязательно до него доберемся.

И чего это ты уже с утра гламуристый такой? Мог бы и до вечера дотерпеть. Что, серьезно приспичило?

Глянцевые журналы – кормежка для ничего никогда путного не едавших, для отродясь не бывавших.

Была их сила, теперь будет наша сила. Не все козе баян. Фиг и с нами будет. Уж он-то нас не покинет, всенепременно. Он не из тех, кто отрекается при первой удобной возможности, ибо с убежденьями, принципиален и не обучен повадкам гламура.

«Та знает толк в прелестных призраках, что мы называем картинами». (художник М. Ларионов о своей жене Н. Гончаровой)

Юдашкин наверняка тоже будет хорошим писателем, Минаева точно побьет творческим личным рекордом. Все равно скоро запишет! По лицу видно же – зреет в Юдашкине великолепная, отчасти даже величественная книга, а по глазам заметно – созрел. Ох, созрел, творюка. Явно она будет сентиментально-пошивочного направления, с оттенком хоррора, плавно перетекающего в миддл-теченья распевные. Явно. Ну и тайно тем же самым она будет, точь-в-точь. Лежалого товара не держим.

Все зреют активно, процесс броженья пошел, что-то будет? ох, что-то и будет! И Киркоров суматошно кинулся в зрелость (перепутал, видать, направленья)! И Распутина к мудрости со скри-

пом пошла на поклон (ой, простите, а вас-то мы и не ждали)! И футболист Кержаков, легко отпасовывающий читателю крученые-верченые фразы! И Глюкоза, батюшки мои светы, расстаралась вовсю! И Жасмин на духовных сносях, того и гляди разродится и строкой умладненной запищит в ближний свет! И Бэ. Моисеев! Туда же! (Этот, правда, уже давно настрочил, опоздал ты в возгрущенный лик сей вперяться, проморгал детородное чудномгновенье.) По всем, по всем видно – вот-вот метнется из них хорошенькая книжонка. Только и успевай следи, поглощай в полном объеме процесс. Некогда даже странички собственной призрачной книги навалять-сбацать.

Со всех сторон слышатся душераздирающие крики книгородных потуг, будто бой идет не на жизнь, а на смерть. В шуме всесветном давно тишину потопили; умолкла, бесценная, захлебнулась. И зачем, скажите на милость, этот ни в чем плохом доселе не замеченный мир превратили в один вопиющий книжный роддом, в лепечущую домладенчески дико одну говорильню? Лучше бы смертельно тихо было, что ли. Лучше бы и не было ничего. Лучше бы вы сюда, ясноокие, не приходили.

Высшим, неподражаемым мастерством в нем было утонченное лизание зада. Никто и не замечал, что это он зад лижет, все собой были заняты. Особенно те, с кем проводились изощренным образом эти высокохудожественные, стилистически точно выверенные процедуры. Других мастеровитостей за ним что-то не водилось или же они не любили оказывать себя, дико стеснялись. Все целиком поглощалось одной, но пламенною страстью. Это было даже похоже временами на крупный и самобытный в нем талант. А может, призвание вперемешку с талантом, вкрапленные во что-то другое, в неразличимые уже сущности. Понять немыслимо сложно, и не всякий за это брался. Да и зачем? Платить-то он и без объяснений заставит, отвертеться от него невозможно. Любая услуга нынче дорожает в цене, а он ведь лизал, продолговато трудился. Это многого стоит, особенно когда чистейшей воды эксклюзив.

Все-таки, несмотря на нынешний его ярый и верткий либерализм, который исповедует с рвением звероподобным, прежний номенклатурный дядя, труженичек обкома так и полез из него, не удержался – выпер, халява, погреться на солнышке. Брызнул прежней кастовой ненавистью к диссиденту, хваточку зевноводную... земноводную то есть... свою показал. Былых чувств не удалось обогнуть, громоздко они мешали. Покойные-то чувства и не дали пространно соврать, кем он был и кем остался, – это оказалось, вне всякой странности, одно и то же. Да кто бы и сомневался? – крокодила трудно было в нем не узнать, за своего считали одни слепые.

Прямые мерзавцы соцреализма. И завуалированные мерзавцы соцреализма. Глубоко опосредованные. Они рядом куда-то развивались, запараллеленные и оперпендикуляренные. Первых хорошо разоблачили, наглядно выставили за ушко да на солнышко. Вторые пошли дальше в люди и нынче в люди крепко уже вышли. Паразиты на литературе еще почище первых, немного честных и немного глуповатых. Поскрытнее надо было быть, поизвилистей! Эх, дуроломы вы, дуроломы несчастные, даже вас немножечко жаль отчего-то. Плачу по вам ночами, скучаю без вас и крупно – уже лошадиным дыханьем – вздыхаю. Целая ведь эпоха вы. А как прикажете жить – и быть в то же самое время без всякой эпохи?

Марк Захаров сказал: полгода понадобилось, чтобы полюбить пришедшего в труппу молодого актера с серьгой в ухе.

Можно только поражаться металлическому терпению Марка Анатольевича.

Есть писатели, которых обязательно следует ссылать для китайского перевоспитания в оглушенную российской действительностью деревню, дабы они немного пришли в себя и вместо книг почитали пейзажи или что-то другое, натурально помелькивающее в глазах. И чтобы хоть отчасти вернулось к ним чувство стойкой реальности. Хоть отчасти. На четверть хотя бы, в сравнении с

призрачностью. Рекомендую вполне неплохое для разных воспомоществующих целей Неверкино с его живописными видами и пропастью убийственно оригинальных сюжетов для неповторимого, неописуемого, для не реализованных еще никакими остальными писателями совершенств. Обязуюсь меж прочих строк за время отсутствия их побыть за них плодоносящим во всех отношениях, брызжущим соками из всех моих мыслимых сил писакой. Могу также убиваться в поте лица своего культурологом, футурологом, ликвидатором крупных аварий. А вот с политтехнологом у меня ожидаются большие, неразрешимые и непредвиденные, похоже, проблемы. Здесь меня поджидает просто прямая беда. Политтехнолог – это выше всяких моих сил, дальше всех земных разумных призваний. Это похоже издали сразу и целиком на вселенскую катастрофу.

Муха меня заела, не дает даже примитивную прозу писать. Ничего порядочного из одних отшугиваний ее мне не сделать.

Вот он, ваш хваленый август... Один от него разврат стороннего поедания. А мне опять ни с чем оставайся. Одним лишь искусанным да мушино потоптанным. Мушиноподобным.

Часто, мучительно часто заблокирован его телефон. Видно, этот человек не отдать, а получить хочет больше. Явной становится манера его уклончивой и посторонней повадки.

Но и одиночество тоже видно. Так и сочится, слезится оно во «временно недоступен» и «временно недоступен».

Со временем все более трудносказуем. Все более и опаснее предсказуем. Совсем скоро все про него можно будет сказать, до нуля, до последнего, распростого нуля.

Я так и знал – будет именно эта фраза. Она и была. Как раз про меня. То есть точь-в-точь в меня не попала. Вот ведь какая беда... Все фразы мимо меня пролетать стали, мною заметно пренебрегают. Хотя и выражают целиком сущность мою, только мою сущность и облекают. В чем причина отказа их от меня? Неужели я резко себя так теряю? Даже фразам в меня угодить некуда...

Я что-то начал ничего не понимать.

К чему бы это начало? Не заведет ли оно меня пуще прежнего?

«Любая книга, которая стремится быть хорошей, стремится стать стихотворением». Марк ван Дорен. (цит. по Мюриэл Спарк «Curriculum vitae», «ИЛ», №4, 2007 г.)

Вот и Фолкнер тоже: я только неудавшийся поэт.

Мечталось и мне побывать в безвестных местах пребываний поэтов... Было побывал... И где теперь я, и где мечты?

Два лютых кошмара преследуют меня во снах. Один кошмарец – страх высоты (перетекающий плавно в никофобию), не проявившийся в юности, когда я имел великую дерзость и глупость заниматься альпинизмом. То и дело нахожу себя во сне (только и успеваю находить) карабкающимся по каким-то готовым вот-вот оборваться краям на самой большой и бессмысленной верхотуре, над онемевшей бездной далеко внизу парящего и при этом ужасно шевелящегося, как бы угрожающе манящего города с хорошим, очень крепким асфальтовым покрытием – крошечки себя потом не соберешь, мало, естественно, не покажется. Второй кошмарик – листать свои изданные словопренья с гибельной массой вкравшихся в них ошибок, неточностей, леденящих кровь безвинную фраз нелепейших и почему-то множеством дурацких схем и таблиц – их-то, конечно, только и не хватало. Причем понимаю, что во всем этом текстовом кошмаре и откровенном безобразии я виноват, я один, так сиротливо – единственно я. *Это я проворонил все свои ошибки.* Это я сам помог отправить все свои тщательные старания в тщету, в небытие. Во сне ощущается, как глупо я, как непоправимо поленился вычитать лишний раз свой громоздкий, свой

обидевшийся на меня и скорбящий по мне роман. Все пропало теперь. За теми чудовищными ошибками и чужеродными вкраплениями пропало абсолютно все! Ничего не вернуть, не поправить, и это кошмарная смерть, смерть в чистом виде.

Так и блуждаешь в сновидениях от одного кошмарика к другому, время от времени поправляя на плече призрачную котомку, мне неотъемлемо приданную для пространных удобств путешествий. Погостишь ужасненько у одного, наведаешься для разнообразья к другому. Попрыгаешь, попрыгаешь, нарезвишься в бедовеньких воздухах, посрываешься с крутых карнизов, с отваливающихся краев, в обрывающихся балконах, потом пойдешь, адреналиновый и никакой, и с огромным удовольствием ужаса почитаешь то, что ты в свое удовольствие на сотню страниц навалял. Физическое так гармонично и посочетается с духовным, как, бывало, при социализме.

Так и живем в прекраснодушном настроении у бездны самой на краю. Расслабляться особенно-то некогда. Это только в примитивно бодрствующем состоянии можно как бы спокойно чаю попить. Да и то выглядываешь нервично в окно, прямо задергаешь всего себя, – а вдруг, пока ты чай самолюбиво дуешь, кто-нибудь сверзится с крыши и самым нахальным образом тебя обгонит! Нет, дружок, сворачивай давай скорей питьевые приятности, водные свои разглагольствования. За работу, на каторгу, в глушь, в Саратов! Вправь свои бесстыжие очи в немигающее имморальное око компьютера и найди наконец-то ты ей эту темно-вишневую шаль, возврати головной убор из злосчастных пропаж, давно она просит. Да, пора приниматься за дело, за старинное дело свое, неужели и жизнь отшумела, отшумела, как платье твое? Очень бы этого не хотелось...

Вот оно что! При падении, пусть и самом неудачном и катастрофическом, оказывается, обязательно всегда что-то найдешь. И, бывает, премного хорошее, даже полезное в прямом примененьи в быту. Случаются в находках и непосредственно утюги, готовые к сиюминутному употреблению в дело, уже разогретые, прямо пышущие, бери – не хочу. Так что падать надо почаще – с бОльшим прибытком и достатком будешь, себя обогатишь, можно сказать, всесторонне и многоглубинно.

Он слишком много выстрелов делает вхолостую. И книги его – странным образом убитые птицы.

Редкостно прекрасная проза. Редкостно прекрасная женщина.

Это я про что, с позволенья сказать, ляпаю? Это я про кого? Это из каких таких редкостных далей бред несу? Редкостно родимый и прекрасный свой бред нетягчайший. Мисюсь, я тебе скоро приснюсь. Вот увидишь. Жди да помалкивай. Поживай себе – добра наживай. По всей вероятности, вскорости буду, нам недолго разлуки осталось. Там и разделим имущество по справедливости, по несторонней чьей-то совести. А то зачем тебе одной столько много всего, это лишнее и отдает уж досужим мещанством. Я же, со своей стороны, поделюсь с тобою ответно своими деятельными, очень богатыми, мощно нажитыми потребностями, от прекрасности которых в обморок падают лучшие умы человечества и не худшие из задов. Нам моих потребностей на много твоих излишеств и капризов женственных хватит, бедствовать не будем. Воистину изукрашу тебя с головы до ног и обратно. Желаньями своими мгновенно утолю твой любой вспыхнувший вожделенный аппетит, как материальный, так и утонченно духовный. Сошью также тебе эксклюзивную шубу из самых пушистых моих и драгоценных хотений. Стан твой, пополневший за с избытком сотенку лет, будут обвивать, будут нежно обвевать редкостно прекрасные разноцветные лоскутки моих давно пропавших, но истинных намерений.

Вот мы и встретились, дорогая моя женщина, в кои-то веки. Антон Павлович, да будет Вам, что Вы там волнуетесь так беспощадно, не жгите зря свои бесценные нервы, они нам ой как всем еще пригодятся, у нас все в порядке, ничего лишнего не будет, мы поженимся тайно и уедем от посторонних глаз в неизвестность. Не беспокойтесь, эту женщину я никогда не брошу, брачного контракта заключать не будем, так как порочит он тонкую честность людей. Нам будет просто так хорошо, в том числе и для Вашего тамошнего утешения. Все у нас редкостно чудесно соединится, так что иной раз и не отличишь – проза ли то или милая женщина... а может, волк в кустах,

поблескивающий даже издали видимым красным глазом. Лапой что ли, братец, натер? Но зачем, отчего? Вот вопрос, которым и предстоит заняться в ближайшие времена, ласково уже расстилающиеся повсюду, постепенно и нас с Мисюсь обволакивающие, усыпляющие. Но зачем, отчего? Этот вопрос удлинним и в сновидение, чтоб не очень-то оно обленилось, изнежилось, да и хватит ему без дела валяться, пора открывать школы для деревенских детей.

Я ведь не всегда сквозь людей пролегаю. Иногда и где попало. Не приведи Господи сколь кой-где и кое-как иногда пролегаю, даже там, где черт ногу сломит – вот где порой пролегаю. Так что лучше бы и не пролегать вовсе. А просто залечь на кровати как-то безлежно, уснуть мертвым сном беспробудным или чаю, к примеру, хлебнуть с крендельком, в одно свое непространное удовольствие, которое где началось, там же почти и закончилось, без всяких хищных, в особо крупных размерах набрасываний на людей. Которые тоже ведь пролегают где-то, только не очень я знаю – где. Иной раз и не найдешь нигде на целой Земле ни одного сколь-нибудь годного человечества, а уж тем более то и дело ускользающего куда-то мирового сообщества, которое вечно любит быть в каком-то неведомом, чрезвычайно для меня не уясненном рассеяньи, ни на какие самые жалостливые звуки мои не отзывающемся, ни на какие посылаемые мною знаки внимания не реагирующем, ведет себя, будто мертвое. И чего оно все распыляется, хваленое то мировое сообщество, с упорной, достойной лучшего применения нелюбезностью пребывая в отсутствии? Делать ему, что ли, больше нечего? Ну наверное. От хороших дел так не бегают. В хороших делах пропадают обычно, будучи трудоголиками, но уж никак не исчезая помимо них. Потому что нонсенс иль шизофрения. А часто и то и другое одновременно – гуськом, в затылок. А чтоб неповадно было другим!

Глаза страшат, а суки делают.

Беглое, в даль убегающее хитросплетенье словоохотливых и полудиких словес... Неужто это и есть я? Неужто это мой, так сказать, содержательный наполнитель, моя личностная начинка, не особенно-то отдающая какой-либо вкуснотою, сама по себе личным избранным вкусом не обладающая? Сомневаюсь я, сомневаюсь. Это кто-то рядом со мной все плетет и плетет эти сети, тенета, меня бодро компрометируя и выдавая за изощренно умышленного паука. Вот я ему поплету в скором будущем! Вот он у меня попляшет паучьими лапками шаловливыми, не приспособленными для плясбы и других танцискусств! Дайте только оторваться на минутку от бедово меня затянувшего листа бумаги, в который влип я как мухочка в мед, дайте только хорошенько умолкнуть, заткнуться наконец этой бессовестно разбежавшейся среди слов (нескрываемо довольных подобным развратом) ручке, которая нескрываемо любит гулять сама по себе, черт ее бы подрал, а потом бы побрал, для пущей последовательности, которая во всем должна быть, даже и в подобного рода несуразных делах заботливой, предупредительной дьяволиады.

Все равно ведь раскуроченным таким и унесенным, куда-то побранным инструментом ничего путного уже не попишешь. Лишь одну какую-нибудь отсебятину, коей место бог весть где да в бомжеватой от забродившихся мыслей моей голове. Так что пропадай, моя ручка, не жалко, буду пальцем ковырять в носу наверняка застрявшие там слова, вполне возможно, что и редкоземельные. В носу ведь чего только не бывает. Иногда обнаружишь там для изумления и воистину небывалое. Вот уж наудивляешься, разглядывая мокренькое и немного сопливое слово на пальце, так и эдак его вертя для дальнейших исследований. И откуда только что в этом мире берется? Ну, я пошел в непонятки. Пока.

Я настолько напуган той женщиной, что панически начинаю прятаться от нее, даже когда ее нет в пределах видимости, в пределах лет, причем световых. От одной мысли о ней прячусь мгновенно, не могу удержать в себе никакого побега. От одной мысли о ней только и прячусь. От всех остальных мыслей давным-давно уже спрятался. Ни единому самому рыскательному сужде-

нию меня не найти – я в хорошем, я в добротном забвеньи. Пусть рыскательное наймет частных сыщиков утонченных, может, они за меня что-то вспомнят. Но куда этот след их приведет? Что опять не ко мне – это точно. Тут не следует тратить напрасно сомнений – они никаких направлений все равно не дадут.

В порядке наказания стали меня преследовать и в пределах судьбы. Получилась какая-то сплошная беготня да прыгучая канитель в пределах наказания порядка судьбы. Вот что делает со мной неумная жизнь, не слишком-то обремененная изяществом интеллекта. И вот что делаю с собой я, неразумный, а заодно и с ней, жизнью, до крайности опрометчиво навязавшейся ко мне в попутчицы. Лучше бы от меня отстала где-нибудь за ближайшим углом или после легкого перекуса в дорожном кафе-шантане. И ей бы хорошо тотчас стало, задышала бы налегке полной грудью, просветлела в глазах, и мне б посвободней и скороножней бежалось, – ведь не на 100 же метров я взялся результат поставлять, а осиливать, если не огоревать, целую даль. Тут и одному бы кой-как успеть, одному бы суметь ускрестись, наспех уцелевая. А тут, нате вам, возись еще и с нескладухой тобою. Эх ты, жизнь, репей ты, репей, пустырный репей неотцепный...

Ну садись, что ль, тогда ко мне на закорки. Так тебя потихоньку упру, не бросать же, как-никак пресловутая ценность. И с чего ты такая калека? И откуда только навязалась ты на мою непутевую малую шею, приспособленную для иных трудов, а никак уж не для переноски немотивированных тяжестей, к тому же в условиях сильно пересеченной местности да при глазах в тумане и едва стою я на ногах, но я ведь не-не-не, даже губ и язык не помазал? Так, возможно, и избежим порядка наказания в пределах судьбы. А вот с пределами наказания в порядке судьбы будет значительно проблематичней. Здесь нам с тобой придется отдуваться и отдуваться, только успевай пунцоветь в барабан тугими щеками да лезть из-под лба глазами. Не знаю, отдуемся ли, отпышкаемся. Дело-то уж больно серьезное, не пыль с коврижек сдувать. Аж подумать о нем заранее страшно, не то что иметь с этим делом дело, выглядящее на целого крупного, добротно вскормленного бандюгана, а то и сразу на всю тюрьму в поперечном ее да и, пожалуй, фронтальном разрезе. Чертежи прилагаются.

Мне терять нечего, кроме своих цепей, в основном безумно безумных, но прекрасно прекрасных и драгоценно драгоценных, изумительно изукрашенных всем лишним, какое только возможно везде и какое только не жалко миру из себя исторгать. Поэтому я их ни за какие обмены не потеряю, ни при каких самых вынужденных, припирающих обстоятельствах. Лучше уж скорей себя потеряю, такого добра не жалко, всюду навалом этакого добреца. А они будут пусть, красиво добираясь без меня до конца моей жизни, радуя глаза прохожих безукоризненным своим совершенством, приковывая всякий размечтавшийся туманно взгляд неотразимым сиянием личной своей хваткости, в плане личности и человечности позаимствованной, без сомнения, у меня. Что вызывает во мне гордость и самоуважение. За это я цепям и благодарен. Ведь ничто гордости и самоуважения больше вызвать столь ярко не может.

Я сегодня неумолимо зол на свой допотопный и доморощенный организм. Вечно он чего-нибудь ничего. Опять он меня оподлил сквозным насморком, который всенепременно, хоть падут города, спустится в грудь, видимо, посмотреть, что там делается, и станет неподконтрольно подлым бронхитом, который, в свою очередь, также из чистого любопытства и от любви к экспериментам, вознесет до повышенных температур, чтобы посмотреть, что будет дальше. Вот всегда оно так. Это обыденная, нормальная подлость организма, который хоть выкидывай за его хорошенькие штучки-дрючки, за эти устраиваемые им мною, посредством гнусного принужденья меня, танцы на гробу. Мне – пляши, а он лежит себе в кровати полеживает да посапывает, понапрасну пыхая жаром растратным, внося отрицательную лепту в мировую энергетику, даже в ладоши никогда одобрительно не хлопнет при особенно ловком моем коленце. А может, и вообще эти устраиваемые им мною пляски – дело весьма и весьма криминальное и за мною скоро

придут. Но пляшу, пока гроб ногами в прах не перепотрошу. Никуда не денешься. Надо иногда и повеселиться.

Скорей бы уж одной душой стать, чтоб это барство дикое цвести здесь перестало. Совсем озверел махровый крепостник. Гляди, предъявит еще мне право первой ночи. Вот где позор так позор-то будет. Но ничего, я доложу своему личному хрену тревожную обстановку и мы найдем, как крепостника обмишулить. Мы не встанем, и только, мой хрен! Этого достаточно будет для решительного сопротивления, для отпора насильнику-махровику. Мы ни на единый, ни на полэротический мускул не встанем в праве первой ночи, что и будет являться нашим народным восстаньем, гневом вспыхнувших масс! Которое конечно же потопят в крови – восстание разумею, – а гнев масс потихоньку сгноят средь Неверкинской не то ссылки, не то пересылки.

Сегодня какая-то всеобщая затхлость моей головы. 23 апреля 2007, полтора года назад, забыл опрометчиво открыть форточку ума на ночь. Вот и аукнулось. Гигиена личного нутряного калганчика – штука весьма привередливая. Чуть запамятовал выкинуть какую-нибудь мусорную мысль, гляди, дней через десять вся голова уж мусором стала, строптивое ухо в хлам норовит, глаза тленьем повиты. Свалка начинает перекидываться и на тело, ни в чем не повинное, работающее в обычном режиме. Вместо рук – пищевые отходы, взамен ног – борьба гниющих бытовых стихий до самого горизонта, а живот – дым и смрад во весь свет. От себя уже не продохнуть. Хоть подавайся в работники уборочных служб, на большее не потянешь. На большее и не возьмут, так как сделался чисто мусор.

После трудоемкого процесса запоя долго, крепко и с мстительным наслаждением дрессирую ум для возобновления прозы, гоняя его до седьмого пота кругами или придерживая строго прямой, чтоб от параллели, Боже упаси, не отклонился стервец ни на миллиметр. Например, с немыслимым упорством размышляю над тем, какая же цифра может воспоследовать, по случайности грянув, после скромного с виду порядкового числительного 101 (ассоциативный 101-й километр?). Иногда угадываю, до безошибочности. Иногда просто попадаю пальцем в небо. Так как за 101-м километром расстилается обычно полная неизвестность – хуже безвестья и не придумать. Оно мне это надо? Вот пойдешь и обратно похмелишься для ровного счета. Оно мне это надо! А числительные – уже попутно, в обход или обиняком. Тут как что попадется. Неважно даже – кто это иль что. Потом разберемся. Когда возобновится после добротной возгонки ума какая-то хоть сколь-нибудь живенькая, мал-мало теплая проза, пусть инфузорийным пока видом существования и ее же, туфельки, уровнем глобального осмысления, разлитого непосредственно в родимой природе. А это уже повышенный уровень глобальности!

Это часто бывает даже лучше, чем прямой ум, наглухо закупоренный в черепной коробке, зачем-то убранный с глаз долой, совершенно бездарно спрятанный, точно вышедшая из строя времени, растерянно отставшая от всех времен вещь на чердаке. Ну-ка посмотрю, не запылился ли он там. И я слазил в свой собственный чердак, не без любопытства, конечно. Он еще никуда не съехал, а только-только собирался, напустив повсюду отъездного газу, вонявшего, как заведено, тучной соляркой. Я очень вовремя успел – он уж было поехал, пришлось на всем ходу тормознуть, встав поперек всем ставшим вдруг дорожно своим транспортным телом. Иначе бы мне грозило ничего не застать и махать в знак прощания одному бессмысленному в человеческом общении воздуху. А это нехорошо, отчасти даже и неприлично. Кто ж сам с собою-то прощается, поймав себя на том, что он стоит на опустевшем перекрестке, устроив себе бурные, размашистые, никуда не ведущие проводы? Это даже и в иных мирах ни на что не годится, именуется обыкновенным развратом движений. Это и там не принято и не поощряется никаким загробно-корпоративным поощрением. Мгновенно уволят без конвертика в руках за один намек на одни эти знаки. И ходи потом без того света, что малость посложнее, наверно, чем ходить без работы.

Он иногда очень любил быть быдлом. Ведь кое-когда всякому хочется переменить, скажем, обстановку, образ жизни, местожительство или прочее. Порой прямо подмывало его – побыть да

побыть быдленьком. Ну и побывывал. И побывовывал. Хорошую жизнь ведь никому не запретишь, так как все мы равны перед Богом. Ну или прочее.

Немного побулькал, горлом поквохтал-поквохтал – и отошел себе в мир иной без длинных вступлений и предисловий.

Все лишнее он успел сказать при жизни.

Теперь нелишне громче помолчать.

Надо, надо писать, пока живой. А то умрешь и запишешь внезапненько по-другому. Вдруг скопытишься – и писанина ведь может пойти какая-нибудь копытная, а то и, не приведи Господи, чешуекрылая какая-нибудь в каком-нибудь своем роде.

На мобильном осталось 4 рубля 12 коп. (страшно меня утешило лишь то, что цифра совпала благодатно с бывшей ценой бывшей водки – огненного сияния развитого социализма, его надежды и опоры; не знамение ли мне эти 4.12?). И положить на телефон абсолютно мне нечего. Последний звонок – как последний патрон. В кого выстрелить?

Оставлю для безысходного случая, когда окажется некому уже мне позвонить и когда не дождусь ни звонка.

Тогда себе и позвоню, собравшись с последним духом, мужественно приставив мобилу к одному из ушей. Сведу счеты с молчанием, преследовавшим всю мою жизнь, затравившим ее и загнавшим в беспорядочный и очень немотственный угол. Нажму плавно теплую еще кнопочку вызова. Уж будьте уверены, рука не дрогнет.

Что успею сказать я на 4.12? Какого утешительного убийства наговорю?

Мне нужно срочно потрогать старые деревья из детства.

Тут ведь родство.

Когда же, наконец-то, я не приеду на свою родину?

Живу откровенно неплохо. Отовсюду прибыток ручьит или бурной рекою речит, даже когда с прибытком не очень и даже когда его откровенным и безобразным образом нет. Плюс строгая по обязательности приплата 3000 рябчиков к сторожевому жалованию-пожалованию – как всеместному Члену союза нездешних писателей (приравнивается к обладанию земной кандидатской степенью). Тут и не захочешь, а все равно приплатят, обяжут включить приплату в обмен веществ. Потому что положено и иначе никак нельзя. Забит безвозвратно в статью я расхода и, по всей видимости, без вести благополучно пропал. Ибо национальная программа поддержки штанов писателей и дальнейшего населения. Государство у нас становится все более сверхразумным и сверхчеловечным, прямо юберменьш какой-то, разлитый по нашим просторам, от их величия разбавленный до неузнаваемости. Обычно догонит и как следует добавит, чтобы отвык огрызаться и разлюбил посторонние огорчения. Потом спросит вежливо, чинно-чиновно: «А посидеть случайно не хочешь? У нас места еще есть. Имеются в наличии». Потом, прекратив играть в дурика, объявит всеобщую посадку на что-то в неизвестном направлении. Мы вот-вот прилетим. И то уже хорошо, и то просто же замечательно. В других странах и этого нет.

Запасной пылесос

Во времена моей норовой и берложно-полевой жизни в Неверкине я был последовательно, ни на йоту мужественно не отклоняясь от своих обязанностей, отважно и даже с подвигом встречая должности лицом к лицу: Директором картинной галереи, управляющим картинной Галереей, директором Картинной галереи (именуемой далее – к. г.), смотрителем к. г. непосредственно от Дома детского и юношеского творчества (по-прежнему хищный и зевластый бывший дом

пионеров), клубным работником от к. г., смотрителем кг от клубного работника, наблюдателем клубного работника, клубным работником смотрителя, вольноотпущенным впередсмотрящим, 2-м помощником станционного смотрителя, станционным смотрителем (удалось перепрыгнуть аж через две должностные ступеньки, что потом и аукнулось, за это мне и перепало), просто смотрителем прохожего без всяких чиновных и служебных павлиньих перьев (которые враз вдруг повыщипали, напав начальственным рвением практически из-за угла), прохожим смотрителем, визуальным техником нижайшей квалификации и пертурбации, надсмотрщиком сортиров Неверкинского района, а также гальюнов извеку напрочь отсутствующего, но зато и не разгромленного ни одним супостатом Неверкинского гарнизона. И, наконец, как заслуженная награда, давно искавшая своего героя, наконец, чем горжусь особенно, отдельно и специально, – сцепщиком и смазчиком поездов на благополучно, не менее, чем гарнизон, отсутствующей железнодорожной станции Неверкино-сортировочное. Здесь я что-то особенно долго подзадержался, чуть не насильно оттуда выволакивали, пытаясь обмануть попутно, будто это они всем коллективом провожают меня досрочно на пенсию, за невозможно какие хорошие мои выслуги лет и особо нежное мое отношение к протекавшей рядом со мною службе.

Вот мой изрядно приобогащенный – не то сдобренный, не то отягощенный, в одночасье не поймешь – опытом российской жизни послужной список, за один за который уже следует отправлять человека неминучим образом в рай, каких бы глупостей, бед и даже зверских трагедий по дороге сквозь жизнь он ни совершил, чего бы тотально греховного ни наследил. Но это, отправка в рай то есть, было бы в других странах или иных областях метафизики громким и шумно празднуемым событием, но не у нас. У нас как раз отправят не туда, смурной напустив на себя вид, будто никакого рая не существует и отродясь ничего подобного нигде не бывало, а все это выдумки зажравшихся на трудящейся крови олигархов, которых повредили в уме золотые унитазы – изощренно коварные, говорят, и хищные существа. Нападают практически из-за угла.

Но я не про это.

Я вот про что: сколько бы ни было изукрасно украшенных словами моих работ, сколько бы пышных названий их ни вилось зазывной толпой вкруг меня, соблазняя и увлекая то в незнакомые дали, то якобы в бездну своих потрясных возможностей, – при этом я, да не померещится кому-нибудь за странность, был в одной-единственной недрогновенной должности, при одном-единственном рабочем столе, и входил я на службу, несмотря на разноречие и протест разрывавших меня на части названий меня самого, все время в одну и ту же избитую дверь, которую знал как облупленную, и встречался на протяжении всей своей инфинитивной и столь хитроумно овербаленной карьеры всегда исключительно с одними и теми же техническими людьми, а в основном сидел сам с собою в запаснике все-таки именно картинной галереи, по-моему, так-таки неотвратимо и существовавшей, не на берегу же реки десять лет я как под влияньем наркоза потарчивал.

Придешь, бывалоча, в галерейку, снимешь заячий свой распашной махровый тулупчик, сядешь на крепко рассиженное еще прежними седалищами место. Лепота! В окно шумит, бывалоча, осень или какому времени года там надобно шуметь и свое умненько воскликать и поойкивать. Тут же клен, уткнувшись в окно и ища меня в затемненных помещениях уличным взглядом – да где ж он, проходимец, там потерялся, вроде бы только что промелькивал мимо, шмыгал в дверь, надменно кивнув обрывок привета? – начнет ломиться ко мне в шумные собеседники, примется объяснять уличную обстановку своими нескладными и вспыльчивыми жестами (прямо скажем – малость дураковатыми и подростковыми), гневаясь всплеснувшейся всей листвой, когда с полслова я что-то не понимаю, истолковывая мне на пальцах самые элементарные вещи – вот сразу и видно, братец, что университетов ты не кончал, так как на конечностях высшие люди не изъясняются. Мысленно обведешь чутким сторожевым ухом, натасканным даже и на мышиный звук, внутренние помещения покоев (так вот, оказывается, где берет во мне исток сторожба, которая неумолимо станет впоследствии краеугольным камнем моей нефундаментной жизни!) Дремлет картинная галерея! Ну и слава богу. Как говорится, а на кладбище все спокойненько. Чу! ты

только не разбуди ее раньше времени, от греха подальше, каким-нибудь своим неумным личным шорохом. Пусть она месячишка три еще мирно подрыхнет. Сидишь, бывалоча, да и добываешь неприхотливо из носу заветные, а то и какие придется слова. И откуда они там только берутся?! – не устаешь и не устаешь удивляться в восторженных до неприличия формах недоумения.

Сидел, так сказать, в запасе, сбираясь средь тайны в целый засадный полк, – и это были все мои описанные должности разом, в течение почти десяти насмерть раздавленных сидением лет. За это можно все отдать, и потому я в это верю! Во весь тот срок ни я, будучи искусствоведческим отстоем (вернее, отсидом), ни моя должность никаких существенных изменений не претерпевали. За все вместо меня изменялись другие, им пришлось это делать. Этими другими были вышестоящие чиновники, не меньшие, чем я, поклонники и ревнители искусств, только ревновали в искусствах они другое, да и искусства их были не похожими на мои, до невозможности уж искусств быть собою, так что трудно было от этих верхних ожидать поклонения, скажем, Перуну, когда у них в глазах и гораздо глубже трепетали более усовершенствованные боги, прохлаждая у некоторых и без того сильно подмороженную кровь, так что недалеко было всякий раз до трупа.

Все изменения за меня претерпевали, при том мелькая, как бешенством проникнутые мотыльки, чиновники и их жадно склонные к переменчивости и призрачности красиво иерархичные структуры, до потрясения личного гармоничные. Мне меняться теперь было совершенно незачем – хоть иди в неподвижные идиоты, и то поймут и с превеликой радостью примут. Это всё они бросали меня, как на прорыв, сидеть за одним и тем же изглоданным тоскою столом под видом смутно редкостной, до конца не опознанной вещи запасника (я даже, как порядочный экспонат, имел свой отдельный инвентарный номер, представляя некоторую остаточную, правда не выясненную, музейную ценность; тут было строго, как в концлагере, без номеров никак, без моего бы номера жизни своей себе никто не представил, жизнь свою не почуял; галерейные наколки так и остались на моем безответном теле, будут теперь сопровождать меня на протяжении всей жизни, сойдут и лягут со мной в могилу, примутся сопровождать дальше, так как стали уже преданностью моего тела). Это именно они, верхнесидящие, казнили сверху бумагами, искажая реальную картину мира и моего смирного сидения в запаснике, они перерегистрировали, беспощадно перерегистрировали нас с картинной галереей, а то и по отдельности, а то и как-нибудь вперемешку. Они нас доперерегистрировали и допереназвали до потери всеобщего пульса, до того, что никто уже не знал, кто мы, где мы, откуда и куда, не говоря о зачем. Добаловались чиновнички. Доэкспериментировались с незримыми, но сверхчувствительными материями. Именно они всем нам и отомстили, доведенные до края отчаяния.

Меня перестали узнавать на улицах, картинная галерея, чуть смеркнется, выбраживала сумасбродно, принимая себя за меня, прогуляться на свежий ветерок в снежный проулок, с ней уж некоторые стали горласто здороваться и просить на похмелиться, а в меня, небывалый случай, народ косяком попер на выставки, покинув бредни таскаться по базару, прижимисто зажав меж конечностями что-то крепко съестное. Пестрили грациозной витиеватостью все прибывавшие и прибывавшие сверху уставы, договоры, предписания, инструкции, и были они все лучше и лучше, все неотразимей, голова шла кругом от даровой сей чудности да прекрасности. Мы меж тем лихо мчались на перекладных в пока еще немножко чужеватое, но отчасти уже безоблачное будущее. По сторонам многое попадалось, и не всегда, сказать бы, очень дрянное. Но многое и терялось, поедаемое далью, во всем ненасытной, кроме этой несъедобной земли. Потом стало глухо и дико; густела нежно тревога. Мы поняли, что вляпались куда-то не туда, куда мчали наши, как выяснилось при повторном осмотре, гибельные ожидания. Но потом полегчало, отмякло, в одной из сторон света стало расторопно замолаживать. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это вполне благословенная и приемлемая для некоторых физиологических реакций и отправлений местность. От смягчения наших чувств и местность ответно стала сразу веселей; все-таки многое еще в России умеет быть благодарным, если не сказать – милосердным. Местность бросила глядеть исподлобья. А тут и сентябрь-боярин подкатил на залетных, пышкает, отдувается, весь из себя толстый, губастый, надо бы на раздельную диету посадить, а он не садится, блины

лопает и лопает, как в прорву они, скажи, у него куда валятся. Сентябрь уж у крыльца, тук-тук, вхожу я. Милости просим, не забудь только ноги вытереть, с утра дождит. Пора, стал быть, копать картошку. Пора, мой друг, пора! Без картошки рот дерет ложку, а та знай в ответ рот натерывать, та давай юлить-приговаривать, мол, мы за себя тоже постоять могем, вы, дескать, еще поймете, кто я такая и что собой представляю, у меня и Вячеслав-то Володин четвероюродный брат, и депутатской-то неприкосновенностью я владею, станете умолять-плакать, ан поздно будет, во мне тоже есть сердце жестокосердное, я тоже счастье имею себя уважать.

Раздрай, бесцеремонно отстраняя сильно удивленный невозможностью происходящего клен, почти что вламываясь в не повинные ни в чем помещения внутренних покоев, грозил уже с изумляюще дивным матом в окно, повитое чем-то еще более сумасшедшим, нежели грозящий в него, хоть тот и был в распоследних самых отрепьях, позорящих окрестности и остальное. Село Неверкино медленно, но верно съезжало с насиженных и натверженных мест ума, нимало о том не заботясь, о том даже и не помышляя: куда едем, туда и едем, главное, не прохлаждаться на месте. Но тут вмешался мой вышестоящий запой и железной рукой быстренько все уладил, всех примирил, всех сплотил, стремглав обежав, как я сам никогда не сумел бы, все инстанции с верху до низу и кого надо – приструнив, а кого – поощрительно гладнув по вихряшкам иль полубоксу. Резко тут встало все на свои места, и волнительно прояснело. Меня почти с треском уволили, и был отчего-то необыкновенно приятен и лестен тот слегка посторонний, чуть прерывистый шорох, напоминающий летучий говорок вскрыленных насекомых, лепеток их непревзойденных хитинов; одни чиновники никуда не улетели со своих донельзя замечательно рассиженных мест. Точно вечное лето нежданно-негаданно разлилось, расселилось внутри меня взамен Неверкина, методом от противного наказывая блаженством за все мои сидячие прегрешения и остальные излияния неплохо поездившей, покочковавшей по округе души.

Так все и кончилось, имея, как обычно в России и бывает, несмотря на плачевность, весьма благополучный финал. Но я здорово в запаснике пропылился, буквально до печенок стал теневиден, дохловат, пылью слушаю и смотрю, пылью сплю, норовлю ходить все бочком да незримой сторонкой и упорно продолжаю быть экспонатом, ничего не могу с собой поделать, экспонатство въелось в состав бродячей моей крови. Правда, говорят, и это поправимо. Говорят, и не из таких пыль выбивали. Со своей стороны, я охотно готов испустить эту перезревшую во мне тучу наномусора, так как мне надоело состоять из одной пыли. Это ж какое терпение надо иметь – десять лет в запаснике быть угрюмейшим из пылесосов! Это всякому надоесть и прискучить может. Да еще тебя инвентарным номером приклеймят, исподтишка опечатают и осейфуют, улучив шустрый момент, когда ты подремал головой на обглоданном твоей же тоскою столе! И положат куда-нибудь на вечное хранение, которое только называется вечным. Знаем мы эти вечные хранения, нахранились уже досыта! Так вечнопосохраняют, что потом целый век пропащенный будешь себя искать и найдешь как раз не то. В лучшем случае, какой-нибудь тщедушный, ни на что не похожий огрызок, кем-то куда-то средь зевот да икот выброшенный.

Надежнее всего храниться в архивах КГБ, а не в запасниках Неверкинской картинной галереи. Там точно никуда не пропадешь, не сгинешь. Только, говорят, очень уж там тесновато. Даже не разомнешь члены организма, когда возникнет в этом простая нужда. А вдруг у меня, например, нестерпимо спина зачесалась. И что тогда? Выпустите меня из архивов, об угол чеснусь, – сказать? – Дескать, мне и делов-то лишь – скинуть зайцевидненький тулупчик, ненаглядный мой лохмоток, а угол сам собою найдется, без углов не бывает. Да ты с ума сошел! – оскорбленно скажут. – Отсюда не выпускают даже вперед ногами. Здесь обратных дорог не бывает. Хранись непочесанным.

Только в неподражаемом Неверкине можно идти по одной улице и три раза кряду встретить одного и того же категорически обвеселенного человека. Параллельные миры здесь на каждом шагу. Не успеешь и замечтаться, немного обволочь себя оптимистической грезой, гляди уж, он опять с увесистой улыбищей прется навстречу, точно облетывая тебя по небу, чтобы угодить не-

пременно под самое попаданье. Гляди, сызнова выскочил он, встреченный на этой улице минут десять назад, хоть ты шел стремглав никуда не сворачивая, – откуда-то вывалился из прорех бытия, из-за нового поворота, из старого, заношенного проулка, откуда угодно, хоть из чьего-то кармана. Но обязательно уж – выскочит, обязательно – навстречу. Только непременно чтобы попасться и стать болью и недоумением твоих глаз, спазмом горько взрыднувшего от безысходности встреч сердца. Или чем-нибудь еще в подобном же роде – этот проходимец найдет любое чего-нибудь, в которое способен мгновенно перевоплотиться. И из какого ни попадя перевоплощения попросит всеобязательнейше хоть рублишко каких-нибудь нестоящих денег для недостачи на похмелиться. Ну откуда, откуда они берутся, эти неотклонимо три раза подряд попадающиеся? Иль свойство лиц здесь таково – прикидываться умело одним и тем же лицом?

Волшебное это село – Неверкино, что-то себе на уме втихаря волшебствующее. Тут какое-то серьезное, порочащее физику искривление пространства, которое безустанно насылает на тебя нежеланного человека, точно он сорвался с упорядочивавшей его цепи бытия и тотчас метнулся, чтобы лишь как-нибудь мне попасться. Более того, кого абсолютно не хочешь увидеть – его-то как раз и абсолютно увидишь, как раз-то его взором насильно пресыщенным вперишь. То есть разика три, а если не повезет, то и четыре, за одну твою безупречно прямую и якобы свободой подышивающую проходку. Так и сыплются эти встречальщики, кажется, из специально только для того и приготовленных, для того наловченных проулков и переулков. Больше им как будто и существовать незачем, загогулинам этим подчеловеческим. И всякое, пусть и самое малое, самое захудалое пространство, которое и пространством-то назвать язык не поворачивается, – любой оборвыш еле различимой трехмерности, какой-нибудь невзрачный, пустой совершенно объемишко, любая плевая лужица полунебытия обязательно не забудут поклянчить на похмелиться. Тут пространства явно запили и неплохо владеют всеми видами и навыками бытового пьянства, а некоторые проулки вчистую спились, скрывать нечего. Вон как криво и недобро опять ухмыляются, вспоминая наперечет былые твои грехи. С утра пораньше приняли уже хорошо на грудь. Из окошечка прямо им и набузыкали в долг. Из окошечка, какое есть в каждом проулочке. Только подходи, только пролегай мимо, все непременно получится, любые глаза в момент устаканятся, будь хоть то глаза облака иль гляделки межеумочного бревна, нахально разлегшегося на два сезона вперед и на три обратно.

Так и знал я: один из забулдыжных приблатненных проулочков подкатил ко мне выяснять очень трепетные и трепещущие с моей стороны отношения. Для начала попросил закурить, притаив в уголке поворота щелочную улыбку. И пошел, и пошел мое существованье теснить! Дескать, не так я сквозь жизнь пролегаю, он хотел бы прямо сейчас увидеть во мне побольше извивов, а то слишком прямо выгибаюсь весь из себя. Ну, у каждого свои представления о пролегании и длении в даль. Ради приличия изовьюсь немного, уподобляясь проулочку, с меня ж не убудет. А то ведь и по мордасам схлопотать можно запросто. А мне на завтрашний день нужно иметь необыкновенно свежее лицо, без единого пятнышка синяка, без недуром лезущих наружу опережая друг дружку припухлостей, пойду в лес, а как лес с плохим лицом встретишь? Не поймет он дурного лица, раззнакомится. С такой трын-травой, скажет, больше не вожусь. Я-то думал, печально проронит, ты лучше, безбедственнее. А ты, оказывается, как все. И даже хуже. Гораздо всего здесь упадочнее. Ты моих цветов рвать не смей. Мне и без тебя упадков хватает и всяких тучно разъевшихся на дармовщинку пропаж.

Это ли не горе? Пойду к речке и в нее спрячу свое гневом леса обезличившееся лицо, разгоряченное невзгодой и отверженьем. Речка примет всегда, на своем наречье меня поймет дочиста. И станет ясно, о чем дальше мне жить.

Не зря мы с этим неплачевным человеком пожизненно выбрали одну общую профессию – высококвалифицированный хранитель материальных ценностей. Сторож – и то уже звучит гордо. А то, чем мы скрываемся под прозванием сторожей, звучит вообще нестерпимо гордо, с неприличным даже и немного отталкивающим пафосом. Это сторож, возведенный в энную сте-

пень, вот как мы звучим, пусть и помимо существа дела. Это сторож плюс бесконечность. Да плюс еще энтропия, энтропию ведь никуда не денешь, она обязательно как-нибудь приплюсуется, сама собою. Так что трудно не найти на нашем месте без малого уже богов.

Вот кем нас сделали, сунув опрометчиво в сторожа. Евгению мой профессионально сторожевой привет! Как поживает твое вахтерство, растворенное в крови? Хорошо ли у вас там, Евгений, воруют? И у нас вполне неплохо. Дела идут. Меж посторонним, мало чему мешающим воровством, надо думать, особенно хорошо пишутся хорошие стихи, не так ли, Женя? На гибельное положение дел жаловаться не приходится: всё до конца все равно не разворуют, что-нибудь сторожить останется да при этом еще и стишат целый ворох среди ночей образуется. Хоть с этой стороны, хоть с другой, а вне профессии не окажемся.

И опять сторожба становится одним из главных дел в России. Подозрительный признак. Даже отчасти дурной. Но отчасти – и ничего себе. Отчасти вполне терпимый это признак, и похуже признаки бывают.

Это уж примета такая верная: перед всяким большим катаклизмом в России сторож непременно выйдет на первое место, практически во всем главенствуя. Как будто он наиважнейшее во всем Отечестве лицо. Да еще кочегар. Тот тоже начинает резко набирать рейтинг, интенсивно смещаясь по направлению к первым местам, самая благоприятная возникает среда для проявления лучших и сильных сторон кочегарства. Во многом заглавнее становятся они президента, который заметно тушуется, отходит в тень и затем совершенно безлико где-то теряется, с удовольствием поглощаемый и усваиваемый массами. Меж тем сторож и кочегар набирают крупную, подозрительно круглую физиономию, пользуясь случаем разброда Отечества.

История боязливо умалчивает о том, что было дальше, так как и она оказалась сильно напуганной и в себе поврежденной. Ей также досталось от огнелюбви и сторожефильства. До сих пор, бедняжечка, в свой ум никак не взойдет. А ведь пора бы хоть куда-то прийти. Как же быть нам без истории? Что-то скучно... И все время тянет как-то призрачно спать. Спать и спать, истирая железной сонливостью телеса до самых дыр, низачем сотворяя себя сквозными.

Время столь стремительно ускорилось, что сделалось совершенно враждебным по своей – явленной сполна за последний век – природе бедно отставшему от него человеку. Оно катастрофично разъединилось с человеком, перестало с ним быть благодатно. Скоро время и человек станут заклятыми врагами, и войны их будут беспрестанны. Грядет вражда не столько идеологий, цивилизаций, сколько вражда все опережающего и сокрушающего времени с утопающими в медленности людьми, цепляющимися всеми правдами и неправдами за свою нашептываемую душой-нерасторопой медлительность, которую время не хочет признавать даже за мало-мальскую ценность и брезгливо отшвыривает вместе с целыми слоями населения, вынужденными экономически мешкать по жизни, и народами, возжелавшими жить не спеша, как Бог на душу положит.

Человек не успевает сопоставить себя с тем, кого он старается поспешно, пока не ускользнул, принимать за себя. Не поспевает совпасть с собой. Десятки отлущенных несчастных «я» ошметьями рассыпаются вслед человеку в его безнадежном стремлении настичь время, съединиться с ним, но всякий раз он неизменно отставший, ему никогда не выиграть эту заведомо проигранную гонку средь вертких секунд. Ему уже никогда не настичь свое истинное, безмерно радостное и целебное “я”, и он не знает, кто же он на самом деле, если не считать призрака собственного имени. Его удел – бескрайняя печаль по себе, по вечно несостоявшемуся себе, ускользнувшему непонятно куда, – то ли в стремительно стареющее прошлое, то ли в безвестное будущее, вслед соблазняющему легкой и бездумной поступью времени. Резко меняющееся, рядящееся постоянно в чужие лики, безжалостно отбрасывающее людей в истекшие омертвелые часы и дни – время заставляет нас все время быть другими, другими, другими, которых в себе почти не узнать.

Верно сказано: те, кому за 40, вдруг оказались эмигрантами в своей – нашей – стране. А в провинции, особенно в сельской провинции, – уже в тройной, наглухо обступившей отовсюду, презревшей всякого человека, эмиграции, граничащей здесь непосредственно с вполне живым

крепостным правом и прочими неувядающими прелестями русского самодурства. Там едва-едва закончился, еле переведя дух, восемнадцатый век. В ближайшие десять лет ожидается французское нашествие и священная война 1812 года. Точатся вилы, во всеоружьи – мотыги. В полном ходу Наполеон.

За плечами каждого сорокалетнего уже множество различных, зачастую и непересекающихся жизней, распавшихся вчистую и обеспамятованных. И это особенно заметно в России, где жизнь засчитывается за три жизни, где сотня жизней обесценивается до небывания или нуля.

До отвращения не хотел бы заново прожить свою жизнь (и с отвращением читая жизнь мою? – о нет, не только). Слишком утомительное и даже пыточное это у нас занятие – жизнь. И неблагодарное. С ужасом вполне громадных размеров встретил бы новость: вам предоставляется, в качестве подарка нашей фирмы, возможность все повторить с начала. К черту такую возможность, к черту такое начало! К чертовой матери вашу фирму, которая под видом благодеяний пытается всучить мне явные погребальные услуги. Сами живите на здоровье с начала, а моему здоровью это вредит. Повторяйте свою жизнь вдоль и поперек, на ходу исправляя былые ошибки и обращая неудачные любови в первые мгновения сердца. А с меня хватит, воспротивливаюсь всяческими мерами пресечения и невозвращения, одного раза было больше чем достаточно, увольте в скромный остаточек гаснущих дней...

Каждый год в России дается с таким облезлым трудом, с таким скрипучим преодолением, с такой невозможностью и с таким невероятием, что только и скажешь: да как же я выжил-то, черт меня побери?! с подобною жизнью я должен давно, хорошо быть средь мертвых; загадка... В России легких дней не бывает, дни ползучи и грузоподъемны, скрипучи (день того и гляди развалится, словно телега), дни полны притяженья земного и чиновничьей толкотни, что почти одно и то же, по последствиям вытяженья валовой национальной души. Это на Западе хорошо начинать жизнь с начала, прямо с пеленок, заранее зная, на какую прелесть идешь. Там только одним этим и можно заниматься – начинать да начинать ежедневно жизнь с пеленок или даже чуть пораньше, в период зародыша, а то и зачатия, ведь текущие дни не требуют особенно-то отвлечения на всякие увертливые добывания и выживания в поте и крови лица своего. Западные дни к людям более благосклонны. А у нас не знаешь, на что идешь, даже когда знаешь, на что идешь. Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это наш девиз, с помощью которого удается кое-как пронырнуть затяжную мутную жизнь. У нас как бы пошустрей – точно вечная погоня постоянно берет ваш неускользаемый след, – бежочком отмахать отпущенный срок, да и гора с плеч долой – кое-как жизнищу огоревали, угомонили, ни дна ей, ни покрышки. Жизнь приходится тащить, как беспробудно пьяную, унылым волоком, потому что иначе ее не продвинуть, не утолкнуть ни на полшажочка, все ведущие легко дорожки вдруг отчего-то оказываются перекрыты или глухим забвением позабыты: ни верхом, ни под парусом, ни нижайшим ползком, ни на прущем впробой ломовике.

Упорно, по скрупулезным и трепетным чиселкам считаю (невроз навязчивых состояний) дни до как бы спасительной пенсии, откладывая этот срок вспять, чтобы спроецировать безликое предстоящее время на живое время моей жизни, посмотреть, как оно будет выглядеть в живом облике, в обрамлении еще дышащих прошлых лет. И всякий раз изумляюсь с тревожным, но и каким-то защитительным, покоящим чувством, какую же непроворотную громаду времени придется одолеть, как-то ее расточить. До пенсии как до июля 1989 года, если за точку отсчета брать февраль 2003 г., а именно он и является ныне самой прочной и надежной точкой отсчета, опоры, – из всех моих пришедших в упадок точек февраль – самая неупадшая и благая; за февралем я сижу как за каменной стеной. Именно он, мой странник-февраль, мой сторонник-февраль, оберегает, как никто, так памятно, так прОшло блистающими неуставшими снегами мои изредевшие и беспорядочно расстроенные дни-наперед, дни-назад, больше сделать этого теперь некому, все как-то незаметно ушли из жизни моей, сделав ее зиянием и сквожением... Целая несворотимая жизнь – что впереди, что позади. Что в грустном, недвижном омуте *посередке*.

А до 70 немыслимых лет – как до потонувшего в смутной, светлой печалью щемящей и все волшебствующей дымке полузабвенья лета 1979. Невообразимая, неистончаемая масса любящих медленье дней, кажущих свои то лихо кривляющиеся, то смешливые, то взыскующе взирающие, то еще какие-то – за грузным скопищем едва проступающих слипшихся дней и не разобрать – полные странности личики. В те времена, теперь представляется, я еще и не начинал жить (тогда казалось, что все уже кончилась, в прах изжито), только-только опробывал жизнь с краешку, только-только подступал к ней взволнованно, и целомудренно, и застенчиво, как к непостижимому божеству, боясь спугнуть ненароком ее чистоту и как-нибудь осквернить собою, не очень-то достойным ее света и милости, ее даровитых прикосновений. Я жизнь боготворил как женщин – как женщин, влекущих в себе нежную, то и знай отпрядывающую и никогда не уловимую тайну, – год после окончания университета, безмятежный солнечный Севастополь, проникнутый живым морем до последнего возжившего камушка, до последнего вздоха и взгляда; чудо-прогулки ни о чем, ни про что, никуда, кружащиеся лишь в неисследимых просторах моей привольно, вольготно скитающейся радости, которая любила, сама вдруг себя позабыв, брести да брести куда глаза глядят; Херсонес, запросто, даже не поперхнувшись, поглотивший на глазах моих тысячелетия, – их кроткие, знающие точную нежность призраки ластятся тут повсеместно к немеющим от многих веков ногам, вьются рядышком подобострастной стайкой, точно приблудные собачонки, облюбовавшие себе под всякую волю этот берег этого моря; славное, поигрывающее тобою, пространное – на весь пространный, чудно пустующий день летней неприкаянности – его величество одиночество, пронизанное волнуемым светом и ликованием одиночество, еще не вскрывшее свою людоедскую суть, еще не обнаружившее цепкие коготки, которыми оно приучится потом брать мертвой хваткою; крупные – размашистым росчерком во всю сразу жизнь, – ничуть не истраченные, слегка только початые, на терпкую прелесть испробованные надежды, недобродившие в огромной, пылкой бродильне, в гончарном вместилище дней, словно еще не досягнувшие меня сполна, чуть от меня приотставшие, но не потому, что – потеряны, а потому, что – вольны дышать, где им хочется, где в неведении счастливом им бродится. Крупные-крупные, как хлесткие брызги грациозной и мощно умной волны, пропаще кинувшейся в оторопь, в растерянность скалы, изнывающей от недоумений. Крупные-крупные, как хохочущие и безоглядные слезы на ресницах до счастья, до плача смеющейся и смеющейся по сей день девочки моей странно потерянной, незабвенной, вечно и вечно во мне печальной... Крупные-крупные. Надежды-надежды. Когда, с кем это было, если это вообще было? Со временем все более явно: наверняка не со мной и не с моей разоренной где-то не в тех временах юностью. Как будто изворотливая, привыкшая лгать память подсовывает чью-то чужую и чуждую жизнь, которую я подсмотрел ненароком, бог весть где и когда, в каком-то утраченном навсегда году и месте, может быть, вовсе и не бывавших. И упорно, с назойливым рвением выдает ту эпизодическую жизнь или нЕжизнь за мою... Я битком набит лишней жизнью, никогда мной не прожитой. Я битком набит ложной жизнью, никогда со мной не бывавшей. Я какой-то избыток собственного бытия. Лишь ненужный остаток своих дней, который к этим дням не применить, не приложить, – две чужеродных, несовместимых материи.

А если осмелиться распрокинуться до 80? Так я вообще еще из пионеров не вылазил, болванному дедушке Ленину расточал искрометные салюты путем приложения торжественной до камня руки к не менее торжественной и каменной голове, беззаветно звенящей вопреки монолиту горячечным праздником. Ужас! Это же кромешный ужас, и ничто другое более! Куда, к какому бесу такая широченная, столь беспощадно долгая жизнь? – она мне не по размеру, я в ней, в ее лишних и пышных материях утопаю, вот-вот за несоответствие буду предан исчезновению, я уже, будто пламенем тихим, занимаюсь пропажей, прошу вас, мне неотложно нужна жизнь строго индивидуального пошива... Где бы сыскать мне подходящее ателье, где шьют жизни впору, но и навырост, на непредсказуемость многих дальних годов?

Ну а ежели вдруг дернет меня доволочь себя до 90, чем черт не шутит? Чур меня! Чур! Даже сколь-нибудь порядочному дьяволу так дерзко шутить не пристало. О, я пребывал еще в безум-

ных потемках младенчества, по интеллектуальным мощам примыкающих, опустив напрасные остальные года, непосредственно к старческому слабоумию моих больших и преклонных, но малопочтенных лет сотого уж десятка, когда я буду якобы обретаться и то и дело находить себя не без изумления в матерых патриархах, да, находить себя частенько в непотребном виде, не придавая своему непотребству никакого значения, – что-нибудь вроде замаранных жидким стулом штанишек, или пущенной на лихой самотек слабовольной, но развязной слюны, или маразматических походов по забытым давным-давно, отвернувшимся улицам с вольноотпущенной, с не узнаваемой памятью. Боже, это ведь уже какое-то чудовище возраста! Зачем Ты натравил его на меня? Разве я, бОльшую часть времени тишайше и безобиднейше проводя за бездыханным листом в моих грехах не повинной бумаги, – разве я столь непоправимо провинился перед Тобой, чтобы терзать меня, вместо положенного к тому времени ада, таким мерзким, несусветным чудовищем?! Господи, Господи, оборони меня от хищных его посещений и ненасытных его, заживо изгрызающих меня угрызновений, отчетливо начавших уже истреблять мою малость и скудость с далекого конца моей прискорбно продолговатой жизни...

Увы и увы... В резким махом увеличивающемся после сорока лет возрасте начинает жизнь ощущаться как громоздкая, все норовящая вывернуться из рук ноша, а не как невесомость, которая доселе сама тебя несла и которой легко и отрадно быть было тобою. Да, когда-то ты был невесомостью, стремительным полетом своих причудливых снов... В девяносто моих пагубных лет сны мои – как надгробные плиты. Не свернуть их. Да что-то и некому. Пустота вокруг, пустота. Даже меня отчего-то нигде не видно. О-хо-хо, повернуться бы как-нибудь на другой бок.

«Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет – это вся жизнь; ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно! Кто живет дольше сорока лет, – отвечайте искренно, честно? Я вам скажу, кто живет: дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу, всем этим почтенным старцам, всем этим сребровласым и благоухающим старцам! Всему свету в глаза скажу!» (Достоевский, «Человек из подполья»)

Достоевский часто в ироническом свете являет своих стариков – все эти в высшей степени нелепые дядюшки из собственных снов, Фомы Фомичи, жалко выродившиеся властители дум Верховенские. Может быть, оттого, что не любил распада, был всеми силами враждебен ему, тем более, – распаду человека. Он был по натуре, видимо, предельно антираспадочен – потому так много у него о разложении. Описывая распад, вы его некоторым образом укрощаете и умертвляете. Заклинаете смертью. Сам Достоевский не распробовал сполна свою – физическую – старость, Бог миловал его познать свой распад до конца (хотя какой бы писатель не отдал полжизни только за то, чтобы во всех подробностях пронаблюдать собственную смерть и потом описать ее со всем блеском, который ему присущ, без промедленья отдав Богу душу в момент завершенья труда). Невозможно поверить, но он умер «молодым», в 59 не раскрывшихся в полную силу лет, средняя продолжительность жизни мужчин в современной России, возраст сегодняшних – на 2002 год – Эдички и Саши Соколова, кажущихся раскрашенными мальчишками. А всегда представал глубоким старцем (вот старцы у него – поистине старики!), даже в «Белых ночах», двадцатипятилетних. Достоевский, как все великие, был человеком с врожденной старостью. Более того, старость, равная жизни, старость протяжением в жизнь – одно из условий великости. По крайней мере, великости души – она изначально должна быть старческа, то есть быть намного древнее и намного больше самого человека. В противном случае все слова и поступки будут жидковаты даже в солидные годы; преклонные годы тут не помощники. Без заложенной в него с допамятных лет старости человек нередко – одно большое ничто, через которое, как сквозь решето, впечатления мира сквозят не задерживаясь.

В литературе девятнадцатого века частенько мелькают 45-летние старичочки. Понятно, что иные были представления о жизненных границах, о зрелости, о возможностях человека в пределах отпущенного ему срока, да и самый срок был зачастую краток. (Чем короче жизнь, тем – в противовес – укрупненно-зрелее, как бы внушительнее летами должен представать человек.)

Но не только это. Люди не стеснялись своего старения, а главное, не отказывались (как теперь отказываются и от новорожденных) от собственной старости, даже если ее ощущение приходило очень рано. Не имели такой распространенной сейчас дурной привычки – отказываться; мало того, прихвастывали преклонностью и окончательностью, обожали напускать на себя утомленную, разочарованную во всем пожиловитость, которая, однако, каким-то обратным действием вносила в бытование своеобразный, соблазняющий нас ныне комфорт, заразительно уютный покой (вспомним с благодарностью всех этих с удовольствием облачающихся досрочно в халаты и днями напролет поваливающихся на диванах – под сладострастные вздохи о погибшей жизни – отставных господ различных мастей; от одного легкого воспоминания их бесконечных лежаний завидно становится и хочется так же куда-нибудь увалиться бессрочно). И несли они старость достойно и *внятно*, пусть нередко она и была преждевременной. Несли старость как гордую, трудно выслуженную драгоценность, не умаляемую ни при каких обстоятельствах: это свой, кровный крест, и его нести именно тебе, не смея перекладывать на чьи-то другие плечи.

В наши времена, как ни странно, мелькает множество ослепительно ухоженных 30-летних всклень нажившихся скрытненьких старичишек с уворованной у кого-то старостью. Они всё знают, всем пренебрегают, учить их ничему не надо, они сами любого научат чему-нибудь и как-нибудь, одним непрошибаемым своим высокомерием, одним дурацким самомнением, которые заменяют им всякую умность и мудрость, в том числе и будущую, которой не будет. А пожилые, наоборот, вроде прояснели возрастом, отреклись от собственной вышедшей из моды старости, чтобы погулять еще без тяжести лет, отодвинув как можно дальше неприглядный и презираемый возраст. Сколько порхает сейчас поддельных 70-летних разлюли парней и девиц, особенно западной ловкой штамповки (импортный вариант легковесного, рекламно-прикладного старчества как-то чересчур ярко внушает отвращение; наши вечно нескладные и угловатые старики все-таки плохо умеют прятать на лицах прошлые русские беды: выглядит-выглядит, круглится-круглится орлом, да вдруг и всхлипнет некстати, на самом ненужном месте). И легкость мысли необычайная, точно они навеки семнадцатилетние, с семнадцатилетним ветерком и приветом в голове – порхучая внешность накладывает порхучие свои обязательства. Даже как-то неприлично на них бывает глядеть, сквозь силу совести и смотришь, как если бы люди оказались лишены самого в них существенного, чего никоим образом лишаться нельзя, и вместо полного, неукраденного человека ходит нелепо сверкающая голизной ущербина-пустота, заискивающе-глуповато, всезубо скалится, отыскивая себе броско выглядящей молодости и знаков одобрения за то, что держится она блистательным молодцом. Разумеется, никому не в сладость стареть, но зачем же пренебрегать своим естественным, годами достигнутым состоянием, самым естественным из естественнейших, пусть оно и будет жалкая и убогая дряхлость. Что естественно, то не безобразно, любили говаривать раньше. Что не искусственно, то и безобразно, – уныло переиначивается эта присказка на современный лад, искривленная, вывернутая наизнанку затхлым духом безвременного этого и легко запропащающего времени, из*ничто*жающего даже такую неоспоримую ценность, как смерть.

Полагаю, достойнее всего на свете выглядеть обыкновенным стариком, который нимало не боится своих дальних и неуправляемых уже лет и глубоко, до потаенного презренья, равнодушен к дряхлости и прочей внешней обстановке своей все-таки несшатнувшейся личности. Самый достойный образ, какой только может в мире найтись: изборожденный морщинами человек на крутом склоне собственных лет, в грустном и блеклом пейзаже уходящей в безмерную даль жизни, краски размыты, местами основательно смазанны, холст кое-где грубо попран то ли временем, то ли мышами – не разобрать да и не имеет это уже никакого значения... Достаточно посмотреть на поздние портреты Толстого (какой блистательно дряхлой старости был старик!), чтоб тебе стало сразу же самодостаточно. До последней частицы естественная, мужественная и самоуверенная позднота времени, которая знает себе точную и богатую цену. Смутный оклик до предела вызревших лет, отдавших дух свой сполна. Вот преклонно-непреклонный Толстой. Вот веющая всем земным старость-страсть, исподволь насыщающая неземным, с которым только она одна может любовно граничить, передавая и нам приязнь всего неземного.

В следующий миг я не вижу уже минуту. Я вдруг слеп стал на время, и целая минута во мне сгинула неощутимо. Из зияний времени я состою, из отсутствий дней и часов. Зияния времени – вот мой белок, из которого соткан я наугад чьей-то божественною рукою.

Век назад читающая публика с нетерпением ждала нового рассказа Чехова. Теперь в ожиданиях – голубое сало. Хамкают его на лету, как бродяжные собачки, послушные и преголодные, у которых верность в глазах от скитаний сделалась глупостью и дальнейшим броженьем ума.

Ввести бы единицу измерения качества человека. И качества нации. Один, скажем, глуп. Или, может быть, один сор. Интересно, на каком месте окажутся наши братья по разуму американцы? Неужели сразу после затравленных, но не сломленных скотоводческими неудачами зулусов? Но в таком случае они высоко продвинулись по шаткой и ненадежной цивилизационной лестнице, делают решительные успехи. Будем ждать их в оркестре народов.

Никто даже в самых мрачных прогнозах, в самых дурных своих снах золотых не отважился бы предугадать, что человек будет с радостью невероятной, с воодушевленьем великим разодушевляться в практичное, четкое животное.

Большинству людей литература ведь только вредит – она мешает им жить растительно и глупо. Теперь всякий первостатейный дебил знает про свою замечательную личность цену больше ценности самого замечательного писателя – он дебилу не указ, сей лихой и обычно громкий товарищ почище классика сумеет распорядиться своими душевными потемками. И укажет классику подходящее место средь задворок общества, так как от дебила пляшем, как от печки, от его величества дебила. И никто одернуть его не посмеет: клиент всегда прав, а свобода личности и мнений – ценность наивысшая.

Не хотящих насытиться – не насытишь.

Пустопорожне двигающемуся по жизни большинству книги прямо-таки противопоказаны. Ближе расстояния вытянутой руки к ним лучше не подпускать ничего буквяного, иначе жди взрыва негодования и стихийных бунтов. Некоторыми – слегка читавшими некогда – людьми книги стали восприниматься как лукавые, с подловатинкой существа, которые много наобещали и красиво обманули. Поэтому к ним враждебное, как бы оскорбленно-злобное отношение: вралИ, которые только впустую отнимали время, сбивали с толку и еще сколько угодно могут сбить и навредить. Книги – та область, где преувеличение вымысла существует не безобидно, а подстрекающе, вымысел способен сгубить и ту на первый погляд крохотную, но крепкую, туполобую правду, на которой держится растительная жизнь; они источают для многих опасность. Навоз плодит не просто навоз, но имеет склонность к деградации в последующих навозных поколениях. Где презирают книги и с уничтожающей насмешкой сторонятся их, там обязательно присутствует признак самого отвратительного, самого подлого навоза.

Сразу видно не читающих книг людей. Глазки плавающие, мыслишки бегающие, зыбкие, неукорененные. Нет в мире скучнее и постылей занятия, чем общаться с такими людьми. Они глубоко бессловесны. Это раса такая – нечитающие. Папуасы невостребованного, напрасного ума. Существа без объемных измерений. Необработанные, дикой данности люди без оправы и без огранки. Они так безвкусны, пресны, так не просоленны никаким смыслом, знакомств с ними хватает на один-единственный день – назавтра же они начинают бессмысленно повторяться в своей бедности и несостоятельности. Их с нетерпеньем хочется сменить хотя бы на какой-нибудь глянцевый журнал иль на совсем пропащий уж детектив.

Рейтинг от идиота нынче – все равно что шуба с царского плеча. Телевидение – наше коллективное идиотичное и причем вполне сознательное.

Нужно уже спрашиваться у идиота, чтобы быть правильно понятым и не нелепым. Нужно уже в обязательном порядке отпрашиваться у него, чтобы сделать в сторону свой единственный, свой

немассовый шаг. В наши времена возникла тяжелейшая, глубочайшая из несвобод – несвобода от ничтожеств и пошлости их бессмертной. Эти ничтожества уж и собственной смерти не нужны, в великую ей тягость, – ибо их смерть (как и всякая смерть будучи вещью весьма положительной) намного честнее, умнее и уместнее их самих.

В знак великого национального праздника – 42-летия со дня рождения К. Эрнста Путин в порыве теплого чувства сцепил ему дошлую руку в разгосударствленном прикосновении. Очень прочувствованная возникла негосударственная картина. Эрнст млел в высокоподанном прикосновении. К концу рукопожатья весь изомлел. Осталась лишь лужица Эрнста, невнятная и небольшая. Ее мы рассматриваем по телевизору.

Откуда этот ужасный грохот и скрежет? Куда и откуда это падение?

Это время во мне рухнуло, и я стал неприкаянным, враз опустевшим человеком, с которого не то что брать четкий и светлый пример или какой еще прок подражания, – его и пожалеть-то брезгливо, отвратно, только себя марать такой жалостью: а вот нечего было, долбаные вы творцы, из себя много корчить!

Из толпы теперь сплошь состоит вся страна. Нет нигде ныне места, где не было бы сволочной этой толпы, – она все собой перемазала, грубо размалевала, не оставив ни разъединственного отдохновенного, уединенного уголочка. Она есть даже там, где ее нет. Толпа затопила всякую душу, заполонила всякое сокровение, поскольку она, как выраженное ярко ничто, виртуальна. (Ничто – самое виртуальное в мире явление.) Толпа – знание самонадеянное, всё беззнанное. Толпа – знание незаконное, сплошь вороватое.

Я звук пуст. Я звук нем. Я звук нищ. Это обезмолвление страшнее всех предыдущих исторических писательских немот. Даже Освенцим, даже изобретение атомной бомбы, которая отняла у людей последнюю вечность, не заставили писателей так сильно, так немотно молчать. Молчать, – даже когда они тщатся что-то выкрикнуть во всю молвь своей небывало задичавшей души. Нам никогда не вернуться. Нам никуда не вернуться. Нам только остается, как неизбежность, как безнадежность, крепко и непокорно быть хоть на чуточку самими собою. Пусть один хотя б раз за нескончаемо длинный и бесполезный день. Пусть одно лишь мгновение. Это будет существенным нашим сопротивлением, которое, возможно, что-то исправит, хотя бы на крохотку не допустит.

Что их всех сближает, сочинителей чтива, авторов литпроектов и проч.? Отсутствие всякого страха перед словом, которое таит немалые вовсе угрозы. Нет богобоязненности пред пречистым и светлым Богом слова. За каждым – каким бы оно неказистым ни выглядело – словом скрывается неведомая засада, и нужно сделать затяжную, очень пустую и странную паузу, собраться с тревожным духом, прежде чем рискнуть ринуться с жутью на предстоящее слово и ощутить хлесткую боль ответного его удара, боль сопротивления, из которого еще неизвестно кому выйти живым. Я, например, не всегда остаюсь в живых после этого очень тесного, мертвой хватки соприкосновенья со словом – существом причудливых весьма, непознаваемых качеств и непредсказуемого норова. Оно отчаянно борется за свою жизнь и стремится выскользнуть от тебя невредимым, жаля коротко, точно, чтобы обрести неповрежденную свободу, остаться в самом себе первозданным – до той запредельно изумительной чистоты, в которой уже проглядывается, как в проеме летних облаков, изначальный, ничуть не изменившийся в людских передрягах Бог.

Бог, не затененный еще людской жутью и мутью.

Бог, еще не разложившийся, не ниспавший до унылой и бесплодной, до бескрайней равнины людей.

Пронзительно чистый, прозрачный Бог проникновенно чистого, прозрачного слова. Бог, каким Он, наверно, еще кое-где, кое-когда бывает... Но как найти эти места? Они здешни ли?

Жить ради вечности? (И что такое вообще – жить ради вечности? Как, во что материализовать это безумное, верно, стремление?)

Но подавляющему большинству народонаселения никакая вечность не доступна, да и нет до нее вовсе дела, – и в малость несоизмеримы с вечностью. Она им ничуть не светит и не грозит. Им абсолютно нечем ответить вечности, перекинуться с ней хотя б в двух словах. Нечем ни в чем остаться, укрепиться поверх своих убегающих лет. Для них не откроется будущего за их все прекращающей и оттого жалкой, никчемной смертью.

Я долго многого не понимал. Жена не хотела никакой вечности-тяжести, вечности-тягомотины, ведь это совершенно отчужденное от нее явление, от которого лучше и еще посторониться, с запасом на безопасность, с которым неизвестно на каком языке изъясняться – здесь любой язык сразу нем и целиком из утрат. А мне казалось, что она выглядит без утонченных украшений вечности скучной, примельканной, и вечно невзрачной, и застарело будничной, точно присыпана серой неотмываемой пыльцой уныло стершегося измертвелого времени.

Я повинен в том, что не умел видеть бедную жену мою без вечности, просто естественно такой, какой она есть, вернее – была, да вся порастерялась, и какой она по-своему преданно и необыкновенно надежно любила меня – как никто-никто никогда. С непоправимым опозданием я уяснил, что именно это, лишь это было и главным, и вечным. Другого вечного мне вряд ли так уж сильно было нужно, вряд ли так страстно хотелось...

Без чувства самоуважения и остро сознаваемой незаменимости того, что он делает и что он есть в жизни, ни один человек сносно жить не способен, будь ты хоть говночистом. Вот даже и здесь, в коробящем и непрелестью отвращающем слове, сквозит ободрительное и освежительное – «чист», ты ведь все-таки чист!

О, как нельзя никого лишать этого самоуважения, этого зачастую ложного чувства самоценности! Внутри каждого человека должна быть гордая собой каморка, пусть и крохотная, едва освещенная закопченной светильней, куда человек мог бы в любой уязвленный момент возвратиться и сколь угодно насладиться, поутешаться собой, мирно себе поглядывая во внутреннее окошечко на нестихающий личный закат, любезно и согревающе глядящий ответно. Если она отсутствует, если она уничтожена, эта пусть бы и глубоко в нем запропащенная каморка, то и человек вытеснен, по сути, из собственной загулявшей по отдельности жизни, изгнан ею и не находит себе приличествующего места; он потихоньку бомжует в себе, питается дрянью приватной, ночует средь свалок своих задушевных, имея, возможно, вполне респектабельную внешность и укрупненную должность; он со своей стороны, изнутри пропадать начинает, минуя внешние, сторонние свои исчезания, которые для подлинных исчезновений уже и не нужны, только тратить напрасно пропажу – материю редкостную и драгоценную.

Лишить кого бы то либо самоуважения – все равно что вырвать чеку у гранаты: человек обязательно взорвется. А он очень и очень осколочен, проникающе ранящ. Радиус поражения разорвавшегося человека исчислению не подлежит.

У некоторой среднедолжностной женщины самоуважение страдальчески возрастало духом противоречия по мере того как ее не менее среднедолжностной муж пытался принизить всяческую ее бурноватую деятельность, обычно сводя круговертью нелегкой достигаемые результаты к ничего не значащей, лишь себя самое насыщающей мельтешне, достойной беспощадной усмешки. Это была огромная его жизненная ошибка – не прозревать в ее пустоте ничего сколь-нибудь значащего и попрекать ее неплодовитою пустотой, не упуская ни случая. Из той пустоты разворошенной начинали тогда с нечеловеческой силой расти новые призраки ее несмирившихся дутых Я. Ну а с ними, взбесившимися, общаться было гораздо сложнее, чем с ее реальным, по временам адекватненьким Я. Ему пришлось иметь дело с ее именными призраками, а это дело нешуточное. Он разбередил опасное и глоткое чудовище ее мнимых, ненасытных и неистощимых Я-Я; женщина вконец потеряла представление о собственной жизни, безнадежно заплутав меж своих призраков, на «ау» отвечающих со многих и даже лишних сторон.

И так они, наполняясь непрожитой жизнью, со временем оба опризрачневели, что однажды, через пару, от силы через троечку лет после развода, встретившись случайно на случайной и не

признавшей даже себя улице, друг друга не узнали столь сильно, что устрашилась не робкого десятка листва, лепетавшая наугад случайную и печальную музыку лета, смутился мимошедший по зеленым делам тополь, обычно пенсионно степенный, невозмутимый, и онемел до мозга костей тротуар, хоть бесчувствен был и слабословесен. Так, вроде бы чуть тепленькая, слабо дохнувшая дальней какой-то знакомостью волна прошествовала рядом, да и все про все. И выдохлась тут же эта залетная память из к тому времени уже новых голов, их просквознув незатронуто, что на память совсем не похоже – приличная память так себя никогда не ведет.

И никто из двоих, чуть-чуть прежних, не догадался, что это рядом с каждым из них, даже успев слегка прикоснуться, прошла былая их жизнь, несмело и печально им улыбнувшись, но они ничего не заметили, и она, смутившись, поскорее минула их, с поспешностью скомкав прощанье. Теперь уж в последний раз им повстречалась она. Зачем ей, скажите на милость, возвращаться к таким бессобственным людям? Это совсем-совсем лишнее, отчаянно пустое. Они не принимают ее возвратной приязни и даже не замечают ее, все утраты заочно утратив, подчистую забыв, что она когда-то была, чем-то для них в ловких призраках очень явственно, полно существовала.

Теряет смысл говорить о нравственных смещениях, когда налицо глобальный обвал человека. Как-то из этого обвала будут выкарабкиваться дальнейшие годы, поврежденные со всей очевидностью массовыми людскими обломками? Уже зияет и зрит из будущего какой-то новый нечеловек. Зияет и зрит. Зрит и зияет. Одичалый зрак пустоты молчит неутомимо и никогда-никогда, по-видимому, не сморгнет.

Если снизойдет удача, тебе не преминут присниться целительной светлости сны. Бесшумные, они явятся в белых нестрогих халатах, ровной стайкой встанут у изголовья, положат свои невесомые руки на тяготу сердца, на горячечку от происшествий взбалмошной головы, огладят выключенные на ночь в бессветность напрасно выпуклые глаза, усталые от пустоватых видений, сбежавшие в разноцветье и разнотравье поляны – светлобегущей ветровой поляны июня. И все будет тогда хорошо, далеко. И будет так долго, прекрасно долго – во все тихое, что-то легкое празднующее пространство снов дальновидных, раскинувшихся средь ночи на зыбкую и хрупкую вечность. На кротко, сторожко дремлющую вечность, в расслабленьи издающую какие-то младенчески невнятные звуки, которые не истолковать никому. Вот и встану на склоне ночи побаюкать вечность, а то к утру она вся изревется, надорвет слабоватый пока от незаживленья пупок – эта вечность нынешней ночью родилась, в четверть часа второго. Обморок моего сна ее родитель, горячечно заботливый и хлопотливый.

Скажите, пожалуйста, куда впадают метафизические реки? Чуть где-то помешкав и ощутимо божественно повременив, неизменно отвечают: справьтесь у Кортасара. Он ответствен за впадание этих рек. Ныне Кортасар где-то назначен управителем тех млечно текущих, млечно отсутствующих рек, впадающих в кроткое никуда, под милым и точным названием антиреки. Они текут, исторгаются в небеса, признавая лишь в них потребный чувствами их океан, а земные обширные воды им уже и не воды. Наших океанов реки те не узнаЮт.

Впрочем, факты наши чрезмерно воздушны и улетевши.

И занялся основательно времяпрепровождением. Так время и убил до смерти. Дальше наугад длился, одним стремленьем шустрого во всех отношеньях физиологического процесса, по точности, правда, не уступающего песочным часам.

Это роман о значимости слова. Роман со словом. Это не психологический роман, а роман о психологии слова в экстремальных ситуациях любви и отчаянья.

Он только внешне большой и пышный, а по сути ужасно маленький, просто жалкая кроха. В нем так и проглядывает то здесь, то там отъявленная микроскопичность. В нем слишком заметно

самоубийственное стремление умалиться в незримость и уничтожиться, как бы перевоплотиться во что-то иное, что даже мысли никакой не доступно, не говоря о том, чтобы поймать что-нибудь грубым уловом взгляда. Так называемые книги этой прозе оказались совсем ни к чему – насылаемые тем романом исчезновения не вместить и в премногие тома, щегольски пахнущие типографской краской, соблазняющие глянцем страниц. Когда роман все же попытались издать, он немедленно исчез.

С каждым новым сверхпрозрачным романом тот писатель призраков как будто выползал из страшного, страшно захудалого подполья. Вернее, из подпольного поражения. Тут подделки под призраки никогда не бывало. Погибать любил он реально.

Георгий Семенов обладал редкой, как ни странно, для русского писателя способностью – писать прелестную, проникновенную русскую прозу. Сейчас, например, наши перепродвинувшиеся писатели ваяют, взамен истрадиционившихся англичан, неплохую английскую прозу на среднестатистический манер и заметно переводную. Там есть о чем поговорить. Но вне ее – что сказать, каким светом нечаянно вскрикнуть?

Он был настолько творческий человек, что пил не запоями, а сразу могущественными наплывами, которые сродни вдохновению и неотличимы от него по некоторым тактико-техническим характеристикам. Он будто вспоминал что-то сверхнеотложное, как реализация замысла, и предавался воспоминанию со всей страстью кипучей и неукротимой натуры, пока под капельницей в тихой больничке воспоминание не возвращалось наконец к реальной жизни и не обнаруживало себя, мало-помалу опомнившись, в крайне замызганном и упадочном виде, с болящей по всему телу квадратною головой.

Вина неугасимая, как лампада.
Весна неугасимая, как вина.

Был так несвободен, так утеснен собой, что боялся злиться, – а вдруг на него рассердятся и сделают о нем нелицеприятные выводы. Боялся злиться даже в принципиально злостной ситуации, когда не показать своего праведного гнева значило обнаружить свою бесхребетность. А все потому, что трусил себя лично, был в жутковатой и до конца не понятной зависимости от себя самого утаенного, заокольного. А он-то полагал (и находил в тех мыслях спасение от пространно раскинувшейся в нем трусости), что в основном зависит от внешних мнений, – так удобнее было не знать себя и пореже встречаться с собой – с той ускользающе крошечной, но неотъемлемой и неуничтожимой горьковизной, которая не приносила ничего, кроме едкого огорчения и сминающей массы унынья. Увы, оказывается, он давно и безвозвратно предался в рабство тому лишь помелькивающему, очень прерывистому человеку, который смутно и весьма приблизительно назывался им самим. Но даже веселое прежде, некогда полное игривой и живной силы имя его стерлось и потускнело, оно сумело как-то выйти из всех возможных имен, веленьем времени сделавшись похожим на отслужившую надобность ветошь.

По имени ныне уж никто не смог бы узнать его, признать за прошлую личность, хоть внешне мало он и не старо вроде бы преобразился. Лишь жена (как самое целое и неизменное прошлое, поддающееся небольшим убавлениям), лишь жена, да и то по некритичной старой привычке, инерционно считала, что это, похоже, все-таки ее муж, пусть он все чаще казался ей вторым или третьим или даже как бы массовым мужем, очень мелко распыленным в совместном веденьи хозяйства, – несмотря на то что они побытовали единственным браком двадцать с лишечком лет и пора было б тысячи раз привыкнуть к нему поконкретнее и точнее. Но словно и не к чему вовсе привыкнуть, приложиться терпеньем, поскольку безналичествовал сам предмет претерпеванья: рассыпанный в буднях муж, а равно и не муж, легче легкого продолжал ускользать, исполна обнуляясь, в трусливое свое и в чем-то спасительное отсутствие, в ровную – глаже зеркальной повер-

хности – сверхнеприметную свою уничтоженность, ставшую с течением времени добровольно избранным им образом жизни, и абсолютно оказывался неуловим. Да он и сам-то уже не знал, ни единым чувством не ведал, кто же он есть в буквальной действительности, какая же укреплявшая бы твердь неповторимого личного человека в нем мало-мальски осталась, и только воровато назывался при случае своим прежним запинавшимся и на глазах рассыпавшимся именем, которое слышалось оговоркой и от упоминанья которого протестующе воротило все его вечно беглое какое-то нутро, невесть где и как избегавшее этого во всех других отношениях достойного человека, имеющего немалую социальную значимость и солидную выслугу лет.

Из утрат – сколь бы ни были они истощимы и преодолимы – никогда не соорудить удачу. Что-то утратами навсегда поражено, смертельно иссквожено. Удаче уж не подступиться – трупики надежд препятствие из неодолимых.

Или это не так? Да, это не должно быть так. Иначе быть жизни удачно сотворенным адом, настежь открытым для всех и каждого.

Вступил в возраст и в такую полосу потерь («...мы входим в полосу потерь, как входят в море...» – Г. Поженян), когда нужно во что бы то ни было сил уметь превращать недостатки, ущербы в достоинства, когда из обильных потерь следует извлекать чем только ни умудренные непоражения, а беды и тяготы с достоинством принимать не за удары судьбы (сделаем допущение: их не бывает в природе вещей), а за непроясненные пока оповещения предстоящего многого света.

Прилежно учусь в ежедневности радостям, крохотным, но лучезарным улыбкам огромного бытия, которых, может быть, не замечаешь в текущей жизни, но их теперь легко позаимствовать у довольно-таки ко мне доброскло нных огорчений, зная, что они не бесконечны и вслед им настанет нечто менее огорчительное, а вспышками и – расчудесное. Нет худа без добра! И в заунывных, самых, кажется, беспросветных душевных ненастьях есть свои маленькие радости, нужно только всегда помнить об этом и не отчаиваться, не паниковать, действием хотя бы такой памяти не давать себе приходить в упадок, сделаться пошатновением и запустением личным, которое ждет не дождется, чтобы ты пришел – с поклонной к нему и повинной. И уметь поймать себя, словно своенравно порхающую бабочку, в счастливом мгновении. По возможности в нем застыть, оцепенеть. После долгих превращений и приключений стать наконец покойнейшим янтарем, выброшенным древней волной из пучин на берег до последней частицы незнакомого моря, лежащего в косых лучах заходящего солнца. Через тысячу лет прохожий тамошнего времени найдет этот приятный на ощупь голышок янтаря и увидит, не веря своим – отлученным от меня на тысячелетье – глазам, что я в нем еще благостно сижу, не без удобства приняв чье-то инородное тельце, задумавшись над своим так и не успевшим истечь мгновением, над своей так и застывшей навеки, неразрешенной и непродуманной мыслью. О чем будет она, та янтарная мысль? Наверное, о таком простом, что оно не может не быть вечным.

Обогнали Россию по всем статьям, – говорят.

На сколько мы отстали от Запада? Навсегда! – говорят.

Но говорю:

Мой полуденный покой, мое славное летнее утро, мое русское небо, мой как бы бродячий садик с тысячами перебежчиков на твою сторону, соглядатаев, солюбезников, – садик-рощу полубезумную, с косматым зеленым ликом (как ясно, открыто смотрим мы с деревьями в лица друг другу!), – не обгонишь это все, не обгонишь. Ну, испробуйте опередить. Что-то ничто не опережается, ведь правда? Лучше садитесь рядышком на садовую скамеечку, длинный счет воробьям поведем и враз обступившим нас земным и заоблачным также улыбкам.

Ничему не обогнать простое светлое чувство во мне. И ничего не нужно ему взамен, оно вмещает и объемлет весь мир. Ликовала бы потихоньку, чуть печально мерцала радость – неспешного дления дня, чистой минуты, прямодушных людей, склоненного в закат вечера и вновь прямодушных, но теперь уже – звезд. Никого никогда не следует обгонять, хоть бы и замешкавшихся

с былинкою муравьев (с их неслышнолапостью – опять Поженян мне подшепнул, не утерпел; воспоминание, самоизвлекающееся легко из любого, даже самого затененного, уголка сентября 1977 года), – вот мирный тихий закон.

А они, обгоняющие, пусть бегут, суматошно куда-то бегут. Им неведомо обычно никакое прибытие. Их нельзя останавливать – мыслящий покой им смертелен. Они стремятся к заждавшимся их повсюду разгоряченным, нетерпеливым целям и прибегают наконец к чаемой пустоте долгожданной, которой только того и надо: эта известная, прославленная на весь мир хищница любит попитаться запыхавшейся порожней человечинкой. Лучшего лакомства она и придумать не может.

Я из тех людей, кого разлука не примиряет, не лечит. Только отторженней становлюсь, заблудившись в тернистых прощаньях.

Я человек не зло-, а тяжелопамятный.

Памятный тяжеловес.

«Люди не могли бы жить, если боги не дали бы им дара забвения». Мне боги, увы, дали мало забвения и целую громаду самой разнообразной – на любой привередливый вкус – смерти. Ее – хоть отбавляй, да как отбавишь, она в меня до неощутимых пределов моих проросла. Благодаря неотлучному противостоянию с ней, ежедневному кропотливому вживанию в нее, я столь отчетливо, чутко и ясно живу. Что делал бы я и как жил, если бы не было этой всесущей во мне, всё спасающей смерти-сообщницы? Да и жил ли бы я тогда, невзирая на то, что как будто б и жил?

...Костяной звук от соприкосновения слов в ее запоздалом, в ее опоздавшем на два живых года письме. Мертвый оклик ничейных словесных костей. Нет, не письмо, это совсем не письмо пришло – скелет пришел. Угрюмо уставился в одну точку и захватнически небытийно заполнил вздрогнувшую мою комнату, так убийственно не готовую в пропащий этот момент к самой простой, к самой внезапной и к самой желанной – к самой жизненной смерти.

Эта женщина обладала каким-то вампирическим свойством омрачать время ожидания ее.

Известие было столь ошеломляющим и небывалым, что с ним вдруг случилась вся жизнь целиком. Вся жизнь его – как возвратно, так и безвозвратно.

А с этим категорически безвестным человеком жизнь так и не случилась на протяжении девяноста с избыточком лет. Всякий порядочный случай подменяла, будто в насмешку, вязкая, безразмерная скука, тягостный зевок утоплял в себе последние шевеления жизни. Правда, было иногда слабо ползущее желание – осенний паук – чего-то этак слегка пожить – как чего-то поесть, даже непонятно, кисленького ли иль солененького, а может, просто по ливерным бабам или святого во всех случьях пивка.

Со мною вот что происходит... Ой, простите, это уже было. Начнем, пожалуй, вот как по-новому: со мною жизнь то резко случается, хлынув гиблым обвалом и где-то в отдалении сломя голову побежав, восстрекотав, на все мыслимое пространство затопоча, то столь же резко не случается, где-то намертво застопорив и онемев не менее оглушающе, чем при своих громыхающих топотах, предавая меня тупой, вконец обессмысливающей тягомотине, и не понять хоть бы и приблизительно закономерности этих изматывающих, хитроумных в тайне глубокой чередований. Только и ясно, чему и яснеть-то вовсе не надо бы: чаще всего сиди себе мертвеньким да, весь вне себя от нетерпения, жди краткосрочного этого обвала, после которого начинается та посторонняя запредельная беготня и топотня, от которых устаешь хуже смерти, даже самой несносной и трудоемкой.

А самому мне, в порядке самостоятельности и небольшой личной энтропии, жизнь ничуть не позволяет случиться в собственной жизни или хотя бы присниться порхаючи в спонтанных,

льющихся наугад дивных снах, полуснах, в четвертушках взымчиво чутких и легких дремот! Вот же вредина какая препятственная, воспретительная! Оскорбительно такое недоверие ко мне моей собственной явно зарвавшейся, излепетавшейся в тлен жизни. Да чего это она возомнила за собой право распоряжаться мной и осколками моей случайно упавшей с ночного столика судьбы (впотьмах всем медведем полез за очками записать пробегавшую в голове мимо фразу, нечаянно задел поблизости положенную угловато хрустальную судьбу, уронил, естественно, вдрызг, волк позорный)?! Чего это она себе позволяет?! Я ведь вот возьму, жизнь, да и откажусь от тебя, если будешь себя так дальше вести. Протестую всеми неизношенными и неразбитыми остатками подпольного сердца, всеми в гроб еще не сведенными мозговыми извилинами и не устану всей своей неустанностью, всей беспрестанностью апеллировать к падкому на мою душу мировому сообществу.

Пусть сей же час мою судьбу, вернее ее уцелевшие после ночного падения скромные остатки, все оприходованные и опротоколированные до мельчайшей частицы осколки, припишут под защиту ЮНЕСКО и распоряжаются ими по высоковидному усмотрению этой благородной организации. Или уж, на худой конец, пусть отошлют мои хрустальные дребезги в Америку ближайшим нарочным – на гранты и на прочее содержание благотворительных фондов, может, моя судьба помягчеет и раздобреет на вольных демократических харчах и запоет совсем не ту песню, надеемся, не слишком отпугивающую и не очень дурную, какие любила поваплivать прежде в припадках лихой отсебятины. Так и быть, отпишу, на всякий пожарный, свою судьбу и Америке, чтоб не дулась потом на меня и не жаловалась. У меня судеб много, причем некоторые дармовые, одну на дороге случайно нашел, можно ими иной раз и поразбрасываться, шикануть во всю мочь. Чего жалеть да жаться-то? – Однова живем!

Самое отвратное в немножко разбогатевших с какого-то краю особях – их самодовольная пошлость, которая норовит везде и повсюду, точно ей до всего есть должное дело. Укрепленные и как бы всемерно и всемирно укрупненные деньгами побогатевшие особи так и дышат пышущим самоуважением и пошлостью, позабыв воздушно дышать. Изнутри подпирает почти душевно хорошее денежное чувство, похожее на первую или, в худшем случае, на вторую любовь; третья до денежно крепкого чувства уж никак не дотягивает – слабовата в извивах эмоций и в падкости страсти, все равно что в магазине «Социализм» покупали.

До мелкого безобразия похожи на переевшую обильно скотину. Вот-вот начнет отрыгиваться жвачка из рубцов и книжек (не путать с трепетной и немного святой полиграфической продукцией! книжка поминается здесь в качестве одного из отделов коровьего многочастного желудка, хотя, впрочем, и корову почем зря обижать негоже, корова – животное благородное, утонченное, душевно чистое и вполне достойное своего молока). И последует мерзость пресыщенных вздохов и разочарований. И явится презрительное недовольство всеми ликами жизни, всеми благами чистого, ясного света. Да и бедная, бедная смерть теперь – тьфу, только плюнуть и растереть. Видок у нее на редкость не товарообменный. Без глубоко поработавшей рекламы не взглянешь. Она заблаговременно должна тут почву взрыхлить.

Вот за это и не люблю богачиков, самопроизвольно – как олицетворенье поноса – изрыгающих глупую блажь. Вечно жвачным явленьем портят виды вокруг далеко-далеко – дальше самых далеких окрестностей, дальше всякой мысли о них, глубже сокровенного их проживания. Это мелкие, зловредные гады всех местностей. Обычная саранча людская, насылаемая и насылаемая из степей древности, из кочковатых долин человечьей природы, которая затосковала среди заброшенности в смутном бесплодии.

Они для меня папуасы. Я для них папуас. Взаимное одичание.

Общаюсь с сильно распространенным сейчас юношеством всех поколений на языке бурно протекающих жестов и примитивных, не обладающих уже никакой двусмысленностью телодвижений. Вот это они замечательно понимают. Это им близко. Ты нас достал, значат голубоглазые,

ничем лишним не иссквоженные взоры. В их откровенно бездноватых глазах такая невинная глубина дикости, что бедный дух мой захватывает от сих непознаваемых и перевернутых вверх тормашками бездн. Те пропасти лететь нам – не перелететь.

С диким чувством дикой своей пойманности чувствую себя пред нанизывающими глазами младых поколений неизбежно попавшим в джунгли, отловленным и уже хорошо подготовленным к тому, чтобы быть зажаренным на вертеле. Просьба получше сдобрить специями вот этот вот мой слабый в поваренном отношении кусочек: он особенно дерзко провонял жизнью да к тому ж отдает каким-то полузабытым стихотворением, а это для еды чистая дрянь. Обед может быть испорчен, если не принять превентивные вкусовые меры. Следует из этой части грудинки или задка (самонеразгляжу из небытия, что там филе из меня строит) вырезать со всей аккуратностью горечь стихотворения. Но как это сделать? – стихотворение всю голимую мою говядину пропитало насквозь. А не вырезать ли, наоборот, мою плоть из этого стихотворения, чтобы хоть чего-нибудь из похлебок для тощих обедов сварить? Шашлыка из меня сегодня явно не получается, с шашлыком я подгадил. Слишком много словес вбухал на один кв. сантиметр самоличного мясопродукта. К тому ж провонял залежавшимся во мне еще с позапрошлого века благоухающим вразрез кулинарии самоуправным сонетом, ставшим в усугубление своей вины не кашей, не щами, не пальчики оближешь потрохами, а, видите ли, летучим романсом, прямо приспичило ему немясисто попорхать сквозь века, вместо того, чтобы стоять на столе и аппетитно дымиться, дожидаясь желудка, нежно обволакивающего благоволения пищевого тракта!

Что я почувствовал сегодня, 31 декабря 2008 года в 20 часов 39 неполных минут? Ничего не почувствовал, был, наверно, по обыкновенью бревном. Никакого приближения Нового года, всесторонне потчующего обычно острым волненьем. Вернее, я почувствовал только никакое приближение нового года. Посмотрим, как пойдет мое продвижение чувств в ближайшие три с небольшим часа, самых огромных в году и одновременно самых что ни на есть мимолетных. Они обычно волшебно искажены. А чаще всего просто пьяно (что волшебства не отменяет), подверженные действию с утра начатых и смело в дальнейшем развитых рюмок (но не сегодня, нет, не сегодня; ныне должны они быть чисто волшебны, да вот получились с чего-то совсем никакие).

Ага, в 20 часов 42 минуты чувствую уже значительно больше и преимущественно хорошее. Прогресс пошел налицо... похоже, перекинулся и на тело – зуд ответный сразу начал из него источаться и призывать руку на шелудивое дело. К бою курантов, к самодовольному торжеству восполнившегося двенадцатого часа я дочиста испрогрессирую или останется на год грядущий какая-нибудь крохотная, еле живенькая пустотица?

20 ч. 45 мин. Эксперимент продолжается. Он протекает успешно. Но не будет ли это, как у меня обычно бывает, эксперимент на выживаемость?

Ну-ну... Не умирай же ты прежде смерти. Успеешь еще ее обогнать, время будет – и предостаточно.

20 ч. 47 мин. Решил дать жизни обратный ход. Куда на сей раз причалю? Опять пустился в плавание без весла и любимой до обожания и потрясения шапки. Как всегда, и память дома забыл. Э-хе-хе, старый хрыч, э-хе-хе. И не совестно тебе плыть беспамятным и головоголым? Увы тебе, скажем мы вниз по течению, и это будет реплика в сторону.

20 ч. 01 мин. Я весь ушел вспять. Прямо ринулся сломя голову на попятную. Глядишь, к полуночи домчу до первых признаков своего детства. В первую очередь там заболею ангиной, чтоб беспрепятственно полежать и отдохнуть. А то некогда все да недосуг.

19ч. 59 мин. Уже заплутал. Голова вскружена. Ни туда, ни сюда. Повсюду простираются одни личные, мной закосневшие дебри. Потерял представление о заде и переде. Пойду покурю на кухню в безвременье. Высунул взгляд островидный в окно. Что интересно – город похож на мое мигающее лицо, растилающееся вдаль, многоэтажное. Только в каком году это было? Вот бы вспомнить, да за неимением позабытой дома дамы той – памяти разве что вспомнишь... Ага, все ясней становится и вне Мнемозины: этот город вечно похож на меня в юности. Я тогда был высотными

вечерними домами далеко округ, в октябре. Холодало обычно. Солнца стылый последний румянец тлел, длясь в никуда, в никуда, на домашней стене, превращал ее в неизвестность. Гнездышко света у вечера на краю свил помешанный на умиранье октябрь. Что бы значило это жилье из багряных полос, бездонно взглянувших в твое запределье и отобравших легонько тебя у какого-то тебя, расплывчатого, развеществленного? Какой свет выведется в угасающем этом, завечеревшем крепко гнездовье, едва скравшем свою тоску?

В 19 ч. 55 мин. Я на всех парах проскочил курьерским поездом транзитную свою юность. 35 лет как не бывало, по простоте исчезновения – точно корова языком слизнула. Всего-то семнадцать лет мне осталось до сегодняшней полуночи. Как их растянуть промедлительней, нерастратнее, чтобы хоть здесь-то ничто не кончалось, прекратило бы прекращаться? На промелькнувших в отдаленьи вокзалах стояли потерянные мною заплаканные слова. Навзрыд и в припадке отчаянья махали мне вслед своеобразными платочками, хотя только платочками назывались. Но отчаянье и прощание и без названия были отчаяньем и прощанием – они очень точно были самими собою, их ни с чем не перепутаешь. Они проступали повсюду, не на одних скорбных ликах расставшихся со мной слов – просто лица порой на них не было от огорчения, и зияли тогда добротные, крупно вскормленные исчезновения, которые любят тотчас заполнить всякое отсутствие, чтобы самим всласть покрасоваться, людей посмотреть и себя показать.

19 ч. 51 мин. Продолжаю стремительно убывать. Но не оставляет чувство – весь я не убуду.

Хо-о-х... Еще три часа метаний, пока не сместит меня с должности моей жизни ничего не помнящий, свежерумяный младенчик – 2009 последненулевой этот подкидыш. Сим свидетельствую с почтением глубокоуважаемое время 19 часов и 47 полнокрайних минут. Мне неотвязно кажется почему-то – это святое время. Возможно, самое святое из всех возможных времен, в нем бы и замереть навсегда для лучшей личной сохранности, в целях простого уцелевания. Запомните натвердо это время: 19 часов 47 наполненных до краев минут, оно всенепременно вам когда-нибудь пригодится, понадобится во что бы то ни было, во что бы то ни стало. В особенно трудную, претковенную какую-нибудь минуту, когда не будет хватать самых обычных минут.

Обаяние устаревшей прозы... Обворожительное чувство желтоватых ветхих страниц, неистребимо благоухающих книгой... Как печально все это уходит, отходит... Скоро прежние, погрузневшие от времени тома, сбившись в несвойственную им стаю, куда-то отбудут. Где искать тогда их страну?

Будут ли в небесах, на небесах так старо и преданно благоухающие книги?

Что-то неизъяснимо говорит – обязательно будут. Только прелесть их запаха там другая. Только содержанье иное.

Невыносимо слышать изо дня в день не затронутую мыслью речь, пусто растекающуюся по домам и улицам, по улыбкам и лицам, впадающую во все новые, невесть откуда берущиеся в изобильи пустоты, в ходячие пробелы людей – в пробелы, которые маркируют завершения тех сущностных расстояний, что отделяют нас друг от друга, полные неведомого смысла.

Все с большим числом людей мне становится не о чем говорить.

А в детстве не было человека, с которым бы – не поговорить.

Что ж, между детством и увяданием, в неком зазоре себя, поговорю тихомолком вглубь себя – может, кто там отзовется.

Все глубже уходить в собственное изгнание, все глуше. Со смехом лгущее время там не достанет.

Все меньше становлюсь приемлем посторонним. Почти все люди стали посторонними. Я человек минувшего и утраченного времени, оно отпрянуло ко мне, чуя во мне сочувствие, малую хотя бы защиту и нашу общую радость. И мне хорошо оттого, что мое время опять со мной и никуда не исчезнет до конца моих дней. Мы сегодня пойдем с ним студено гулять вплоть до вече-

ра по сквозным саратовским улицам, прогонявшим мою тоску, наделявшим своею. Неувядаемые мои улицы просквозят меня начисто – чтобы, вернувшись домой, жизнь начать с чистого листа. Он мерцает уже нерастраченной белизной на краю стола.

Это ли не одиночество? Нет, это не одиночество. Это отверженность, выбранная мной добровольно. Моя неуязвимость достигла пределов почти что бессмертия. Счас иль взлечу, иль запою, а может, то и другое вполне одновременно. От винта! И от голоса моего, от вихрящегося, заискрившего внезапным моего голоса!

Во всей нынешней обезличке хотел бы почувствовать массовое, сопротивительное увеличение собственного Я. Наперекор удобной и выгодной стертости, лживым рейтингам, групповым стандартам выдвигаю свое укрупненное непокорное Я – в массовом порядке. Закрою, приткну своим невероятно разросшимся Я эту темную и бездонную пасть пирующей и безнаказанно разбушевавшейся анонимности, эту алчную, бездарную глотку масс. Эк куда, милок, сунулся, вона как тебя понесло! – мало каши ел, не хватит силенок! Конечно, не хватит – но я, знаете ли, еще расту, на сотню личностей в сутки прибавляю обычно, ну а там поглядим, там, где-нибудь около будущего, знаете ли, и посмотрим, чья возьмет. К концу моей жизни нас будет много, очень много, мы до невероятности расплодимся. Возможно, целый миллионный город нас образуется. Не удивлюсь, если возникнет новый Саратов отменно ясных, четких личностей. О, как вам будет слабо хоть что-нибудь несовершенное с нами поделать!

А пока будьте бдительны, граждане прохожие, еще не безвозвратно ставшие прохожими, сплошь одними только прохожими, на себя не похожими. Из чувства былого с вами соседства по человечеству, из чувства прошлой еще чуть живенькой близости предупреждаю: нет ничего опаснее и смертельнее тишайшей и ласковой с виду анонимности масс, коей по глупости да по невежеству дали возглавлять эту слепышку неумную – жизнь. Только и глядите, как бы она вас не цапнула, анонимность, – вот и поминай тогда, как вас звали, да будет ужасно поздно: затрепанного, стертого до дыр именишки от нее не дождешься, которым хотя бы срам свой прикрыть.

Время варваризованного пиршества масс...

Но будем искать потерянный свет. Будем вправлять изломанному свету вывихнутые суставы. Мы все-таки научимся у него быть ясными, дальновидными. Потому что нет во всей вселенной лучшего мудреца, чем простой дневной солнечный свет. Нет лучшего человека на свете, чем солнце всех времен года, выглянувшее невзначай из-за оплаканной уж дождями, неисправимой, висьмя висящей в угрозах тучи. Она давно пошла по непутевой дорожке. Который век уже ходит, так и не дойдя облегчительным дождем до земли.

Бреды прут безглазыми косяками.

Они знают, куда они идут. А еще больше знают – куда им дойти. Бред-то он бред, а цель у него ясная.

Для ума выпало глупое время, и его оскорбляет всяк, кому не лень: ребенка может обидеть каждый. Его оскорбит любая дурная минута, взбалмошная, сама по себе ничего не стоящая. Уму не нужно быть умом, ничто его не обязывает пребывать таковым. А главное, уму вполне разрешено не быть умом, это приветствуется, поощряется. Ему нужно всего-то-навсего быть этим глупым временем, чтобы казаться чем-то наподобие ума, чтобы отдаленно умом выглядеть. Этого и довольно с него.

Ум по-настоящему высоких людей по отношению к деньгам как-то всегда глуповат, туповат. Знать, денюжки не та диковинная материя, куда мысли хочется забредать с вольным сердцем и с видимым удовольствием – вздохнуть беспрепятственным воздухом.

Существует закон внеумственного накопления капитала. Он действует в природе для идиотов и для магнатов, немножко выучившихся из слишком тесных по апартаментам для них идиотов.

Многие преступления проходят незамеченными и даже приветствуемыми оттого, что они легко облекаются в форму благодеяний. Не случайно же дорога в ад вымощена благими намерениями. Ох, не случайно. И не случайна эта изящная, блестящая на всем протяженьи до ада, легко проводящая каждый твой шаг прекрасная вымостка. И не хотел бы по ней идти, да пойдешь, благие намерения сами тебя поведут, как миленького.

Во мне вдруг вспыхнули экстренные чувства, которые, как идиоты толпы, сами не знали, куда меня вести, во что погрузить из жизни всеядной. Ринувшись опрометью чувств, я кинулся горячо в неизвестность, уповая на ее, милой неизвестности, простодушный характер и на легкий, вертлявый случай, в котором всегда много выходов, запасных комнат и мгновенных всяческих избежаний. Из любого случая можно бежать сразу на все четыре стороны. Плюс возможности неба. Если, конечно, умеешь летнуть.

Я и так упорно борюсь с собой, с замечательно полными и законченными недостатками, не даю себе никакого спуску, а тут еще взяли за обыкновение бороться пристрастно с моим бореньем, как бы помогая мне в искоренении моих недостатков. Ну куда это годится – иметь столько пылкой и предвзятой борьбы в непосредственной близости от себя?! Я ведь и всполыхнуть могу, обдать вас пожаром, который горазд уничтожить дотла всякие поползновения на меня, не говоря уж о легковоспламеняющейся этой, вспыхивающей как порох борьбе. И как же тогда мои недостатки? Безнадзорные и борьбы лишенные, ведь они проще простого меня уморят.

Уверяю вас, прохожий есть вещь в высшей степени экзистенциальная. Вещь в себе. Вещи с собой. Иванов, на выход!

Вот у нас всегда так – совсем и не экзистенциально. Либо уж как-то сверхэкзистенциально. Середины не прощупывается. Даже обидно становится за эту самую пропавшую где-то срединную сущностность. Ее кот обычно наплакал.

От тюрьмы – раз, от сумы – два. Еще от чего не упасешься, не убежишь? Ну, от себя, естественно. Хотя это, конечно, под большим сомненьем, – по многу раз и в охотку от себя сбегали и еще не единожды прекрасно сбежим, завив хвост пистолетом и пустив многоцветную пыль в провожающие с укором и печалью всесветной глаза... Даже и не знаешь, от чего бы еще сбежать, прихватив на дорогу тюрьму и суму как вещи по определению нетеряемые и неизбегаемые.

Да, вот еще: от дороги, похоже, никуда не убежишь. И от глаз, зыбко ищущих и стерегущих эту потемочную дорогу. И от ушей, выслушивающих исповеди окрестных опасностей. И от прогорклой любви, что загнала в тупик, не оставив ни следочка дороги, ни полсвета глаз твоих, ни ползвука ушей, отказавшихся видеть и слышать средь нагрянувшей в тебе мертвенной тьмы. Утирай тупиковые слезы попеременно то сумой, то тюрьмой, промокай ноздрю бедным полотном дороги – носового-то платочка, как всегда, не осилил взять в горячке побега...

Непредусмотрительный.

Я тебя люблю.

Этих слов хватит на все. На всю оставшуюся жизнь, еще не прибывшую ни к одному большому желанию, ни к одной большой цели. Уже, наверно, меж тем протекшую.

По крайней мере, должно хватить – бОльших слов мне не велено было никому выдавать даже под видом неприкосновенного запаса.

Я тебя люблю. Это мой потаенный неприкосновенный запас, который я никогда не умру.

Я тебя бесконечно люблю, дальняя моя, неведомая, бескрайне, настежь родная – которую я потерял неизвестно где и когда, которую, наверно, никогда не знал или промельком видел, а может, смотрел слепыми глазами, так и не узнав в тебе ни мали малой тебя. Я тебя продолжаю любить во что бы то ни было, сколько достанет моих чуть лишь дрогнувших, чуть исчезнувших

сил. Я тебя продолжаю... Я чувствую, как я тебя продолжаю... Но на последнее слово нет уже сил. Нет вдруг сил никаких...

Милая интеллигентная дама, из золотых сердец нации:

– Простите, но ведь это ужасно неделикатно: они потесняют человека!

И был ей ответ, из загрубевших сердец нации:

– Нашли чем удивить! И что такое сегодня эта ваша деликатность?! В наше время деликатность – лишь невесомое, совершенно пустячное прикосновение, которое находится за порогом чувствительности любого почти человека. Мы стали толстошкуры и чрезвычайно мясисты, столь тонкие чувства нас уже не берут. Нам, чтобы малость хоть проняло, надо с криком, с хряпом да непременно бодреньким, приводящим в чувства матерком, матушка на матушке и матушкой погоняет, вот тогда десятиэтажно, высоко как нужно. Отойдите, женщина, не мешайте народу жить громко! Вы свою жизнь исшептали, дайте другим вслух пожить.

Мечтательно, как при осматривании луны или моря:

– Круговорот навоза в природе...

– Это вы о чем изволите толковать?

– О смысле человеческой жизни, о чем же еще-то... О смысле человеческой жизни хотел замолвить словечко, да что-то не получилось. Не туда вывернуло. Хотя, может быть, и как раз туда, в самую что ни на есть точку... Эх, знать бы, где упадешь, подстелил бы соломки...

– В смерть упадем. Куда же еще? Вот на нее и следует всю соломку тратить, всю пушистость свою и бархатистость.

– Ну, это уж слишком! Всё какие-то черные, пораженческие мысли у вас, вы прямо мастер черных мыслей и заведомо проигранных сражений! Не-е, я еще при жизни хочу куда-нибудь упасть. В смерть я попАдать успею – там и так века нужно валяться.

– Ну-ну. Дело хозяйское. Счастливо упасть.

«Надо жить будущим, а не прошлым!» – горячие, поспешающие выкрики отовсюду. Но ведь и будущее станет прошлым, поэтому те, кто призывает исповедовать сей лозунг дня, призывают любить несостоявшееся прошлое, то есть то, что впереди, но еще по каким-то причинам не произошло. Будущее – это тоже всегда прошлое, только прикинувшееся, будто бы его не было, будто бы произойти оно еще не сумело. Оно явно хитрит, водит за нос и вокруг пальца – эти прикосновения весьма осязательны.

Будущим как, позвольте спросить, приловчиться жить, если ни в жисть не знаешь, что это такое? Что оно за жилище в не выстроенном еще никем доме, где вполне призрачные окна обессмыслившимся зраком глядят на несуществующий закат?

Нет уж, поживу-ка я во всю силу и во весь размах прошлого. Надежды на него больше, на утвердившееся и одновременно исчезнувшее, бог весть куда ускользнувшее прошлое. Но хотя бы на улетучившийся следок здесь опереться можно, по потерянным побродить садам.

Такое отчаянье настигает на грани засыпания, точно не со временной смертью встретился там, у истока сна, а со своим невозвратимым, разгромленным прошлым. На этом опасном и тревожном пограничье вдруг взбухает, точно выжидающе настораживается вся непоправимость потери прошлого: так никогда больше не будет, как было, с любимыми людьми, облетевшими в никуда, как простая листва, и этих людей, хоть умри, для тебя не будет – вот самый ужас этой минуты. Чуть не задохнешься от пронизывающей в тех беспомощных краях смерти, тут же страхом извергнутый из сна обратно в растерявшееся, точно отданное кому-то другому твое сознание – обездоленное, разоренное, всклень заполненное тоской. И уж не знать тебе, как жить хоть чуточку, хоть на кроху дальше, какими мгновенными силами длить, превозмогать последующую минуту. И стремишься поскорей вновь забыться, уничтожиться сном, невзирая на то что там подстерегают те же

отчаянье и смерть, множественные их из судорог состоящие лики. Но деваться некуда. Надо бы как-то миновать это жуткое пограничье между равно ополчившимися против меня явью и сном и уйти в безмятежные нети поглубже, поглубже, чтоб уже не настигла никакая погоня никакого чувства вон за теми, ну, еще совсем немного, давай же, сумей как-нибудь дотянуть, да-да, вон за теми сплошняком стоящими хмурыми елями сновидений, они не могут не спасти, я сделаюсь для себя самого наконец-то неуязвимым... Осталось всего-то два-три сновидческих шага. Но как же они огромны и неисходимы... Что ни шаг там, то целая жизнь. Что ни метр, то целая вечность.

По радио: «Глядя на будущую жизнь сквозь призму подрастающего поколения». Что-то замечательное все равно есть в этой фразе, несмотря на то что в ней кроется неизгладимым изъяником нечто казенное и прямо межеумочное. Я просто перевел эту фразу в чистые образы – взял, значит, в руки, давно затосковавшие по какому-нибудь тяжелому и необычному предмету, эту самую хрустально прозрачную призму и воззрился через нее с безумно протекающим тем временем любопытством незнамо во что, в белый свет, как в копеечку. Хорошо, однако, развиживается! И моментально вокруг распогодилось, дали прозрачными сделались и летучими, того гляди совсем упорхнут. Этак вот смотреть бы да смотреть, златых гор не надо, рек, полных вина, – на фиг их. И очень многое, прямо скажем, видно. Полсвета и даже чуток побольше уж точно легонько перепадает в мои немеющие в удивленье глаза. И средь зимы, средь этой почти безвестной зимы мне до ясной, светлеющей боли видно, как на том конце света уже бесшумно взрывается тугими бутонами и цветет безмятежно заглохшая в чьих-то последних окрайнах сирень. Попрошу сейчас мне нарвать маленькую охапку. Как разлаписта она, как детски наивна и несмышлена... Как распахнута безоглядно в живое объятие... Но куда ее понесу? Положу у подножья зимы! Я задобрю все-таки эти одноликие метели, подкуплю вниманьем неприступные в своих канцеляриях морозы, не замеченные прежде в коррупции, в воровстве чужих дней.

Удивительное дело – радио: «Убийство связано с финансовыми потоками, проходившими через этого ученого». Речь как будто о невинных особенностях обмена веществ. Но я тут же укрупнил образ заунывного обмена веществ и получил убийственные реки, с мощным говором, рокотом протекающие по ученым джунглям человека. Царство, конечно, небесное, – умную голову всегда жалко, особенно если она заблудилась и куда-то не туда оторвалась.

Заочное ощущение этого человека столь прекрасно, что я боюсь встретиться с ним въяве, обыденность к обыденности. Остерегаюсь за сохранность хрупкой моей, химеричной почти прекрасности, ибо сам человек всегда бывает похуже и чуть повседневнее расчудесной мысли о нем. Человек неизбежно портит всякую мысль о нем. И что за скверное водится за ним свойство? Как же сохранить в приложении к человеку сколь бы то ни было малую, скромную красоту? А сохранить-то ее обязательно надо. Иначе что получится? – один беспрекрасно посверкивающий чем-нибудь человек. Головатая единственно сущность, с какой многомысленной стороны ни коснись.

Не сожалей ни о чем. Ни о чем. Ведь прошлое – лишь физически мертвая глыба куда-то завалившихся лет. Прошлое тебе уже ничего не сможет прибавить. Худо ли, хорошо ли, но оно состоялось, оно теперь неизменно, как застывшая в вечном изваянии посмертная маска.

Но нет – будущее и настоящее скрытными и зачастую безликими силами способны изменять и перекраивать прошлое заново, по своему усмотрению, и неожиданно образуется в прошедшем жизнь, в которой ты как будто бы и не жил, хотя по всем приметам эта жизнь – твоя. Или жил кто-то другой – не ты, в твоей, неоспоримо твоей, но странно не узнаваемой, странно не похожей на тебя жизни. Так вот и живем – постоянно выпрастываясь из собственной жизни и чаще всего не возвращаясь в нее, вне всяких признаков существования длясь наугад далее и чуть в сторону, в неживую обычно сторону.

И я нахожусь на блаженном острове своего идиотизма, и я. Приглашаю законопослушных налогоплательщиков в пятницу на уик-энд на мой забубенный, совсем не огрубевший еще островок – то-то повеселимся! Обещаю (торжественно клянусь, не пугайтесь, это из молитвы пионера – что-то взбрыкнуло во мне мое обычно всегда идеологически выдержанное детство), обещаю всех немедля представить моему блаженно улыбающемуся идиотизму, – ну что поделаешь, старенький он стал, из ума выжил, – и рекомендовать ему ваши неотразимые личности с самой лучшей и непохабной сторонушки. Времени будет довольно, во всяком случае, вы успеете заметить сполна, что мой хваленый идиотизм – лицо чрезвычайно важное и влиятельное. В вашем распоряжении окажется редкая возможность завязать с ним самые тесные деловые и дружеские отношения, – мой идиотизм существо контактабельное, с пристрастием и стремительно переходит на короткую ногу, бежа даже личной выгоды. Вы много, несомненно много приобретете, посетив наш процветающий остров, расположенный в пятом по счету мировом океане – в моем. Вас ждут также, сладострастно таясь, и великие географические открытия, перемежаемые другими внезапностями, их нельзя сбрасывать со счетов, когда речь идет о ваших емко насыщающихся удовольствиях и вашем теплом – жив курилка! – комфорте.

Это была по возможности наглая самореклама – в том виде, в каком ей удается кое-когда даться моему пониманию, в каком доступна она открыться тускловидящему моему умозрению. Простите за лишнее. Я больше не буду. А если и буду, то премного иначе, так что вы не узнаете – ни кто говорил, ни что неизвестный тот пытался средь сбивок и спотычек сказать, путаясь в своих же следах и ставших напрочь чужими словах, закрывшихся наглухо от него на все окошечки и ставенки смыслов – хоть головой бейся или изношенными в кровь кулаками бубни по дверям, не откроют, не пустят переночевать. Пропадай в диком поле бессловесным, в диком поле, оледенелом от пренебрежения слов, заиндевевшем в травах без обыкновеннейших междометий – на бурьяне, вот беда-то, просто лица нынче нету. Вот беда – а не то, что мы про беду думаем.

У меня шнурки всегда отменно выглаженные. Вот такой я всеподготовленный, предельно собранный человек. Всякую секунду готов предстать перед тем светом в опрятном и сверхухоженном виде, чтобы у Бога не оказалось со мной лишних бытовых, заземленных проблем. Меня даже не нужно будет прогонять через небесный санпропускник – я являюсь заведомо банным. И квартиру мне там хлопотать не надо, как это было жизнь напролет на Земле, – как-нибудь и средь безметражного воздуха проживу припеваючи в бестелесном вполне состоянии.

Изумительно я гожусь для того света! Только бери меня да ярко пользуйся в благородных и благодатных целях инобытия, прогадать со мной будет трудно. На всякий пожарный я перестал давать себе допущение на погрешность и на ошибку. Чтоб не аукнулось это и не вызвало непредвиденных затруднений и переполохов по ту сторону жизни. Ибо все надо учитывать, даже то, что еще не произошло на дальнем, но уже отчетливо ясном небе того самого света.

Иная жена вносит иной чай. (Иные сумерки иных комнат: Кортасар, ссылающийся на Трумена Капоте.) Как всегда, чай необыкновенно сладок от преизбытка любви. Но с этим ничего невозможно поделать. Потому что все иное. Все переиначено, перелицовано. Иному человеку внесен приторный чай. Он пьет с горечью иной чай, изредка и с необоримой чуждостью вспоминая о себе, как-то совсем-совсем по-иному, чем прежде, мелькающему в его теперь не принадлежащих ему мыслях.

Эта бездомная вечная моя тягостность от себя самого, неискоренимая усталость от того, что я такой несдвижимо есть, что я есть я, что я – это всецело, но и всего-то-навсего только я... – они многое объясняют во мне. Непонимание и невидение их во мне, возможно, и порождают во мне защиту язвительности, поигрывающей ртутно злобы. Очень не хочется быть тягостным в себе, очень тягостно быть тягостным – так слабым собою, – и срываешься, огрызаешься, чтобы заглушить эту гнетущую слабину, это омерзительное состояние нежизни с собой. Внешней лжеборо-

ненностью я хочу как бы затмить, изничтожить внутреннюю свою поверженность, жутчайшую собственную потерянность, пропажу, некое улетучивание себя – такого, каким себя уважаешь и принимаешь, какой внушает неколебимое доверие. Страшная тогда неуверенность, личная зыбкость (куда до меня буриданову ослу, он выглядит просто образцом разумных избраний), тянущая за душу и кажущаяся нескончаемой неопределенность – от этого массированного полчища приватной энтропии я защищаюсь порой не в себе, не на задушевных полях сражений – там зачастую нечем защищаться, не за что зацепиться, не во что укрепиться, – а вовне, где всякая защита становится бессмысленной, но она дает самоутверждение средь той разверзнувшейся во всю мою даль ничтожности, самоутверждение через бытовое попрание своих близких, через срывание на них вспыльчивым и запальчивым собственной бескрайней бессильности. Слава Богу – с возрастом эти взрывчики стали уходить вглубь меня.

Этому состоянию родственна внепричинная, но ежедневная утренняя тревога, идущая откуда-то из животных глубин непостижимая, не поддающаяся никаким уговорам, никакому контролю тоска. Их можно заглушить только несколькими сигаретами кряду, смутив голову вольноопределяющимся никотином, сориентировав ее по легко и привольно-неприхотливо вьющемуся округ тебя дыму. По утрам, какой бы ни был по ту сторону жизни чудный солнечный день, просыпаешься от неукротимой беспомощности, от укорененной где-то глубже твоей личности ненависти к себе любимому. Лишь сигареты, одни сигареты умеют хорошо загасить эту тоску себя самого, лишь дым их вскруженный может вывести на обманчиво верное направление – когда стоишь сам не свой у печально и растерянно глядящего в сад окна, из смерти в жизнь перелетая, по крупице, по едва ощутимой крупице становясь живым собой – или хотя бы каким получится...

Иногда уходишь в день, не ожив, влечешься до вечера потусторонним, из последних сил притворясь непогибшим. Но вечер есть вечер, он всякий раз, несмотря на обманчивость и неверность, все расставит по своим должным местам, вычеркнет, упразднит лишние и ненужные тени, взамен их вручая свои – честные, прямодушные, очень земные, не знающие за собой никаких безумных излишеств. И станет легко.

Меня всегда забавлял ее лелеемый ею эгоизм – этакая самовлюбленная игрушка в ее руках, непамятно вертящих сего бесчувственного болванчика и так, и сяк, куда самому ему повернется. Простодушию ее эгоизма нет предела. Он сродни широко распахнутой навстречу безудержной приветливости. За нее он обычно и признается, принимается в общих глазах. Ее эгоизм сходит в глазах других за приязненно ластящуюся душевную щедрость, и она слывет обаятельным, отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в любой щекотливой и сложно закрученной ситуации.

Дожил до того, что чувствую в себе своего личного человека лишь как тяжко прокуренное, с неприязнью к движениям передвигающееся существо. Оно, по всему заметно, ненавидит меня и мстительно следит за каждым моим и без того нетвердым шагом, ожидая, когда же я основательно оступлюсь, чтобы мною можно было завладеть без проблем целиком.

Бдительно присматриваюсь вглубь себя, дабы не пропасть, будучи уворованным тем инородцем, только и ловящим тонкий момент, как бы стать вероломно мною – со всей присущей ему внезапностью.

Осторожнее! Предельно внимательнее! Сей человек – возбудитель всяких паразитов! Не менее верно и обратное утверждение: этот человек – паразит всяких возбудителей. Лучше бы держаться в сторонке от чрезмерно данного нам в ощущениях двояковыпуклого сего человечины. Желательно быть себе на уме двояковогнутыми. Это, похоже, единственное спасение от того всепроницающего кентавра заразы.

Поразительно: я точно на полвека – день в день – младше Дм. Шостаковича. И младше Фолкнера, странно сказать, на 59 лет, день ко дню. Хотя должно быть бы все наоборот: возрастное

отставание от Фолкнера – на круглую дату, а от Шостаковича – на весьма приблизительную. Если исходить из всюду сующей свой нос, кроме данного случая, справедливости. И если учесть, что и в наследовании дат есть доля какого-то еще иного, более значительного, наджизненного наследования.

Вот и любимая Марина Ивановна сначала сбежала от меня точно от чумы на день, в 26 сентября, вместо того чтобы любезно быть у меня днем раньше, а потом и вовсе, поменяв старый стиль, отчужденно, будто совсем не родная, отпрянула куда-то в совершенно мне непосильное 9 октября, где безраздельно владычествует средь кистей рябин Иоанн Богослов, который мне уж точно спуску не даст, за всякие мои хорошенькие делишки, натворенные на почве словесности; я его сильно остерегаюсь. Зачем Марина Ивановна так поступила, ведь я очень сильно привязан к ней и хотел бы быть к ней поближе всеми днями своими и глупыми, полузрячими этими числами? Не понимаю, отчего ей было нужно резко так от меня отчуждаться, я неплохой бываю по соседству человек, не буян какой-нибудь окаянный.

О чем хотят сказать да и без обиняков говорят все эти небрежные промахи чисел? Они наверняка намекают, желая исподтишка уязвить, на какое-то мое значительное несовпадение с самим собой как таковым, так и не таковым – досадное, уличительное несовпадение, на которое столь недвусмысленно и указывают мне классики, безукоризненно, конечно же, точные даже в приблизительности рождения. Значит, ошибка целиком на моей слеповидной, слепошарой, а точней сказать, не вертя для отмазки словами, – бесстыжей совести? Выходит, ошибся родиться я? Вот дела... Вот события дивные темноты... Даже и не знаешь, как лучше да с каким поворотцем произвестись на свет!

Остается поздравить себя с опровергающим мою жизнь открытием, имеющим убийственный окрас, явственно небытийную расцветку.

Нервы у меня вздрогнувшие.

Попрошу рядом не дрожать, во избежание разрушительного резонанса, в каковой можем мы впасть, коли будем трясти двоекратно нервишками.

Извините. Брызнул нечаянно нервным соком. Как жаль, как жаль... Вы были такой замечательно хорошей незапятнанной вещью. Не отстирать вас теперь никаким дорогим милосердием. Сожалею. Безмерно винюсь. Но это – нервы. Вздрогнувшие и закаменевшие в своем искривлении мои бедные, бледные нервы. И ничего-то тут не поделаешь – они стали никчемными памятниками безобразию своему... А вас в виде запятнанной и не отстирываемой вещи конечно же очень жалко, меня печалит сей скверный случай событий. Ишь как повернулась она, судьба наша немилосердица... А начиналось-то все с, казалось бы, бескрайнего пустяка: я вам слово, вы – два мне в ответ... Ничто не указывало на брызжущий вульгарно финал и на последующее возникновение изумленно кривых нервных памятников, бездарно вскрикнувших в своем искривлении. Эх, криветь нам, видимо, не перекриветь. А в памятниках, доложу я вам, быть очень терзко: там тесно, бронзой медлительной в горле першит. Лучший материал для изваяний все-таки воздух да солнце – хоть свободно двигаться можно, а при желании и пропадать.

Не сразу назовешь человека по имени. Долго еще укрепляешься, неловко внутри себя возишься, поуместнее располагаясь в имени, чтобы решиться, накопив стыдливого чувства, с любовью произнести его. И с отчаяньем – оттого, что любви вдруг в себе ты не услышишь.

Побежал вприпрыжку к столу оставлять память по себе. А вдруг не успею добежать до стола и стукнусь мертвецки громыхнувшим лбом где-нибудь посередине меж столом и собою? Не приведи Господи такой неумной ситуации. Потерять память по себе где-то по дороге к себе – какая страшная нелепость. Заранее делается знобко от подобной несправедливости мертвой. Я ж не бродяга со свистом сквозным вместо памяти, мыслей. Мне хочется помнить прилежно, надежно, шепча беглой ручкой сквозь лист беловидный на ушко столу.

Я пришел в этот дом взять обратно свое воспоминание, но передумал и не взял его. Оно мне стало не нужно – вдруг пришло понимание. Я с грустью повертел воспоминание в радостно узнавших его руках (все бугорки и милые гладкости на нем были те же) и положил без сожаления на старое место: пусть продолжает пылиться здесь без меня. Пыли и без того во мне в предостатке – весной я себя не выбивал солнечным утренним днем, повесив на веселую веревку дворовой площадки. Как-то за другими делами проленился, а потом и прямо забыл об этой полезной для чистого вздоха гигиенической процедуре. А напрасно. Тяжело ходить невыбитым, таская как проклятье грузную массу чужих чьих-то пылей, а то и посторонних дней целиком, которые где-то я нацеплял с изяществом собаки, мимоходом насажавшей на хвост репьев и с удовольствием продолжающей так жить, чувствуя себя по-прежнему прежней.

Когда я буду что-то писать в своем старом саратовском доме, в безбрежном моем чуланчике средь заката (а это из области невероятного), все написанное будет наполняться новым, очень емким смыслом, придаваемым словам сильно соскучившимся по мне домом, неким грустящим по мне дополнительным его чувством ли, отзвуком ли иль тоскующим по мне и разыскивающим меня безуспешно оттенком. В каждом слове явится еще измерение этого дома, не пробужденное, незнамо таившееся прежде, а может быть, и отсутствовавшее, – и слова окажутся вольнее, объемней и окоемистей, они станут открываться бОльшими словами, чем те, что рождены не здесь, не под тихим покровительством этого дома. Они будут чудиться больше, чем словами, которые я в беглости своей начеркал, ведь непосредственно сразу за ними, за их кратким и прекрасным обрывом, простирается любимое пространство моего бывшего дома, оснащенное тенью осенней, зыбучей и непревзойденно живой тишиной, – пространство, в которое они перетекают неуследимо, с которым составляли единую живную сущность семнадцать без малого лет – целую раннюю молодость всякого человека... Слова и дом имели взаимосообщающуюся кровь – она была, видимо, солнцетворимой сентябрьскою тишиной, испещренной прозрачнозримою, светлобеглою тенью. Осененной сентябрем солнечной тишине, дремлющей тихо вокруг, одинаково легко и уместно быть что в доме, что в слове, их приют равнозначен.

Но мне никогда не найти того нового – целиком пронизанного былым – смысла, потому что никогда не жить в том обветшавшем во мне, до боли привычном и до боли отвычном, притершемся к приязни моей навек доме. Этот смысл навсегда для меня недоступен, я от него отлучен – дом узрел во мне непрощаемую провинность, он, наверно, ошибся во мне.

Мне никогда уже не посетить замкнувшуюся накрепко душу этого дома, когда-то сильно отпугнутую от меня и напуганную мною, сумевшую надежно от меня схорониться и в течение многих последовавших лет избегать даже того, кем я некогда был...

В этом доме последнее время не хватало какого-то простодушного, непритворно доброго и доверчивого человека. В этот дом последнее время как будто кто-то не пришел, вновь и вновь. Ожидание непришедшего день ото дня все тягостнее. Оно окончательно затмило и отяжелило нараспашку смеющийся прежде дом, и стало ясно, до слепящей мути, до затмения стало ясно, что никто сюда не придет. Никто не просветлит, не излечит тоскливый лик изболевшегося в одиночку, средь одиночества дома, ни разу не улыбнувшегося в последние дни непринужденной улыбкой, открытым сиянием, чуть щербатым весенним ртом, – он любил в смехе звонко и ясно рассыпаться...

Если никто не приходит – значит, нужно уходить самому... Таков закон взаимоисключающих отсутствий.

Я чересчур внезапно вернулся в комнату и увидел ее в неопрятном свете. Без меня комната быстро стала распущенной и неряшливой, как тетеха. Не смогла она в один миг сделаться прежней и заметно испугалась своего неумения и расплоха. Не сумела моя комната, дивная, изящно стройная во всякое другое время, мгновенно привести себя в порядок и стояла поникшая передо мною как бы в мятой, потухшей одежде, смущенно отряхиваясь и кое-где поправляясь, в рас-

терянности теребя края одеяний, тревожным, напряженно вслушивающимся в меня взглядом прося быть чуточку к ней снисходительней – по неведенью она полагала, что давно пора спать и собиралась ко сну раздеться. А тут я ввалился не в свой черед с недреманым оком, для продолженья дальнейшего...

Но чаще бывает совсем-совсем иное: стоит только в малость мне отлучиться, как начинает – по возвращении – неотвязно казаться: в комнате и в моем отсутствии побывал кто-то таинственный, преображающий, непостижимый. Он успел до странной узнаваемости изменить облик необратимой теперь в отношеньи меня этой комнаты, мне не вернуть ей прежнего лика, приязненно прежнего взгляда, сколько бы я ни старался, сколько бы ни делился с ней и ни любезничал своим зрением. Утратила она и частицу легкого всегдашнего простодушия, веселой своей ветренности, сделавшись угрюмой и отстраненной, очень самонадеянной. Комната, моя бедная запутавшаяся комната, вскружившая что-то себе на уме, пугающе стала иной, все более, далее отчуждающейся. И так всякий раз в последнее время. Чуть только отмякнет в моем присутствии, качнется в забвенье навстречу, потом – опять чуждовать, чужевать, копить в себе едкий, тоскливо тягучий то ль раздор, то ль простор. Нельзя даже покурить отлучиться – несколько минут спустя огромного труда стоит узнать это до пылинки привычное, до стоптанной тривиальной мысли избитое место, прикинувшееся мне откровенно не принадлежащим. Искоса оно на меня посматривает и равнодушный делает вид, будто не узнает, так как знать не знало.

Эта комната скоро выселит меня, отречется быть моим пребыванье любимым, устав наблюдать во мне все более чуждого ей, все более отвлеченного и напрасного человека. По всему видно, очень отчетливо по всему – ей осталось терпеть немного. Как мне жить через несколько дней в очужалом насквозь доме, неприкрыто меня выдворяющем вон, только что во всеуслышанье не сказавшем, что он свободно обходится теперь без меня, что я больше тут ничуть не живу, призраком лишь из милости существуя (это дозволяется мне пока благосклонно), что пора собирать... впрочем, и нечего собирать отчужденные от меня, очужавшие мною, а значит, и отсутствующие для рук и надежд неисправимо былые вещички...

А не стать ли мне самому невзначай квадратурною комнатой, чтобы легче найти с моей комнатой общий язык? Посоветуюсь с самой последней из мудрых – с горящею печкой, она еще не утратила здравого смысла, не разлюбила плескать в глаза сырого огня, в котором вольготно длится и дивно так пахнет дикое поле, раскинувшееся где-то далеко-далеко не здесь и не там... Ах, да, оно давным-давно поселилось во мне, перебравшись жить средь меня на постоянное местожительство. Что ж, будем осваивать новые капиталовложения, отведенные на строительство пустырей и обочин дорог, в основном всё незримых, незрячих, пустеющих про себя в диких мыслях.

Я перешел на автономное существование, замкнутое на все мыслимые и немыслимые запоры в самом себе, безвыходно к миру. И стало спокойно-спокойно, как посреди далеко вокруг разметавшейся осени солнечно веющего сентября. Помощи ждать не нужно. Да и неоткуда. А главное, незачем. Надеждам ходу нет и не предвидится. Ибо надежды сделались напрасным хламом, который не жалко выбросить или растратить на безделушки. Я как-то жутко и свирепо уверен в себе, как в твердейшем враге, которого уже не одолеть, не сломить. От него исходит чуткая опасность, она понуждает держаться настороже, в сжавшейся, точно к прыжку, готовности сопротивления. Я приобрел дельного и полезного врага в лице себя, доброго непрекращающейся угрозой, благодаря которой я стараюсь точно быть в себе сфокусирован, дабы не оказаться застигнутым в расплывчатости врасплох и не пойти противнику моему на уступки, попадая в затягивающий и убаюкивающий, тлетворный его плен. Этот враг лучше любого озабоченного мною друга – он поможет жестким, беспрекословным противостоянием, своим враждебным непреклонным упорством. Нельзя уж на чуть хоть расслабиться, чтобы упускать себя, – мой личный враг, мой душеотвратитель – я сам – требует противостоять зорко и цепко, спокойно-спокойно, до онеменья себя.

В кромешном одиночестве я почти перестал чувствовать свое одиночество. Во всяком случае, безобразной его людоедской сути теперь не ощущаю. И не страшусь его. Оно стало не просто

терпимо, а премного желанно – при любом удобном случае, едва проглянет лазейка, я отпрядываю в него, как в тишайшую уютную комнатку, наскучавшуюся, сладостно наболевшую мною, где давно все привычно и мило, душу клонит к успокоению, будто в забвение. Я наконец-то, вопреки нервичным соседствам, обжился вполне терпимо и нашел свое место в своем далеко простирающемся одиночестве, которое занимает непомерно большое пространство моих личных сквозящих подлунных полей, заблудившихся в себе без возврата задушевных лесов. Мы с ним прижились друг к другу, славно сладились и стали понимать один одного с полуслова, с призрачного иной раз полушепота. С ним, берегущим меня неустанно моим одиночеством, даже весело и отрадно. Есть с кем перекинуться парой фраз, когда некому вымолвить словечко простое. Утешаясь, мы забавляем один одного тем, что легко – как никогда – умеем вспоминать и прощать, замедленно кружа над своей и другими жизнями, пронзительно ясно, чисто разверстыми там и там. Мы всё и всех уже простили. За исключением нашей собственной неизгладимой вины. Мы всё наше полное безобразий время приняли если и не с любовью, то хотя бы с вникающим и прощающим пониманием, которое дает любви едва приметный исток.

Под старость, конечно, возвратится одиночество уничтожающее, именно что людоедское, но мы с теперешним моим дражайшим другом-одиночеством сможем, наверное, встретить его достойно и склоним, сманим уж то чудовище на свою бедную сторону, приручим его быть кротким. Цепной пес одиночества вынужден будет служить нам верно, преданный поневоле, обезоруженный неподдельной приязнью нашей ласки.

Я пережил свое отчаянье, оставив его где-то позади собственной жизни, за ее тыловыми обочинами. И не нуждаюсь в жалкой жалости ничьего понимания – оно ничего не прибавит. Мне бы только еще немножко любви. Для сугреву. И для прочего разживания. Для разогревания в яркую, позднюю жизнь – ее чистая осень уже веет пространно в неустанное мое лицо, разгоревшееся от прохладного ветра, от чересчур пылкой мысли не преодоленных еще расстояний. Благодарю тебя за все, дорогое мое отчаянье, мы еще обязательно-обязательно с тобой встретимся и обо всем, обо всем поговорим...

(начало июля 2002 г., в моем бывшем доме, Саратов; к сожалению, не чуланчик – он забит, взамен меня, всяким хламом, мусором длинных случайностей)

Имя женщины выдает меня.
Женщина болит во всем моем теле.
Борхес

Во мне болит много, несказанно много имен женщин: Ирина, Лиза, Маргарита, Елена, нескончаемая во мне многовековая Марина, ветвисто в меня летами проросшая. Почти все, за малым исключением, женские имена радостно и сиятельно болят в моем теле, щемят к непогоде, блистают чистой сквозною болью под светозарным весенним деньком. Нет, наверное, в мире такого имени, всегда текучего и переливчатого, чтобы хоть разок не взбольнуло, пусть промельком бы не укололо однажды навеки. Ну разве что непрошибаемая чугунообразная Капитолина или какая-нибудь совсем уж чумная Глукерья. Если, конечно, женщины под такими именами могут существовать, не погибнув от удушья и непомерных переносов тяжестей в грудном возрасте: такое имечко вынести – это ж какое здоровье надо иметь?!

Каждый город отбрасывает на людей свою обворожительную памятливую тень – летучую печать, неизгладимую. Предубеждением города люди разных городов кажутся очень различными; люди одного города несут в лицах общее. Так, какой бы ни был, скажем, пензяк интеллигентным, утонченным, любезным, он непременно, по мне, будет выглядеть человечески как-то более грубовато, аляповато в сравнении с обитателем Саратова, – самый забулдыжный человечина смотрится тут в доску своим, с неизменным налетом разгадке не поддающейся обаятельности... по крайней мере, опустившийся бывший прилежный человек, которому в определенный момент просто-напросто не повезло: судьба сломала вдруг ногу иль шею. При том понимаешь: Пенза ни-

чем не хуже, а по-своему и лучше Саратова, очень человечный, доброскло́нный, так спокойно и бережно прилегающий к душе уютно провинциальный городок, все стремящийся стать пригородом души твоей. Погладишь его по всклокоченной шевелюре, почешешь толстую пятку, пару ласковых скажешь и с Богом отпустишь: меня с ним немногое связывает, гуляй, пожалуйста, без меня, сказкина Пенза. Нет тончайших, всепроникающих нитей сокровения, наугад перепутавших бы меня с этим городом, так что и не понять, где город, а где – все еще ты. Моя юность в Пензе мало бродила, ею проникнуться не успела, соприкосновения вышли поверхностны и чужеваты: в проезжем городе, в городе ожиданий ходить одному чувств не хватает и они отзывают впоследствии тяготой, мстительно памятной неполнотой.

В различии городов, в особенностях метафизического их привкуса, нет, вероятно, ничего, кроме стойкой иллюзии давнишнего, перестарелого уже восприятия, обрамленного прошлым, счастливо случившимся в неподменно счастливом месте, в единственном месте, где только и могло все произойти точь-в-точь по судьбе – как ей самой бы хотелось. И Пенза разнится от Саратова только личной моей иллюзией, унаследованной от неповторимо свойских, неповторимо насыщающих радостью, от продолжающих чутко внимать мне университетских лет, которые, вне сомнений, и есть самое живое мое время. Непревзойденно родные годы. Непревзойденно мои. Они нынешняя моя чувствительность – те годы.

Юность моя просветляет их, навсегда любимых прохожих Саратова – этой счастливо бесконечной бесконечности, разноречиво полнящей улицы. Иных прохожих иного Саратова, проникнутых, как обычно, празднично волнующей тайной – еще былой, нерасточимой. Той из дали времен рдеющей в каждом лице тайны должно мне хватить до истечения дней – чтобы быть чудесным ее томленьем.

Иллюзия, благотворная иллюзия моей юности в неизменно саратовском этом городе. Та иллюзия нерушима. Ей не в силах исчезнуть в беспрерывно, подробно, в наизусть моем городе, который немедленно становится на мою сторону, едва возомнившие много о себе огорчения начинают брать надо мной верх. Город мгновенно, и сморгнуть не успеешь, делается юным и прежним – тридцатилетней с лишком данности, тридцатилетней с избытком давности, – дабы я чувствовал себя сполна защищенным от сумеречных тяжеловозрастных лет и от себя нынешнего, целиком, наверно, случайного, потерявшегося в рассыпанном как попало множестве собственных лет и где-то далеко в себе – словно среди непролазных, не отпускающих дебрей...

И на облака, небо, на вечер, опускающийся в тревоге по ненадежным ступеням заката, я смотрю и воспринимаю их по-разному в Саратове и, допустим, в лишенном дара света и помощи Неверкине, затянутом, как болотцем, тусклыми одномерными буднями, сплетенными из бесконечных сплетен (главная кормежка местного населения), напыщенных дрязг да глупых животных жизней. В Неверкине двоедушные небеса стремятся поскорей от тебя отвернуться, словно стараются ускользнуть незамеченными, ни на единый взгляд не потраченными, как будто никаких небес никогда тут не было и быть не могло. (Бог явно тут сфальсифицирован и не является общепризнанным, распространенным Богом. Он что-то совсем иное, исковерканное до неузнаваемости, разительно отличающееся от Него Самого, решительно не попадающее в Его пределы, невзирая на то, что Он беспределен.) Здесь еще мое скудненькое, но опасно зияющее в каждой мелочи детство откладывает на все тягостный, болезненный свой отпечаток. Тоскливо мешаясь с безликой обыденностью, нерастраченное детство мое удесятеряет в любом восприятии свои зоркие, пронзительно зрящие тревоги и страхи, свою вечную подавленность и ранимость.

Безмятежное и сияющее надеждой в Саратове, небо ближе к Неверкину утрачивает всякое подобие надежды, лишается всякого признака доброго будущего и насыщается, вроде бы беспричинно, гнетущей и не устранимой тоской. Эта моя багровеющая непогода целыми сезонами будет длиться в давно умершем неверкинском небе. И будет стыло, мертвяще, стариковски мерзко отзываться во всем не нужном ни для чего теле, которое покажется телом не принадлежащего тебе человека. Пока не зажжется малюсенькой искрой во мне Саратов, уже немного былой Саратов, все более в былом разрастающийся. Надеюсь, мой город в ближайшем будущем разгорится во

мне во весь свой пыл, во всю потаенную нежность. На юго-западе иногда, в мертвый час перед рассветом, мерцает это едва различимое, прерывистое зарево тихо окликающей меня нежности. Но как исхитить двести непропускных километров, каждым противительным сантиметром отделяющих от него? Это все равно что перешагнуть вселенную, все равно что миновать вечность.

Чья-то потерянная юность попалась мне на глаза – так и оцепеневшая в растерянной недоуменной улыбке оттого, что она оказалась не у дел, не у времени, не при человеке, оставленная без никого доживать странную пустоту никакую, хоть ей еще всячески хотелось побыть чьей-то светящейся юностью...

Не моя ли это была стародавняя потеря, которую мне теперь нипочем не узнать и никогда уже не присвоить?

Юность – вещица долгоболящая. Вещица, вообще-то, нетеряемая. Я долго старался ее как-нибудь незаметно для себя выронить, но она не выранивалась. Нет такой свалки, куда бы можно было сплавить ее за негодностью. Этой свалкой могу быть лишь я сам, мусорный и барахольный. Но эта свалка – я – неожиданно оказывается бережливей самой тщательной и пристрастной бережности. Если хотите не насовсем выкинуть свою юность, выкидывайте ее в меня, возврат гарантирую на сотню лет, за вычетом моей жизни.

Не верю в неистощимость утрат. Я во многое не верю из того, что стремится укрепить и узаконить утраты. Не могу поверить в утраты, в потери, в бесследные исчезновения, поскольку они лживы, как не может быть лживо ничто сущее, если сущим оно быть еще хочет.

Юность есть существо скоропроходящее, даже мелькнувшее. Но еще боле она и непреходяща. Ведь юность – это все та же единственно женщина, которую никогда не забудешь, которую уж никогда не забыть, а значит, и не потерять, какие к ней время пропажи ни будет прикладывать, какими ни сманит ее исчезновеньями, какими забвеньями ни снабдит.

Следя где ни попало неположенными дурными следами, а возможно и скрываясь от погони, я оставил на полях рукописи кривой, одуревший какой-то восклицательный знак. Вот даже и это скособочилось, елки зеленые... Не утерпело побыть стройным восторгом. Все стало иметь кривые бока, надменно меня попрекающие! Ну хоть вы-то, словесно приблудные елочки, на всем протяжении будьте стройными не в упрек мне.

О юности вспоминаешь уже как о непостижимо давних светлых похоронах неизвестно кого. Давние светлые похороны стали значимей и той смерти, и того человека, личность которого уже не упомнить – ее загораживает, ее уничтожает благой печалью то все никак не устаревающее воспоминание.

Этому воспоминанию никогда не суметь постареть. Вы седым его не застанете.

Давние светлые похороны выступили на передний план. А может, это и не похороны, а просто осень, ясно и прощально разлетевшаяся далеко округ? Кто же знает... Кому теперь знать?

Саратов превратился вследствие его для меня исчезновения в совершенно мистическое место, где может происходить абсолютно все и с оттенком самого проникновенного волшебства и самой небывалой небывалости. Как быстро, до обидного просто, как нежданно отчужденно уклонился он в область чудес, отказавшись быть для меня реальным, насущным городом. На месте Саратова теперь расположилась загадочная и непроницаемая страна, где, судя по моей воспаленной фантазии, могут исполниться самые причудливые желания. Там все возможно, что невозможно нигде, что перестало быть возможным в прочих местах.

Вот только ни единое мое желание отчего-то не исполняется, точно дух Саратова прочно заперт от меня, отстранен чередой бездуший и не может, по причине застарелого небрежения мной, исторгнуть ничего утешительного. Ему не свольничать, как бывало, не спроказничать, чтоб хоть

слегка заразить воодушевлением. Немолвный дух Саратова нерасторопен теперь и тяжеловат на подъем, чуть лишь дело меня коснется. Город упорно, не утруждая себя доказательствами, стал признавать во мне чужака, и его с этой мысли не сбить, не сшатнуть, убеждения его твердолобы. Печально не знать никаких путей и возможностей, дабы вернуть его былое расположение ко мне, столь доброклонное и участливое, что не нужно было прикладывать ощутимых усилий, чтобы жить в этом городе просто, легко, чтобы быть им, казалось, уже безвозвратно.

Жду в новенькой, еще не обмятой надежде, когда спадут цепенящие злые чары. С него ли? С меня? Мне уже не разобрать, кто больше из нас болен этой невстречей.

Жду в себе с нетерпеньем свой немеркнущий город, который встретит меня непринужденно, взлетит в ликованье навстречу, еще издали, ох как издали помахивая мне, чужеброду, развеселевшей рукой, таким до радостной жути знакомым жестом, присущим в целом мире лишь ему одному. По одному всплеску дальней руки узнАешь мой город, заметавшийся на горизонте угостить поскорее пространством своим: оголодал я глазами с дороги, наши дали что-то несытные, зрения не утоляют, голь перекатная выедает мой взгляд.

Чуть только скажется в нем грустной улыбки – запоздалого укора за столь долгое мое пропадание. Но это будет, скорее всего, лишь минутная слабость. И настанет улыбка без грусти.

Кто же спросит из нас первым: где ж ты длительно так пропадал и пропаще, дружище? Зачем, для кого было это исчезновение? Кто подстроил нам ловушку пустой разлуки? Боже, боже, как страшно, как безвременно мне тебя не хватало, даже во всякую никчемную минуту, умершую еще до того, как ей наступить... Кто из нас это скажет? Кто из нас осмелится первым быть едиными, обоюдными, одним градообразующим существом?

Саратов воспринимается теперь, за утратой, как город непременных удач. Город сбывшейся исподволь, но как-то необъяснимо потерянной – в сбыточном состоянии – среди прошлых дней мечты, заронившейся в них так, что и не отыскать. Поэтому чувство его празднично и по-прежнему юно, как будто, когда б ты сюда ни явился, где бы здесь ни нашелся и ни пропадал, все еще длится в тебе, угольково чисто алеет предвкушение встречи того нескончаемо первого Нового года. Наступающий 1974-й расположился до боли уютно и очень домашне, безбрежно-снежно и – навсегда-навсегда, пронизав валкие дни мои вездесуще той неисгубимой зимой. Ему нет нужды никуда исчезать. Этот сгусток живого времени тихо дремлет, передавая мне свои чудно, мудро рассматривающие меня сновидения.

Хочется без конца длить этот медленный праздник воспоминания, коли воочию праздника нет, – того сиятельного торжества непосредственно радующихся глаз – когда встрепенувшийся, весь подавшийся тебе навстречу, вдоль и поперек изожданный и пережданный город ликует из каждого знакомого, многажды облюбованного уголка, из каждого незнаемого дома, выросшего в твое отсутствие дерева, сбежавшего от тебя поворота, из всяких лиц и всяких былинок, соринок, из любой еле приметной, еле дотянувшейся до зрения бросовой мелочи, столь даровито переполненной для тебя давно забытым восторгом, что странным становится уяснить, как может умещаться такое огромное и все прибывающее, уже затапливающее чувство в такой пылинковой малости, казалось бы, совсем не подходящей ни для каких объемов, ни для каких счастливых вмещений. Да и в жалкой такой малости личного моего порастерянного Я как этому вселенски огромному чувству города поместиться?

– Этот город страшный, проклятый, он выталкивает всех, кто пытается в нем что-то значить, – говорили мне в последний приезд. – Гиблый город, – так говорили, не уличая себя даже сомненьем.

Может быть и так, но, вытолкнутый, я чувствую непрестанно страшное его притяжение. Когда-нибудь мне это притяжение все же не преодолеть – я упаду в Саратов стремительно, врасшиб, со всей неслыханной силой, с какой этот город способен убить беззаботно.

Неудержимой грустью тянет возвратиться в сохранившуюся обстановку юности (она, вне сомненья, по-прежнему уцелевает), где и обнаружим средь необломков собственную юность, какой небрежно оставили ее минус лет тридцать назад.

Ничто не в силах нас возвратить. Одни уцелевшие лики города – былые, не сгинувшие его дома и проспекты, застывшие в воздухе образом не закончившегося былого, как-то наперекор всему прежние люди – помогают вернуться туда, куда мы только и стремимся вернуться. Лишь что-то неменяющееся и неумираемое в городе умеет нас возвращать и подлинно приютить.

За это и люблю безмерно мой город померклый, не потерявший моей юности, даже когда все уже потерялось, когда, может быть, завершился я сам.

У меня с Саратовом отношения так и застыли навсегда в восторженной, целомудренной фазе, хоть и прожил здесь четверть самого большого из моих веков века. На уровне, если можно так уподобить, первых, неумелых и глупо тычущихся, поцелуев. Любовь, в отличие от нас, не переступила, переступить не сумела в заклятые будни и дрязги, не опустилась до нашей местами весьма неопрятной и щетинистой жизни. Потому-то дело и не могло дойти до грубой яви разрыва, коль что-то очень существенное в нас существенно в обыденность не вступило и отважилось быть не нами, упрятавшись в отвлекшуюся от нас и отвергнувшуюся чистоту. Не могло быть даже никакого раздела имущества, так как пришлось бы кромсать по живому слитные чувства и неразрывно друг в друга проросшие сущности. Ну скажите, как справедливо, связуя стремленья с гражданским кодексом, разъять целокупную саратовскую осень, в особенности сентябрь и октябрь, а также глядящего на листопад человека? Убери из нее без осторожности незримую хотя бы частицу, и грациозная осень станет непоправимо другой, из нее город выронится целиком. И рухнет немедля сентябрь. До основания сотрясаясь, неузнаваемо переменится в лицах, мыслях и листьях октябрь: он, похоже, сам себя не узнает. А ноябрь, вечно бедный ноябрь, побирушка этот и проходимец, по политическим убежденьям – левак, террорист-одиночка, через силу и немочь собравшись в один-единственный на весь свет хмурый взгляд, станет несносно пустынным и всюду полым – жалкое существо из зияний и брешей, из сквозящих пространственных дыр. Разве порядочное существо состоять так может? Ему ж не останется почти ничего, ему ничего не светит (хоть в реку смутно бросайся с моста) – лишь в качестве сумасшедшего, природного дяди с приветом, неприкаянно шляться где ни придется, в каких-то ужасных, не раз одичавших обносках, вдоль намертво вмерзших, вмертвевших в улицы луж, среди продолговатого безлюдья. Глазам не стерпеть однообразного его безумного хода и этой бьющей в упор, но едва ль не рыдающей пустоты. Хлещет, хлещет она по прохожим глазам – и сама навзрыд себя проклинает.

Самое страшное выпадет на долю глаз – тоскливым блуждать по тоскливому, пустым и бездонным искать на краю отчаянья – пустое. Пока всеми правдами и неправдами не вберет в себя глаза еле теплящаяся душа, пустив их к своему камельку, нежной волей закрыв взор на дурное.

Кто бы там ни подстрекал дело быть иначе, самое драгоценное в Саратове, за исключеньем, естественно, женщин, – осень, до далека тайн внятная, до близкой тайны родная, тишайше неистовая в своем привольном размахе и вместе с тем глубоко в себя ушедшая осень, в малых повадках приметно уже южная, мягкого распевного говорка, но ничуть не потерявшая доброй своей среднерусскости: листья и ветер и заблудившийся в солнышке дождик, воссияв в вас улыбкой, по-костромски налегают на сочную буковку О. Осень ценнее всего, что когда-то здесь было и будет. Спорное, конечно, утверждение, но эта искусница осень любое утверждение обворожит в пух и прах, прельстит на свою светлолистую сторону, сделав всякое слово верным, согласным, бесспорным, – хоть веревочки тогда вей из крикливого самого междометия.

Нужно вопреки всем препятствиям подзарядиться осенней энергетикой этого зачудившего города, одушевляющей его ясностью, иначе не превозмочь тоскливо наводящие на меня чуждую смерть косогоры этой зимы, – она еще издалека, из самой глуби ушедшей в осадок осени, унывно уставилась прямо в мою тотчас промерзшую до прозрачности, померкшую и оплошавшую душу

и немигаюче смотрит стылым взглядом-остудой. Исхищающим меня взглядом. Мне слишком заметно, сколь я под ним пропадаю, взамен наполняясь неопределенным, трудным веществом сугубо чужого и ненужного мне человека, на всем чрезмерном его протяжении пагубного для меня.

Отведи от меня, пожалуйста, осень, эти снедающие глаза. Дай других мне глаз, не мертвящих. Зима во мне и без того будет.

Где б я ни жил в этом городе, главное мое окно всегда, точно сбежавшее со мною, выходило на юг; солнечная сторона летом в Саратове нестерпима: город любит прикинуться южным и поиграть в чужую страну. Солнце грузно, массивно переполняет ненужное тело и превращает тебя в смутное, замороченное, какое-то прерывистое существо, которое во много раз отяжеленней и безжеланней, чем есть ты в оплошавшей реальности свалившегося в беспамятстве дня. И с трудом помещаешься в грузную, всё перечащую комнату. В тебе образуется огромный излишек громоздкого, бесформенно оплавляющегося – словно тщетный воск – пространства, оно все норовит расползтись, болезненно множится, и его нипочем не собрать воедино в себя: ты жарынно растекся, ты разлит. Да и ужасно лень быть собой – собранным и точным как емкая точка, жара стреножила волю желаний, отпустила поводья расслабленных мыслей. Ничего точечного, крошечного в этом пекле немыслимо даже вообразить, мир обратился в одно текучее и неуследимое уже существо. Бедных прикосновений хватает только на самое необходимое. И хочется, больше всего хочется быть в каком-нибудь расплывчатом, медленно клубящемся состоянии, чтобы поменьше ярого лета уцелело в тебе, чтобы минула эта напасть суховейных дыханий.

Небредово летом в Саратове можно быть только ночным, точнее рассветным, человеком, – в мертвый час мира и тишины, когда всего холодней и небытийственнее, когда оторопь дрожи охватит глухонемые деревья и косноязычный воздух, почти не владеющий в эту пору русскою речью, пребывающий здесь временно здешним.

...где смутно, в едва приметном смущении колебалась теплая и величественная взвесь Волги, неторопко – разве века исспешить можно? – тянущей к югу валкие караваны уже азийских вод... куда стремились стремглав аллейки набережной летящей, птичьим бузящим народцем битком набитой, полетами их навитой... откуда задорной, слегка подвыпившей толпой, а то и вроссыпь брели наугад, пощекотывая мимоходом город, такие юные столетние улицы... где пылкое или замедленно среднерусское небо неустанно пробуждало в тебе небесное чувство, – как страшно давно, как небывало там везде тебя не бывало... Где это все? Где это обаятельное, странное всё? Во что и куда кануло неисследимо, бессветно исчезло?

За этой давностью я даже себя забывать начинаю. И с изначальной той точки живящей принимаюсь уже пропадать.

Этот город – как будто бы моя небесная, но слегка захолустная родина; иные мои небесные родины вряд ли настанут.

Она и мой, безраздельно мне принадлежащий Саратов хотела бы приватизировать, изъять его из оборота у меня навсегда. Да вот непредвиденная промашечка вышла: Саратов (иной раз в до атома свернутой миниатюре) я каждодневно, не разлучаясь с ним ни на долю секунды, ношу исправно с собой и никогда, даже в крайне бессвязном состоянии, не сумею его потерять, как по рассеянности потерял, где-то посеял многое другое; этот город, к беде и счастливой отраде моей, прилип ко мне намертво. Тут, в смысле новой, вторичной потери, я уж промашки не дам, не пойду у случайности на поводу. О нет, такой подлой случайности от меня вряд ли теперь возможно дождаться, так что заранее укротите ваши несносные ожидания, они не приведут ни к чему. Разве что вновь к бесплодности сбитых тех с толку и обманутых вами же ожиданий.

Я ныне бдителен чрезвычайно (ведь и ситуация – из чрезвычайных) в сохранении моего города, в убережении его хотя бы в каком-то неделимом уже остатке. Поэтому так часто и по-види-

мому бестолково похлопываю по надежным, в общем-то бездырчатым карманам, в жуткой опаске как-нибудь нечаянно выронить город и не обнаружить в один ужасающий миг его крохотного и едва угадываемого по бесценной твердости, но могучего все же остатка, благодаря которому наличие Саратова во мне – огромно, неотменимо.

Саратов самый-самый мой город. Изо всех многожитных его жителей самый что ни на есть мой! Я на этом не настаиваю вовсе – я это бессознанием знаю. О, как никому понапрасну не дам потрогать мой неогрязняемый город, который содержится во мне в безупречнейшей чистоте! Прочь суетные, прочь нелюбопытные и любопытные праздно, прочь и опустевшие ваши до времени прикосновения... Ну ладненько, так и быть. Если только лизнуть разок, для уяснения пробы. Ведь правда изумительный даже на один лизок. И вкус свежий отменно, как у пузырящейся из многих ответственных ртов некоторой прокламируемой наглядным образом жвачки? Неповторимый вкус, в чудесность неповторимый! И конечно же – неутолимый. Вы угощайтесь, без тени стесненья, пожалуйста, угощайтесь, отведать такого вам, может, не придется больше нигде, а что еще страшней – никогда. Нет таких мест, где б так вкусен был город... Этот не насыщающий и предельно насытивший град ни небесный, но и ни земной... Где он бродит и где расположен? Немногие, о, сколь немногие знают – возможно, из знавших уж многих и нет...

Ком в горле от этого города до сих пор стоит.

Затрудненный, непрекращающийся ком этого в никуда излетевшего города.

Как же просто, как отчетливо ясно город сумел не понять меня, не принять... Как же легко он захотел меня упустить... Он слишком легко от меня отделался.

Вот и с ним мне теперь жизнь напролет, жизнь навылет выяснять невыяснимые отношения.

Вот и с ним мне теперь. Наконец-то! До конца концов.

Даже когда она дома, чаще всего дома ее не бывает.

Вернется теперь неизвестно когда и неизвестно в каком направлении. Вернется неизвестно кто. Если возвращение все-таки как-нибудь состоится.

Жена в нем – всего лишь фантомная боль. Большая и нестерпимая, но давным-давно ампутированная боль, которой уже не страшно болеть и быть болью, странным и странствующим страданием.

Совершенно бескрылый человек.

До невероятия. Корова на его приземленном фоне выглядела бы множественнокрылой, балериноподобной порхуньей ангельского образца. Животному даже не пришлось бы вставать на пуанты, чтобы зрителям это наповал доказать.

Смачно потягиваясь и негрустно зевая, ко мне вышел из дебрей земных вселенных некто, мучительно неопределенный до первого слова. Но с первых же его чего-то заговоривших расхлябанных, как ноябрь, звуков стало до нестерпимых пределов ясно: абсолютно бескрылый человек, такого только в ползковую команду – подчищать некоторые производимые им беспрерывно отбросы, для людей он не годен.

Или я стал не чист. Или время сгублено в грязь. Иль так много людей помутнело, что не видно ни зги.

Вдруг кольнуло обоюдоострой пропажей; я тяжко, навесным взглядом выглянул в сумрачное на протяжении многих дней окно и вместо открывающегося там запущенного сада увидел свою во все лопатки убегающую в даль душу, только пятки сверкали. Она была похожа на пьяноватую и разбитную женщину со следами былой красоты, но еще узнавалась по прошлой легкой побежке, которая вдруг прокрадывалась сквозь тяжкую поступь, отныне ее обуявшую. И сделалось так не-

возвратно, невозвратно, так отлетно в себе, ведь стало без иллюзий ясно, что предельно уставшей от меня душе исчезнуть теперь навсегда средь роскошной утопии этого лишь на первый погляд благого простора, – увы, он тот еще хищничек.

И душно мне стало, и нЕмотно, с сей минуты бездушному, немочному.

Избил с помощью дерзких психопатических пощечин компьютер за саботаж слова «невстреча». Пусть знает, идиот, что такое человеческие чувства! А то привык тут, понимаешь ли, быть эмоционально сухим.

Мне странно, что я живу дольше Чехова, есть уличающее и громко позорящее меня изнутри чувство, что так нельзя, бестактно, неделикатно, да и будет в обиду Чехову. Но если уж Бог или какая-то сбрендившая планида так распорядились и положили, то живи как следует и не ропщи, как норовишь при всяком удобном случае, – у Чехова и такого дурного остатка не было.

Великодушно дарованный Антоном Павловичем последок дней не позволяет мне слишком всласть уж роптать, сладострастно, а то и прекраснодушно углубляться в уныние – умершие чеховские дни истайна наводят на мысль: есть более лучшие углубления, которые можно применить к более лучшим чувствам и смутам.

Хотел бы я быть по деликатности Чеховым, да мне не дают, упорно придерживают: хватит выпендриваться, – нелюбезные говорят. Грубым быть – вот это пожалуйста, вот это отлично дают. А больше – ни-ни. Больше уж ты не смей и пришибся. Не то прямо палкой родимой ошпарят по высунувшейся за лишнее морде. Учителетворно, немедленно и без обиняков. А нечего, скажут с обидой, тут с ним деликатничать, с миндальным-то.

Вот палкой братской по морде – это свободно дают, без лишних проблем премило напотчуют. А так больше ничего не дают. И на том спасибо, огромное, чувствами благодарности насквозь пронизанное.

Сытная проза и лакомая! Дышит во все воздушные, солнечные и океаничные смыслы, в полную грудь распоследнего самого слова, непредсказуемо развеселевшего. По витальным качествам явно превосходит все мыслимые виды земных насыщений. Тут наверняка замешано что-то вполне неземное. Подкрепился на многую массу дней я вперед. И в чем-то неведомом, в чем-то ускользающе главном, что в жизнь потаенно вживляет, с ней обручает, – утвердился светленно, надеждно.

Рекомендую непромедлительно подставить ваш самый пустенький жбанчик под животворящую ту струю. А! Слышите, как живяще звенит и прозрачно в непритронутой, ни на чуть не потраченной тишине? Вот то-то ж! – Питайтесь. Утучняйте в свободное от службы время диковинные свои народы.

Этот человек был из тех, на ком никогда не марается одежда. Так уж чистоплотно он был по природе устроен. Любителям грязного бельишка не в чем даже случилось покопаться, когда – под угрозой усекновенья голов – нужно было раздобыть о нем что-нибудь обыкновенно грязное. Два лишь носовых платка выудили с несколькими капельками солнечной светлоты. Все остальное было еще сиятельнее. Так и поотсекали недобытные головы, без всякой жалости. Да и на что они нужны, если даже грязи раздобыть не умеют.

Я одичавший в поле писатель. Из семейства ясеневых.

Одинокую полевую усадьбу давным-давно, в незапамятные уже поры покинули прежде тщательные хозяева, и усадьба за собственной ненадобностью сама раскатала себя по бревнышку, словно ища что-то более ценное, чем уцелевание, запустила сюда невообразимый прах. Но только мерзость и вольно раскинувшиеся нечистоты она устроила здесь не сама. В этом усадьба была ничуть не замешана.

Ясеневый я тому свидетель. На то, вполне вероятно, меня здесь взрастили и благосклонно оставили, попрекнув развязные топоры.

Из семейства ясеневых, я стоял, вбирая утекавшее глубоко в меня солнце, у колодца в центре утратившего свое зеленое население парка, но вместо колодца я видел лишь небольшой провал в озирающейся напрасно земле, разыскивавшей помощи. Легкий прогиб земли в сторону ада.

А в прошлые времена воду брали еще не оттуда.

Почему во мне так извратили бедную мою родину? Ведь я ее в себе не извращал и никуда не прогонял. И только старался ее беречь сокровенно и нежно, как беспомощного младенца, еще не окрепшего к жизни.

У меня почти уже нет родины. Так, осталось чуть-чуть, на самом донышке, где даже горечи и боли негде скрываться.

На самом последнем донышке, чуть-чуть, что-то темненькое...

Я в ссылке? Нет, хуже, чем в ссылке. Я в изгнании из языка. Потому что то, чем пользуются средь теснин и темнин под видом слов, ничуть не язык. Это сразу беда, а не речь. Это даже не волапюк, а светопреставление.

В который же безмерный раз все начинать с нулевого начала, с применением высшего пилотажа пробивая намозоленным мшистым лбом и еще прочной кровью игольное ушко прохода сквозь твердокаменное безъязычие? В какую пустоту я выйду в очередной беспросветный раз? С каким новёхоньким, еще не надеванным исчезновением я вновь повстречаюсь в себе? А вдруг оно будет мне не по размеру... Этого страшусь больше всего.

26 лет пишу прозу – остался практически без штанов, кое-какие лишь набедренные обглодья тешат на мне иллюзью одежды.

Такой вот непревзойденный раздевательный процесс!

Отменно голенькое занятие, по сути, прозрачное.

Ну а я? – Что – я? А я, дурак, и рад.

Ибо гол как сокол и готов к новым обнаженным полетам, к ожидаемым в ближайшее время нагим пристрастьям. А это уже немало. Так что голеть с упоением продолжаю.

Моя родина там, где мне пишется свободно, во все легкое мое дыхание и во все мои тяжкие. Я родился вот за этим самым столом, за которым сейчас пишу. Правда, это второй... о нет – уже третий стол, за которыми в разное время я писал единственно эти самые, лишь поправляемые и уточняемые, строки. Значит, меж этих слов я дважды, а вернее, трижды осилил родиться? Это что ж получается-то – я троекратное, что ль, существо и должен быть, как Горыныч, о трех порядочно имеющихся головах? Вот только этого мне и не хватало для пущего изобилия, для начатка во мне дурной бесконечности...

Итак, моя родина там, где свободно плещущийся в меня стол. Я явился на свет за этим самым столом, за которым сейчас бог знает что и пишу. Вот сейчас родился. Калякая-малякая. Слышите ли мои хлипкие младенческие недомерочки-звуки? Пригасить чуть высокие ноты, изрезающие слух на говяжьи буквально куски? Простите уж ради всего родимого неразумного новорожденного, чего с него взять, кроме первых криков безумной вполне радости, в которых даже нет пока места крикам о помощи... ...На целый день теперь орать зарядил, препротивно заладил, пока светом каким-нибудь досыта не накормишь. Да где ж на этакую прорву столько света всякого взять? Так и тьме недолго приступить отовсюду, если отнять для этого троглодита у окрестных вещей и событий положенный им от века чистый свет...

Лжечитатель – как лжесвидетель.

Нет, еще хуже. Лжечитатель – это лжесвидетель плюс Иуда.

Я все больше, как-то все глубже ничего не знаю. Что за помутнение, что за тьма порождает во мне эту всестирающую, всеизголившую напасть? Из каких безотчетных глубин растет мое все более меня заполняющее незнание? Но оно – не моя тьма. Это точно, абсолютно точно, хотя и этого я тоже не знаю. Да прежде всего этого-то и не знаю, будучи средь этой мысли совершенно без всяких хоть на что-нибудь зрячее или светлое походивших бы глаз.

У нее со всей внезапностью, на какую неожиданность только способна, обнаружилось неверное мне движение. Я никогда не ожидал от нее такого, она стала навсегда потерянным для меня человеком. А она это движение, а тем паче предательность его и не заметила, продолжала что-то весело, вдохновляясь все взвихреннее, щебетать. Слова споро нанизывались, чистой речью звенели, сверкали, но это уже была не беспечная вязь разговора, а моя тоска.

Непроходимая моя тоска, которая тут же принялась вести меня куда-то вглубь меня, а я боялся туда идти и упирался. Я знал, что сделает со мной тоска в моих застенках.

«Любая судьба хуже смерти». Ивлин Во.

Глоточек чистой русской речи. В аптеке он стоит всего-то 11 не существующих почти что рублей. Внешне он подозрительно напоминает стограммовый пузырик спирта. Но это не так, это заблуждение. Это чистая речь, только в жидком виде.

Монголо-татарское нашествие в виде родни.

А может, уж и коричневая чума.

– У тебя все как-то плохо! – говорит она.

«О, сколь плохи твои дела, если ты так считаешь!» – в ответ думаю я, мгновенно парируя непонимание.

Настолько не вникнуть в меня за щедро продлившиеся годы, настолько быть невпопад и мимо все, мимо, чтобы так сказануть – сквозануть... Чтобы говорить с такой слепой пропастью между нами...

Я для своей родни слишком большая случайность. Невыносимая по своей огромности и непредсказуемости ошибка. Бред ненужности и отъявленной, броско явленной бесполезности.

Нет, не так, вернее, – это родня во мне большая случайность. Я все же за свою кровь постою.

Мусорная я случайность. Хорошей метлы на меня нету, а пора бы ее найти.

Какая-то вынужденная близость разобщенной, не близкой крови. Совершенно бессмысленная эта механически сообщающаяся кровь, привносящая лишь горечь да отчуждение, лишь громкий разор в тихую мою, недоразгромленную душу.

«Ни народностей, друг, ни сословий. Две расы: божественная и скотская. Первые всегда слышат музыку, вторые – никогда. Первые – друзья, вторые – враги. Есть, впрочем, еще третья: те, что слышат музыку раз в неделю. – "Знакомые"». Марина Цветаева.

Мое пространство с каждым годом все резче сужается. Все больше вокруг не моего. Скоро от меня останется, видимо, одна невнятная, никакой утонченной мыслью не ощутимая точка, которая печально подытожит все мои прошлые пространства, переселившиеся куда-то в иное, в ином уцелевшие. Вот задача-то теперь, посложней самой жизни: найти иное. И как-то узнать, опознать в нем себя, былые свои раздолья и запределья. Прозреть в нем горчащую неинакую радость истекших земных дней.

Средь предрассветной ночи, изгнанный за какие-то прегрешения из сновидения, а может, вдруг преданный им, просыпаюсь от страшно ноющего мною приступа отчаянья и, будучи на

самом краешке беспомощно зыблющейся жизни, балансируя, рискуя сорваться за жизнь, во внежизнь, успеваю, еще окончательно не проснувшись, торопливо сказать, как спасительную молитву, как рассыпающее немочь в прах заклинание: «Все будет хорошо!» – и слышу, как поспешно избегает меня мое отчаянье, словно бы глухо ропща на то, что связалось оно не с тем человеком, с каким бы ему по нраву быть в тесном контакте, комфортно чувствовать себя отменным, вскормленным добротно отчаяньем. И я мстительно насылаю ему вслед все тверже и крепче звучащую фразу: все будет хорошо! все непременно будет хорошо! Я так его прогоняю, отчаянье, нахлестывая беспомощность свою – едва волочащуюся клячу – этой лишь чуть менее беспомощной фразой, которая все равно когда-нибудь окрепнет, все равно – и целиком войдет в свои силы. Я ее, ясеневую фразу, пропахшую древним теплым деревом и согретым солнышком осенним днем, – я ее, наверное, буду использовать взамен клюки, потому что к тому времени, как ей стать для меня незаменимой опорой, порядком уж сделаюсь возрастным человеком.

Теперь, пока отчаянье в бегах, скорей уснуть, тесней, поуютнее сжавшись в мысли, въединившись в них беззазорно, тщательно подоткнув их, как края одеяла, со всех сторон, чтоб ниоткуда не дуло. Чтобы не тянуло ни из единой щелки тревожным сомненьем и смертью, безлико прячущейся во всех ловко утаивающихся в тело сквозняках.

И я засыпаю, я медленно отплываю, уже на грани изнова вернувшегося отчаянья чувствуя, как в узкую, но непереходимую щель меж собой и не-собою жутко проваливается и исчезает все для меня самое главное, существенное до дальних самых слез, которых за тяжкой завесью сна я, конечно же, не обнаружу. Я буду крепок, как сон. Я просто буду.

Он был призраком света, если ему удавалось не быть иными призраками, сильно затмляющими его зыбкую и легко переменчивую словно тень душу, которой уже не терпелось быть ничем.

Я внезапно увидел ее с точки зрения света, но не сразу понял это и поначалу грешил на былую любовь, которая всегда старается представить ее в выгодном и щадящем свете, – но такой свет, впрочем, уже и не свет, а многажды отраженное, изолгавшееся в превращеньях сияние. Да и ты – не ты, вряд ли ты.

Но с точки зрения света это все еще была ты. Теперь я не сомневался в этом ничуть.

Зоркий свет извлек ее из многослойной толщи наваленных неряшливой грудой лет – за ними так долго и успешно пряталась та, которую я любил. Теперь я это отчетливо вспомнил. Но пока невозможно было различить, где было прошлое, а где – собственно любовь. В прошлом еще смеркалось и мерцало, как и в любви. Там не рассеялись еще потемки, которые сгустились сразу же, как только мы слишком резко отшатнулись в будущее – едва успела закрыться с грустью прощания дверь мгновенно уже не нашего дома.

Отсутствующий рассказ

В этом рассказе не будет ни единого человека, кроме призрачного главного героя, да и то мы воспользуемся лишь его зыбкими, летучими чувствами и зимним взглядом на вещи. Только так может осуществиться на этом вот месте отсутствующий рассказ. Только так можно соблюсти абсолютную чистоту, которую нам кто-то доверил в неизвестных целях.

Моя свобода – это слова, слова и еще тысячу раз слова, до времени молчащие живно во мне, а потом выглянувшие наружу. Моя пространная и просторная, свежего ветра русская речь: вы слышите, как наши дали перекликаются? Ну какой свободы мне еще надобно, когда мой язык и так наделяет ею в щедром избытке?! – только успевай всем миром владеть, этот мир славословя.

Какое-нибудь заунывное, стоптанное во многих хождениях «ну» дает столько обворожительного приволья, сколько не дадут, как всегда поскупившись, и семь тыщ зелененьких. А сколько у меня таких «ну» про запас (в том числе и неприкосновенный)! На любой вкус, на все лады. А

тут еще легионы всех других необозримых слов отовсюду посматривают, просят взять их с собой, по возможности оживить. Как легко мне быть словесно свободным! Это любимая моя воля. Мой самый распросторный простор.

Не стоит удивляться, Валерий – это лишь мое внешнее, расхожее имя, необходимое для того, чтобы попусту меня не отвлекали – пусть терзают этого высунутого наружу Валеру. (К тому же по младенческой поре меня с недельку звали Алексеем, заранее опорочив немного второе прозвание, которое от такой свистопляски получилось заметно бракованным.) Валерий – это место для контактов с общественностью, как бы сляпанное грубо вместилище для деловых встреч, летучек, утечек и сходок (но для тусовок оно уже не годится, тут надо что-то иное: тусовки – занятье блестящее; для них пусть буду я Серж). А на самом деле меня зовут совсем-совсем по-другому. Я покуда еще и сам точно не знаю, как доподлинно, исчиста меня звать, лишь по ночам иногда смутновато догадываюсь, сквозь бред тихо бредЯ и раны сердечные бередя.

Надеюсь, пока в живых толкусь, все-таки раздобуду всеми правдами и неправдами свое прилепленное ко мне (а потом по нечаянности отлетевшее на каком-то крутом вираже до-судьбы) еще до рождения неистребимое и неповторимое имя мое. Приложу к этому крайне существенному изыску множество самых отборных, свежайших сил, безоговорочно оторвав их от второстепенных усердий по вечному выживанию среди многих наших россий.

Что бы я ни писал, вероятней всего, я только стремился выразить полную волшебного света и палой листвы осень, распахнутую в мою ясность. Все остальное лишь в приложении к осени, в сносках, примечаниях, случайных оговорках. В приближении к солнечно стелющемуся в округе, забывшемуся в себе сентябрю. Все иное вынесено за скобки ее разительно точного и совершенного бытия, ее пронзительно ясного и вместе с тем утаенного понимания – так как стало по отношению к осени непоправимо иным и всегда излишним. Всегда... Ну не плачь ты, не будь такой безутешной, моя потеря! Ты-то, может, еще вернешься, чтоб порадовать свежим следком незажившего, чуть-чуть лишь былого. Ты-то, может, благостно еще ранишь. Хотя бы промельком, впромах хотя бы живительно и с надеждой убьешь.

А засим – что?
А засим жизнь проиграна.
Переигрыш состоится на том свете. Если будет теплая и сухая погода.

Благополучный финал

Ни на кого литературного влияния не оказал, никакой школы не создал. Умру себе с чистой совестью: не навредил.

Вот, еле-еле уложился в бессмертно морозный январь. Не серчайте, побегу скорей собираться в дорогу, чтобы успеть уложиться и в любимый за капЕльную простоту речи февраль. Как говорится, до свиданья, до свиданья, до свиданья три разА, а еще раз до свиданья, ваши синие глаза, – я просочился талыми тропками в март, неверно скользящими под ногами и заблуждающими. (Как молодо, остро пахнет живительно сотворяющей тебя заново сыростью! – я на нее беру ориентир, это верный маяк – запах гибнущего в солнце талого снега, он меня необманчиво выведет, влажный аромат ранней весны.) А там, рукой уж подать, – запропащающий простор зеленой, вскружившей память весны, вот сиятельный июнь сверхвоздушный, ошалевший от ожиданья меня; пряча нетерпеливость и робость, подает мне на случившейся тут переправе свою незлобивую тополиную руку; нет сомнений, что бог весть как здесь протекшую реку мы теперь одолеем легонечко вброд. Как никто, июнь знает, куда сопроводить меня дальше, а коль увяжется за нами приблудно удача, – и выше... До скорого, до скорого! Никогда не забудем друг друга, только никогда не говорите никогда! – тут дремлет древний лукавый, недолго его и разбудить. Никогда-ни-

когда. Но, как говорится, долгое прощание – длинные крики. Посему укротим наши безмерные расставания и, от греха подальше, по-хорошему разойдемся, пока не вышло вдруг чего-нибудь лишнего, вплоть до избытков чувствительности.

Пятясь меленькими шажками, незаметно делая расстояние меж нами огромным, безбольным, по временам посылая издали ободряющие знаки почти что приветствия, рискуя нарваться на возвратную встречу, мы со временем исчезнем друг у друга со всех горизонтов, лишь в глазах сохранив верную, умную память, какую-то совсем не мешающую бесценную ее былинку. Так будет выглядеть наше идеального случая расставание. И ничего уж тут не попишешь, пора призывать на помощь нашу милую странницу – точку, чтоб она нас пленила закрытою фразой, да только вот куда она запропастилась за время нашего вконец заблудившегося странствия?

Неверкино – Саратов, 2002 – 2003; 2007 – 2009

Александр АНАШКИН

Минус тридцать

Троянский конь, индийское кино,
под языком культуры две таблетки.
Дым над водой, окурки, малолетки,
оптический обман, двойное дно.

Отрезок века, между А и Б
Стругацкими, похож на время оно:
романтики играют на трубе,
прагматики – на трубке телефонной.

А листья жжёт холодная война.
И душами ракет из книги мёртвых
пасёт зенит год семьдесят четвёртый.
И повторяет наши имена.

Что изменилось с тех прозрачных пор?
Ответить «Всё!», и выбежать из дома.
А там зима на два аэродрома,
американский фильм, московский двор.

Сжатие

Есть сжатие словес: до точки, до седин.
Есть темнота вразвес и свет «не навреди».
Есть ласковый резон и злость прямых дорог.
Есть парус-робинзон, корабль-единорог
и белая, как сталь, вода семи морей.
Но человек устал. За тайнами дверей
лежит подруга жизнь, счастливая, поди,
от сжатия пружин, до холода в груди.

Антей

I

В ожидании силы Антей изучает Коран:
удивляется сурам, таращится на номера.
А за ним вторая контора следит в экран,
с беспокойством муторным, именем бога Ра.

Да и кто их ведает доподлинно, без огня,
эти заживо выдергивающие из темноты,

Александр АНАШКИН родился в 1964 году, окончил Московский Горный институт. Печатался в журналах «Знамя», «Крещатик», «Новый Берег», «Юность» и др. Автор книги стихотворений «Другая метрика» (М., 2006). Живет и работает в Москве.

речи, от слова книжного, то ли поднимут над,
то ли отнимут лишнее, срезав до наготы?

Глянешь – внутри бумага, пристальней прочих дел.
А как поднимешь голову – нет по тебе врага!
Только земля под куполом помнит про твой удел,
держит в полях, как пугало, воина-дурака.

II

В ожидании силы Коран изучает Антея:
смотрит – какой красивый, пробует на язык.
А у второй конторы сердце шалит в антеннах,
глохнут в жару моторы и на экранах зыбь.

Вот он – ребёнок почвы, мальчик сырой и темной
матери-одиночки, первенец без вины, –
ходит тяжёлым шагом, как боевой котёнок,
ищет себе Геракла, равного от войны.

Сила, сильней подъемной, не от земного ложа,
кружит над водоемом, светится в глубине.
Там, где Антей бессилен. Там, где Геракл не должен.
Где для второй конторы зла под ногами нет.

* * *

нагая осень смерть не говори не надо
молчание во сне волшебная монада
за всю покатость плеч повинную сноровку
не спрятать эту речь не вывести на кромку
там ветер во плоти дождь в черном капюшоне
и мимо не пройти большим умалишенным
останутся следы разбросанные листья
качание воды живая память лисья

Окно

Мир начинался с этого окна:
тяжелой шторой, медленным движеньем
распахнутой одежды, наложеньем
теней и света, временем без дна
и новым утром обнажённой ночи
с окном внутри: чем ближе, тем больней.

Смотри, как вписан в грацию коней
объездчик, как меняется стекольщик,
когда дрожит от улицы стекло.
Как будто мало сверху вниз стекло
дрожащих капель, гибких ручейков:
сольются два и тут же высыхают.

Вот если бы об этом не стихами,
не просто так, не для черновиков...

Гурам СВАНИДЗЕ

Тополя

Здесь было село. После того, как в этих местах построили маленький винный завод, населенный пункт «повысили» в статусе – деревня стала городом.

Не исключено, что по такому случаю на одной из улиц были высажены тополя. С того момента в городке ее считали центральной.

Как известно, тополя из породы быстрорастущих деревьев. Через некоторое время они уже были выше любого здания города. Один из них закрыл вид на горы, которые раньше виднелись из окон моего дома. Но однажды порыв сильного ветра согнул дерево, и на время я опять увидел спокойный горизонт, горы. Порыв ветра продлился, тополь силился воспрянуть, его листья в панике трепетали.

По весне тополя пускали пух. Невесомая пушинка подолгу зависала в воздухе. В самой сердцевине ее прозрачной плоти виднелся белый сгусток семени. По дороге в школу я поймал пушинку и выпростал из нее семя. Из него прыснула черная и вязкая, как тавот, жидкость. Испачкал себе белую сорочку. За что получил дома взбучку.

Осенью, к октябрю, в желтеющую крону тополей набивались воробьи, которые деловито чирикали. В лучах яркого солнца таяли кроны тополей и нашедшие в них приют пташки. В это время по улице на арбах крестьяне с окрестных деревень везли на завод виноград. Караван тянулся медленно и молча. Только поскрипывали деревянные арбы. Убаюканные дорогой и воробьиным гвалтом, жмурясь от солнца, крестьяне в полудремотном состоянии погоняли вялых волов. Те монотонно жевали жвачку и иногда лениво хвостами били себя по крупам, отгоняя назойливых мух. Местные мальчишки подкрадывались к каравану и воровали из огромных плетеных корзин кисти винограда.

Под вечер смолкали воробьи, из городка уходила последняя арба, ворота заводика закрывались. Улица оставалась пустынной и безмолвной. В сгущающихся сумерках ее осеняло золото тополей... Кучки навоза напоминали о караване.

В городке отсутствовала служба озеленения, которая делала бы обрезку, освобождала бы тополя от сушняка. Со временем те обезобразились. В голом виде зимой они походили на монстров. Снег навел бы марафет. Но снег у нас выпадал раз в год и то на день-другой. Зимой обычно у нас дождит. Монстры мокли и терпеливо ждали летнего наряда.

... Но вот появилась служба озеленения. Она спилила тополя. Большое местное начальство распорядилось. Дескать, весенний пух аллергию вызывает.

Наследство от идиота

В одном просвещенном московском обществе я принял участие в салонной игре. По очереди назывались фразы, означающие «смерть». Запнувшийся выбывал. Мне, технарю, было трудно угнаться за филологами. Выражения типа «ушел в мир иной», «преставился», «отдать концы»,

---

Гурам СВАНИДЗЕ родился в 1954 году в Тбилиси. Кандидат философских наук. Работает в Комитете по гражданской интеграции Парламента Грузии. Автор ряда научных статей по проблемам глобализации, гражданской интеграции, эмиграции и др. Издал сборник рассказов «Городок». В 2003 году получил премию литературного конкурса «Бекар» за рассказ «Октябрь», в 2004 году – I премию журнала «Русский переплет» за рассказ «Американец». Публикации в «Неве» и «Дружбе народов».

«протянуть ножки», «отбросить копыта», «сыграть в ящик», «дать дуба», «почить в бозе» казались им тривиальными, и они снобистски морщились. Игру продлевало обстоятельство, что компания была многонациональная и допускались переводы на русский. Но и эта поблажка не помогла мне, и я долго оставался в аутсайдерах. Одна дама-лингвист записывала новые для нее обороты.

Вдруг меня осенило, и я произнес «Ке-ке». От неожиданности все смолкли. Потом спросили перевод, кое-кто засомневался, вообще слово ли это.

Та самая лингвист, что записывала, заметила: «Знаю я это ваше кавказское гортанное или фарингальное согласное». Затем без запинки и правильно произнесла на грузинском: «Бакаки цкалши кикинебс», что означает: «Квакушка квакает в аквариуме». Видимо, она – хороший специалист, подумал я. Но в свой блокнот «специалист» мою фразу не внесла. Между тем, с этим «неологизмом» связаны истории.

Слово изобрел Важа – местный дурачок. У него была инфатильная речь, что доставляло ему немало неприятностей. Однажды мужчины играли на улице в нарды, когда вдруг принесли весть, что скончался столетний дядя Вано. Возникла некоторая заминка. И тут Важа произнес: «Вано ке-ке!». «Слово» прижилось. У нас, в одном из кварталов тбилисской Нахаловки, оно считалось интернациональным. Правда, русским произносить его было труднее из-за этого «к».

Что ни говори, такие, как Важа, нужны! Можно было «прикинуться» Важей, куролесить, лепетать как дитя. Но безвозмездно ли?

Этим вопросом одним из первых задался наш сосед Бежан, когда ему стало совсем плохо. Он долго корил себя за то, что злоупотреблял алкоголем. Но потом вдруг на него нашло – он наказан.

Случилось это в тот день, когда умер Роберт, молодой парень. Тот страдал от безжалостной болезни и скончался в больнице. Позвонили соседке. Женщина вышла из своих ворот на улицу и со слезами в голосе сообщила новость. В это время Бежан с другими мужчинами играл в домино. Он выигрывал и пребывал в хорошем настроении. «Роберт ке-ке!» – вырвалось неожиданно у Бежана. Но этого никто не заметил, потому что остальные мужчины всполошились и подошли к соседке. Бежан с костями домино оставался сидеть.

Через некоторое время у Бежана стала побаливать печень, пропал аппетит, появилась слабость. Он вынужден был оставить работу в таксопарке. Вдруг начал расти живот... Врачи установили – цирроз.

Он лежал в постели, когда в голову стукнуло: «Бежан ке-ке!». Стало обидно. Он позвал жену и попросил подвести его к окну посмотреть, что там на улице. Как всегда, под летний вечер мужчины играли в домино, бегали дети. Ему мерещилось непрекращающееся: «Ке-ке-ке!». Похоже, как гуси гогочут.

Был случай, когда слово стало причиной убийства.

Петре ненавидел своего старика-тестя. Он называл его «пердящей субстанцией». Филиппе (так звали отца жены), в свою очередь, считал зятя неудачником – «умным дураком» или «дурным умником». Тот был единственным, кто имел высшее образование из всех живущих в убане, но зарабатывал меньше шоферов, работников прилавка, которые преобладали в соседском окружении. Бесило Петре то, как Филиппе чавкал во время еды, но особенно то, как произносилось им одиозное «ке-ке». «Каркает как ворон!». Ему становилось жутко, когда представлял себе картину: он умер, а Филиппе говорит на улице: «Мой зять ке-ке!»

Петре действительно смертельно заболел.

В то мартовское утро он сидел на скамейке в садике. Он ослаб. Сидел, укутавшись в пальто. Филиппе ковырялся в земле, подкапывал виноградник. В какой-то момент Петре послышалось старческое брюзжание, дескать, у людей зятья как зятья, а ему – старику самому приходится в

саду ковыряться. Больной разнервничался, в нем поднялся гнев. Он схватился за садовый нож встал, качаясь, и с воплем «ке-ке!!» направился к тестю...

Следствие списало убийство на временное помутнение разума больного. Петре что-то лепетал, как Важа. Сам он умер скоро. Его похоронили в деревне, далеко от этих мест.

Однажды я услышал это сакраментальное слово в женском исполнении. Моя соседка – врач. У нее жила сестра, приживалка и старая дева. Однажды по просьбе хозяйки я возился у них на кухне, починял кран. В это время докторша принимала пациентку, обследовала ее грудь на предмет опухли. Слышу, как она сказала женщине, мол, снимок сделай, на ощупь что-то есть. Стукнула дверь, ушла пациентка. Тут приживалка торжественно и радостно выдала: «С ней ке-ке, так ведь!» Обе злорадно захихикали. Пикантности ситуации прибавляло то, что пациентка приходилась сестричкам подружкой.

Я помню Важу постаревшим и забитым. Вольности, которые ему дозволялись, не делали его счастливыми. Этот идиот всегда страдал. Он, может быть, не помнил, что одарил Нахаловку таким словом. И вот в Москве я про него вспомнил.

Совсем недавно тоже...

Мне с сотрудниками довелось поехать в Менгрелию на похороны родственника нашего начальника. Менгрельцы вообще отличаются большой изобретательностью по части разных церемоний. И на этот раз нас ожидал «сюрприз». Когда мы вышли из автобуса и понурые направились к воротам, то у самого входа столкнулись с портретом пожилого мужчины в натуральный рост. С полотна на нас сурово смотрел человек в сером костюме. Его правая рука отделялась, торчала, преодолевая двухмерность изображения – ручной протез. Рядом стоящие родственники плачущим голосом (женщины голосили), разъясняли прибывающим, что покойник любил встречать гостей у самых ворот и всегда подавал им руку. Среди людей в трауре я увидел мужчину, правый рукав костюма которого был пуст и заправлен в карман. С жутким чувством я пожал протез. Одной из сотрудниц стало дурно. Пришлось объяснять присутствовавшим, что она очень близко была знакома с усопшим...

Но вот церемония закончилась. Мы вернулись с кладбища. Зашли в разбитую во дворе палатку, заставленную столами. Помянули вином умершего. Когда мы выходили из палатки, «под мухой», качаясь, увидели, как мимо нас на тележке провозили портрет. Уже без «руки». Что-то знакомое вдруг послышалось. Плохо смазанные колеса тележки издавали «ке-ке-ке».

Кстати, под конец той самой салонной игры в Москве кто-то предложил перебрать словесные обороты, синонимы слова «жизнь». Увы, таковых, не нашлось.

Приятель

Мой брат был темнокожий, кучерявый грузин, а я пошел в дедушкину породу со стороны матери (так говорила бабушка) – белокурый и голубоглазый. Однажды на базаре я играл в футбол с мальчишками. За нами наблюдали двое русских мужчин с испитыми физиономиями. Таких в городке называли бродягами или босяками. Слово «бомж» в то время не было в ходу. Они – горестные остатки войны, прибыли сюда на «юга». Самые здоровые из них дотянули до конца 50-х. На местный металлургический завод их не брали. Куда им было, доходягам и алкоголикам! Они подрабатывали на базаре носильщиками.

В какой-то момент мяч вышел из игры и оказался у одного из них. Я подбежал и попросил мяч. «Вась, Вась, – воскликнул один из них, – смотри, русский мальчик!», – крикнул он прикорнувшему подельнику. Он был серьезным и даже торжественным в этот момент. «А вот еще русский мальчик, – сказал я, показывая на другого мальчика, – а вон – еще». Мужчина оценивающе

посмотрел на других русских мальчиков и пренебрежительно махнул рукой. Почему-то тогда ему хотелось, чтобы его кровей был только я. На его лице отпечаталось достоинство, какое люди его типа редко себе позволяли. Наверное, когда вспоминали лучшие деньки.

Мы боялись бродяг. Их угрюмости. Наш дом находился в центре городка, построенного еще немецкими пленными. Когда я и брат заходили в подъезд, старались бегом пронестись мимо лестничного пролета, ведущего вниз, в подвал. А когда поднимались на четвертый этаж, стучали во все силы в дверь и старались не смотреть на лестницу, ведущую вверх, на чердак. Там тоже могли находиться бродяги. Их гоняла милиция. Экзекуции всегда сопровождались воплями и битьем.

Поэтому бродягам приходилось жить на «отвале». С металлургического завода вывозили шлак – валуны, огромные, в форме вагонеточной ванны, пылающие жаром, черно-красного цвета. Обитатели отвала в этом время обживали другие валуны, «уже отходящие», в метрах 20-ти. Они присматривались к новым. Рассчитывали, что шлак станет приемлемо теплым через 3-4 дня. Зимой ждали меньше. Так шлакохранилище по мере, как оно росло, уводило дальше и дальше от города этих бродяг. Некоторые из них умирали уже по дороге в город. Из-за дистрофии.

Но иногда смерть бывала другой. Когда валуны охладевали или из-за какой деформации, они обваливались или поворачивались с бока на бок, давя обитателей завала. Слышно было, как несчастные кричали, потом постепенно замолкали, умерев. Спасти их было невозможно. Тогда не было такой техники. И не протиснуть ее было по узкоколейке паравозика, тянувшего за собой вагонетки...

Но вот однажды у нас завелся дружок из бродяг. Звали его Николай. Раньше его никто не видел. Он был таким же грязным, обросшим. Но не было в нем угрюмости, характерной для его братии. Николай привлек внимание тем, что однажды на улице, встав, как по команде смирно, отдал честь моему отцу, когда тот выходил из американского «джипа». «Честь имею, товарищ полковник!» Папа вяло ответил ему и спросил, какого звания и где служил Николай. Тот был старшим лейтенантом и служил в том же роде войск, что и мой родитель – в ПВО. Отец немного подумал, а потом приказал Николаю следовать за ним...

Мать была не в восторге от такого гостя. Но я помню, он весь вечер старался держать военную выправку. Ему накрыли небольшой стол. Под конец оба развеселились и вспоминали потешные случаи из военных будней. Папа рассказывал, как во время занятий расчет, которым он командовал, умудрялся дуплетом сбивать две цели. «Вторую прямо почти на уровне травы!» Николай вспоминал, как их накрыли «Юнкерсы»:

– Налетели вдруг, как стервятники, пока мои по местам рассаживались, нас землей засыпало от взрывов. Через часов пять всех по одному выкопали.

Здесь гость сделал паузу. Заметил как бы про себя: «А чего старались!» У папы изменилось выражение лица, и он сказал, что Николаю «пора уходить». Тот послушно встал, хотел было вытянуться в стойку «смирно», но нетерпеливый жест отца предупредил его желание. Мать набрала в сумку съестного гостю. Потом она долго проветривала комнату.

Через некоторое время мы встретили его на улицу. Нас, меня и брата, вела за руку мать. Николай весело подмигнул мне и брату.

Через неделю он, видимо, измученный голодом, попытался прийти к нам в гости. На робкий стук в дверь ответил папа. Николай чувствовал себя совершенно уничтоженным. Отец отвернулся от него, слегка прикрыл дверь. Он молча набрал припасов и, не произнося ни звука, передал их Николаю. Когда тот начал раболепно благодарить за съестное, перед ним хлопнула дверь.

Когда он пришел в третий раз, ему уже не открыли.

Но с нами он сдружился. Вокруг него собиралась ребятня. Нико (так мы его звали) умело показывал фокусы, рассказывал про войну. Особенно он благоволил мне и моему брату. Мы приносили ему наши школьные завтраки. Так поступали и наши товарищи. Однажды, когда мы шли по улице с матерью, Николай, как обычно, весело окликнул нас «Гури-Зури, Зури-Гури!!» На самом деле меня звали Гурам, брата – Зураб. Тут моя мать первый раз улыбнулась при встрече с ним и спросила про здоровье. Николай онемел и только потом выдавил из себя:

– Спасибо!

В следующий раз я и брат наблюдали сцену, когда на улице пьяного Николая избивал милиционер. Мы оба разом посмотрели на мать, помочь ведь надо. Но она промолчала. Николай увидел нас и, мне показалось, что ему было страшно стыдно. Он сник, лежа на земле, никак не реагировал на тычки сапог милиционера. Лицо закрыл руками. Пережидал, когда мы пройдем мимо.

А однажды Николай пропал. В городе его не было видно. Потом мы догадались пойти на завал. Родители строго запрещали туда ходить. Это место считалось страшным. Но мы – шесть мальчиков – рискнули. Как всегда, набрали школьных завтраков. Купили даже несколько пончиков... Стоял апрель. На завале было тихо, ни одной живой души. Два гребня яйцеобразных и расколовшихся шлаковых валунов (они были черно-зеленого цвета) тянулись вдаль параллельно узкоколейке. Мы знали, что «кукушка» с завода с вагонетками появляется здесь ночью. Сами же обитатели днем уходили в город. Мы начали кричать «Нико, Нико!» Долгое время никто не отзывался. Потом до нас донесся слабый голос. Мы бросились по направлению, откуда шел голос. Потом мы увидели изможденную фигуру человека, неловко спускавшегося с валунов к узкоколейке. Это был Николай.

– Сюда нельзя, – бросил он нам, – ногами можно провалиться. Лучше я сам спущусь.

– Мы тут принесли тебе еды, – сказал я. Он долго не мог отдышаться.

Николай сидел на шпалах и медленно жевал пищу. Смотрел куда-то вдаль. Легкий ветерок теребил его шевелюру.

– Хорошо здесь, в Грузии. Небо всегда голубое. Вон валуны даже проросли травой, кузнечики стрекочут. А вы на камни не садитесь и на рельсы – тоже. Все тепло из вас вытянут, простудитесь, как я.

Прошло полгода. Наш приятель реже стал появляться в городке. В один пасмурный февральский день распространилась весть, что на хранилище опять обвал. Подмяло несколько бродяг. Мы побежали туда. Милиционеры из оцепления не пускали нас. Пришлось сделать крюк и так обойти оцепление. Где-то в этом месте жил Нико. Смотрим в расщелины и ничего не видим. Кое-кто даже плакать начал. Нико услышал нас. Что-то говорил непонятное. Вдруг его голос, набравшись силы выдохнул как из преисподней:

– Счастлив я, что кто-то меня оплакивает, бедолагу!!

Через лет десять завезли технологию. С ее помощью при переплавке из кремня даже золото стали добывать. От «отвала» ничего не осталось. Бродяги к тому времени уже все умерли.

Подростковые игры

Мальчишки, собирались на чердаке заброшенного дома. «Резались» в карты и сплетничали, делились своими познаниями. Вано знал, как будет слово «задница» на 25 языках. Не исключено, что выдумывал. Один умник показал, как можно измерить свое мужское достоинство – средний палец максимально втягиваешь вовнутрь и его кончиком касаешься ладони и потом линейкой измеряешь расстояние между точкой касания и кончиком пальца. Темо поведал, что зашел по какой-то надобности в дом учительницы по английскому языку и увидел «ее голую тень». Окно в ванную была закрашено, так что через него можно было видеть только силуэт... Я был вне конкуренции, заимствовал слова из медицинской энциклопедии. Даже нарисовал матку в разрезе. Хихикали вдоволь.

Я был хорош собой. Блондин с голубыми глазами – большая редкость для грузинской глубинки. Девчонки поглядывали на меня, шушукались при моем появлении. Уже в Тбилиси, будучи студентом университета, изучая классическую литературу, я понял, что еще в подростковом возрасте мне выдалось познать прелесть буколических игр... Дернув кого-нибудь из девиц за косу, мальчик во весь дух несся по зеленому газону огромного школьного двора, а девочки шумной стайкой гоняли его, вроде как пастушки преследовали Дафниса. Неожиданно я разворачивался и бежал им навстречу. По инерции они проносились мимо. Их щеки горели румянцем – от того, что запыхались или... от удовольствия.

Была среди них разбитная девица Валя. Она таки догнала меня. Тут произошло неожиданное. Девочка прильнула ко мне и сильно прижалась губами к моей щеке. Никто ничего не понял. Меня, кажется, одарили поцелуем. В тот момент мне показалось, что некто ведет себя странно.

С той поры в пылу детской суеты и маеты на мне остановился пристальный взгляд. Так смотрела Валя. Глаза у нее были черные и как будто печальные.

Я не знал, как реагировать на это. Мне ничего не стоило осадить ее, бросить: «Чего пялишься!». Но откладывал.

Как-то меня поколотил второгодник Бено. Я сидел за партой один, всеми покинутый. Вдруг ко мне подсела Валя и тихо спросила, не больно ли мне. Никто не замечал нас. Она провела своей рукой по моим волосам. Я не сопротивлялся. И тут на меня нашло. Как помню, в первый раз жизни защемило сердце. Позже стал осознавать, что так проявляет себя моя тревожность. Неведомые чувства пугали, но казались сладостными. Я открыл для себя очарование своей отдельности от всех – одиночества. Она делила одиночество со мной.

Эту Валю считали малахольной. Вся ее семья была чудной. Они приехали из российской глубинки. Вернее, отца, военного, перевели к нам в городок. Валя и ее сестра учились в русской школе при военной части. Ее мать – белесая баба – говорила очень громко. Ей дали прозвище – «радио». В одно утро она вышла на балкон и разбудила соседей гомерическим смехом. Сбивчиво рассказала, что младшенькая заснула с булкой в руке. Ночью к булке подобралась крыса и заснула у спящей девчонки на животе. Утром сцену застала мать.

– Не хотелось их будить, так мило было, – давясь от смеха, рассказывала белесая баба.

Я ничего не стал рассказывать на чердаке. Что я мог сказать? То, что у меня дискомфорт в левой груди, и что в этом виновата дурнушка Валя. Но произошел случай, когда я уже вполне членораздельно мог поделиться впечатлениями.

Мой отец был врачом. Он практиковал на дому. От клиентов не было отбоя. Когда начинался осмотр, дверь кабинета закрывали, когда заканчивался, дверь открывалась. Было слышно, как отец слабо сопротивлялся, когда ему предлагали гонорар.

В тот вечер на прием Валю привела мать. Открывая дверь, я слышал, как басила ее матушка.

На случай визита к врачу Валя тщательно помылась. От нее пахло дешевым земляничным мылом. Новое платье еще пуще выдавало ее болезненную худобу. Девочка несколько зарделась, увидев меня. Отец проводил их в свой кабинет. Некоторое время оттуда доносились приглушенные звуки «радио». Потом она замолкла. Тишина была продолжительной. Зазвонил телефон. Спросили отца. Я постучал в дверь кабинета и позвал его. Он вышел и поспешил к телефону. Аппарат находился в другой комнате. Впопыхах отец плохо закрыл дверь, и она приоткрылась...

В проеме приоткрывшейся двери я увидел Валю. Она стояла вполоборота. Нагая, с потупленной головой. Одна рука прикрывала грудь, другая опущена. Костлявая спина плавно переходила в овал попки. Легкий сквозняк со стороны двери привлек ее внимание, она повернулась лицом. Наши взгляды встретились. Валя осталась стоять и не делала суматошных попыток прикрыться. Я увидел, как ее черные глаза стали наливаться влагой. Кажется, собиралась расплакаться. Ее мать сидела в глубине комнаты и не могла меня видеть. Из оцепенения меня вывел голос отца. Он с кем-то прощался по телефону.

На следующий день перед уроками я встретил Валю в буфете. Ее лицо, глаза были такими же, как вчера, грустным. Я купил четыре пончика, угостил ее и убежал.

После уроков на чердаке я потчевал компанию словом «кинеде» и не позволял себе ничего личного.

Никто не замечал нашего «интима». Однажды после урока мы остались вдвоем, сидели за партой и будто что-то вычитывали из книги. На самом деле меня одолевал нетерпеж. Тут Валя положила голову мне на плечо. Я вытянулся в струнку. Она прижалась ко мне и пальцы ее правой руки легкими прикосновениями стала путешествовать по моей груди... Ощущение было таким острым, что на некоторое время у меня помутнело в глазах.

На следующий день к компании на чердаке прибился Григол. Он был рыжий и толстый. Ему нечем было поделиться с нами. Толстяк долго ходил кругами, пока не принес «новость» – его соседка и наша с ним общая одноклассница Валя пришла вчера в школу без... штанов. Григол уверял, что в подъезде их дома после школы, когда она поднималась по лестнице наверх, на свой второй этаж, он глянул ей вслед и... увидел. Я вспыхнул, услышав такое, но быстро собрался, чтоб не привлекать к себе внимания.

– Вот почему она весь день такая тихая была! Перед тем, как сесть, платье аккуратно подберет, – пытался подогреть интерес к сенсации рыжий толстяк.

Григол не унимался. Он рассказал, что младшая сестра Вали иногда выскакивает нагой на балкон.

– Выбежит голышом, повернется то так, то этак, и шмыг обратно в комнату. Сам видел, – говорил он.

– Эта та, у которой на животе крыса спала? – последовал уточняющий и обескураживающий вопрос. После него толстяк больше не возникал.

Я молчал. Более того, мне показалось, что мои чувства оскорбили.

Скоро чудное семейство уехало. Отца перевели на другое место службы.

Шурик

Русских в городке было мало, и их дети тучностью не отличались. Один только Шурик. Грузинские прозвища типа «хозо», «дундула», «бекке» к нему не прилипали, русские тоже. Шурик сам по себе был приметной личностью.

К примеру, он оказался единственным из зала, кто откликнулся на приглашение заезжего факира принять участие в аттракционе. Фокус шел своим чередом – Шурика, «смельчака из зала», как его назвал артист, уложили в ящик. Осталось только «распилить» толстяка. Когда факир и его команда демонстрировали залу, какие у них острые пилы, Шурик, лежа в ящике, вдруг начал тихо обреченно всхлипывать. По его толстым щекам текли крупные слезы. Когда фокусник обратил на него свои взоры, он вначале даже не понял, что происходит. Потом, догадавшись, сказал «смельчаку из зала»: «Иди, иди домой, мальчик!»

Однажды, заблудившись, через весь город проехалась и остановилась у здания вокзала американская машина. Дело было вечером. Почти весь город бросился смотреть на чудо-юдо. Американские машины в городке можно было видеть только в будке чистильщика обуви-ассирийца. Мы подолгу заглядывались на яркие вырезки из иностранного журнала. Помню, как хозяин будки и этих картинок сказал нам: «Выучитесь, потом сможете купить такие автомобили». Но пока это не случилось, мы стояли, обступив плотной толпой американскую машину – «Бьюик» 1956 года выпуска. Те, кто сидел в салоне, мешкали в неуверенности. Но вот из окна высунулся небритый мужчина в шляпе и с армянским акцентом спросил, как проехать до «Эрэвана». С таким же успехом можно было спросить, как из нашего городка добраться до Парижа. Тут вступил в свою роль Шурик: «Дяденька, Вы американец?» Мужчина как будто испугался и начал доказывать, что он – «советский армян». «А почему странные вопросы задаете?» – не унимался толстяк. Голова мужчины тревожно задвигалась, а потом скрылась в салоне. Суматошно заработал мотор, толпа расступилась, и «Бьюик» рванул с места. Мы смотрели ему вслед и прикидывали, какая у него скорость. А те, в салоне авто, наверное, находились под впечатлением – в вечерней темноте в маленьком грузинском городке их обступила толпа, которая странно молчала, а вопросы задавал только толстый русский мальчик.

Внешне Шурик был похож на мамашу – «купчиху» с картин передвижников. Так назвал ее один знакомый нашего семейства. В городке он считался образованным человеком. Знал много слов. Поминая купчих и передвижников, он сплетничал о матери Шурика и при этом прибегал к ненормативной лексике, которой тоже владел исправно. Мнение, которое при этом высказывалось, было широко распространенным в городке.

Ее звали Надя. Последнее время, как я ее помню, она чинно гуляла с маленькой дочкой, такой же полной и холеной. Шурика мать одевала не без претензий. Однажды он заявился в школу в салатового цвета костюмчике, элементом которого были бриджи. В городке косились на меня, потому что я, первый из всех, носил шорты. «Когда ты снимешь, наконец, свои спанжиры?» – заметил мне как-то гневно учитель по физике. До сих пор не знаю, что это такое. Но салатовые бриджи Шурика шокировали.

Как-то я и другая ребятня стали свидетелями сцены – почти в центре города Надя лежала в сугробе, пьяная, а какой-то вахлак чертыхался, запутавшись в ее нижнем белье. «Смотрите, пионеры, комсомольцы!» – кричала она не без надрыва и истерично похохатывала. Шурик и его сестра стояли поодаль. Брат плакал и приговаривал: «Не надо, мама!» Девочка же ничего не понимала. Мы быстро-быстро ушли от того места. Все это было похоже больше на сумасшествие, чем разврат.

Во всяком случае, никто не знал, кто был отцом или отцами Шурика и его сестры. Об этом ему напоминали... и в праздники, и будни. В таких случаях несчастный багровел.

...Стоял чудесный первомайский день. Мы собрались во дворе школы. Были вынесены все находящиеся в распоряжении школы праздничные транспаранты, лозунги, портреты руководите-

лей партии и государства. Директор лично распорядился не выносить портрет Хрущева, которого уже освободили от должности. Шурик вызвался нести самый крупный транспарант.

Школа находилась за городом, так что до центральной трибуны надо было еще дойти. И вот, задавая ритм, забил барабан. Колонна растянулась, наш класс замыкал ряды, поэтому дробь барабана слышались издалека. Периодически она прекращалась, шествие останавливалось, что начинало надоедать. Были такие, что начали позевывать. Только учителя не скучали, они носились вдоль колонн, наводили порядок.

Но вот во время одной из очередных остановок вдруг оживился Шурик. «Пока есть время, заскочим к Вовке!» – крикнул он нам. Мы еще не находились в черте города. По обе стороны дороги располагались частные дома с садами. В одном из переулков жил мальчик Вова. Бедняга умирал от саркомы. Последнее время он лежал в саду своего двора на лежанке. Его часто навещали. Наиболее прыткие из мальчиков во главе с Шуриком бросились в переулок – у кого знамя, у кого транспарант в руках. Один из них даже не поленился потащить портрет Косыгина.

Я остался стоять. Мне было страшно, больной был очень плох. В это время подскочил наш физкультурник. Запыхавшийся, он возопил: «Где остальные?» Глаза его вот-вот должны были выскочить из орбит. Напуганный, я ничего не смог ответить. Как назло, забил свою нудную дробь барабан... надо было двигаться. С физкультурником чуть не случился припадок, он в истерике начал топать ногами, и послышалось: «Политический демарш! Попытка сорвать демонстрацию трудящихся!!! « В этот момент вернулись Шурик и его команда. Лица у всех были испуганные. На Шуру налетел физрук. Маленького роста, он каждый раз подпрыгивал, когда пытался ударить толстяка по лицу. «Я тебя за провокацию пошлю куда надо!»– шипел педагог...

Когда мы проходили мимо центральной трибуны, на русском языке в наш адрес кинул лозунг первый секретарь райкома: «Да здрасти савецки молодиож!!», а мы ответили: «Ура-а-а!» Весьма нестройно. Внимание привлекал Шура. Он шел впереди нас со своим транспарантом, с багровым цветом лица, заплаканный. «Кто этот толстяк? Да-да, это Надин сын! Знаете такую проститутку, б..?» – слышалось из толпы, стоявшей вокруг трибуны. Смешки и шепот дошли до секретаря. Его лицо посуровело. Может быть, ему было обидно за мальчика, а может, посчитал, что нести транспарант должны были доверить не этому школьнику. Что думал Шура? Не исключено, что на него подействовали угрозы физкультурника, и он боялся. Или до него дошли разговоры в толпе. Или он переживал за Вову, умершего под утро, ночью. Монотонно бил барабан.

Я уехал из городка. Поступил в университет, на журфак. В один из приездов видел Шурика в городском саду. Он сидел на скамейке и жмурился от солнца. Меня он увидел и бросил: «Журналист!» Было в этом некоторое благоговение перед казавшейся ему романтичной профессией и ребячее желание слегка поддразнить.

... Это было лет тридцать назад. Вчера в вагоне Тбилисского метро я обратил внимание на одного полного русского мужчину. Он общался со знакомыми и производил впечатление человека, любящего поговорить, падкого на фразу. Времена были тяжелые и мрачные. Как ни странно, именно тогда у некоторых людей открылся вкус к словесам, талант к фразерству, и особенно на невеселые темы. Рядом с Шуриком сидела молодая белокурая женщина, полная, с узким разрезом глаз. Неужели сестра? Она тревожно-заботливо поглядывала на братца, зная о его страсти поговорить. На следующей станции им надо было выходить.

Вития

В городе Г., что в Мингрелии, еще до моего рождения, военным комиссаром работал мой отец. Здесь родилась сестра. Как рассказывает мать, первые слова она произнесла на мингрельском.

Приехал я сюда поздно ночью, пьяненький, из города Махарадзе, что в Гурии, где провел ревизию и сполна вкусил тамошнего гостеприимства. Я запамятовал, как прибыл в Г., помню только, что на машине. Пришел в себя, когда меня небрежно расспрашивал администратор гостиницы, пожилой мужчина с несколько насмешливой физиономией. Он заполнил бланки и выдал ключи от номера. Я медленно, волоча портфель, поднимался по лестнице и, не утерпев, спросил администратора, знал ли он Александра С. Тот ухмыльнулся и ответил, что знал, еще добавил что-то насчет перевода отца в другой район. Вид у него в этот момент был нагловатый. Я не стал развивать тему, не сказал, что отец умер десять лет назад.

Я нашел нужную мне дверь. Электричества в комнате не было. В темноте я нащупал кровать и лег, не раздеваясь. Заснул сразу, но чувствовал сквозь сон, как меня донимает запах сырости. Под утро, когда стало светать, я на некоторое время проснулся и увидел, что нахожусь в чулане, в техническом помещении для уборщиц. Вспомнил администратора («Вот дерьмо!»), но встать и пойти устроить разнос поленился.

Меня окончательно разбудили звуки мегафона, шум, доносившиеся с улицы. Явно готовилось какое-то мероприятие. Голова трещала от похмелья, подташнивало. Совсем тошно стало от сознания, что выходные придется провести в Г.

В «номере» удобств не оказалось. От туалета в коридоре дико разило. Взбешенный, я спустился вниз. Того администратора не застал – успел смениться. За стойкой сидела полная женщина-мегрелка. Я назвал солидный орган, который представлял, и высказал все, что думал о гостинице. Узнав, в какую комнату меня определил ее сменщик, женщина всплеснула руками. Через некоторое время она проводила меня в люкс.

Пока я переселялся, шум и возня на улице шли по нарастающей. Какой-то не в меру активный мужик явно злоупотреблял мегафоном. Так бывает с детьми, попади им в руки какая-нибудь пищалка. Его команды вперемежку на русском, грузинском и мегрельском языках доносились то издали, то совсем рядом, то впереди, то сзади гостиницы. Моментами казалось, что он вещает откуда-то сверху, наверное, с крыши.

– Кто это? – спросил я.

– Витя-тренер проводит свои соревнования, – ответила администратор. “Витя” она произнесла как «Вития», на грузинский манер.

Я привел себя в порядок и спустился вниз.

С окрестных холмов, покрытых мягкими линиями чайных плантаций, веяло прохладой. Вероятно, город изменился за те 30 лет, как отсюда уехали мои родители. Они вспоминали о нем как о деревне. Здание администрации, двухэтажный универмаг-аквариум, еще несколько магазинов со стеклянными витринами и типовое здание кинотеатра располагались по периметру центральной площади. Посередине ее стояли две фигуры-изваяния чаеводов. От площади расходились обыкновенные деревенские улицы с богатыми домами, от цинковых крыш которых отражалось утреннее солнце.

На площади, пытаясь изобразить стройные ряды и одновременно как бы робко прячась друг за другом, стояли девушки и парни в спортивных рейтузах и майках. Спортсмены.

– Левый фланг, левый фланг, прекратить болтать! – раздался надо мной мегафонный голос. Я поднял голову и увидел взобравшегося на пожарную лестницу гостиницы молодого человека, тоже в рейтузах. Его голубая спортивная майка с изображением стремительной птицы и надписью «Буревестник» уже успела взмокнуть от пота, на шее висел свисток. «Вития» левой рукой держался за лестницу, а в правой у него был мегафон. Он находился на уровне второго этажа.

Собрались зрители. Они глазели на спортсменов. Находились такие, что показывали на парней и девушек в рейтузах пальцем и, видимо, острили, так как слышался смех. Это обстоятельс-

тво сильно раздражало человека с мегафоном. Он вдруг насупился, быстро-быстро спустился по лестнице, выскочил на площадь и, набычившись, обвел глазами зрителей. Когда Витя пронесся мимо меня, я заметил, что это был невысокого роста крепыш. Люди замолкли, посерьезнели. Только один парень, увлекшись, продолжал прохаживаться в адрес спортсменов. Он не заметил, как к нему приблизился Витя. Началась потасовка. Подскочил милиционер и оттащил человека с мегафоном, а тот рвался расправиться с «хулиганом» (так он на всю площадь называл шутника).

«На помощь» подоспели женщина в белом халате (фельдшерица) и молодой человек с красной повязкой (дружинник). Своими увещаниями они пытались унять праведный гнев Вити. За происходящим наблюдал очень толстый мужчина. Я заметил в его глазах ревность. Мне показалось, что это был местный спортивный босс. Он вроде руководил и не руководил подготовкой мероприятия. Во всяком случае, когда Витя отправился на велосипеде проверить, как дела на дистанции, «босс» ничего не предпринял, видя, как колонна участников начала рассыпаться. Спортсмены смешались с толпой и уже сами посмеивались над «бесноватым “Витией”«, кое-кто покручивал пальцем у виска. Но послышалось: «Едет, едет!!!», и колонна торопливо стала собираться.

Ждали районное начальство. Рядом с фигурами чаеводов поставили стол, накрытый красной материей. Принесли подарки и разные кубки. Витя постоянно поглядывал на часы и не находил себе места. Появились долгожданные гости. Они подъехали на газике – секретарь райкома, председатель райисполкома и несколько человек из их аппарата. Это были полные мужчины, которые неловко и долго вылезали из кабины авто. Им навстречу вышли Витя и спортивный босс.

Секретарь благодушно оглядел спортсменов и сказал речь. Говорил он без бумажки о том, что славные чаеводы района исправно выполняют государственные планы в рабочее время, а на досуге занимаются спортом. Были отмечены заслуги Виктора Нечипуренко, который приехал в город по распределению института два года назад и, не жалея сил, трудится на спортивной ниве, в местной спортшколе. Здесь Витя зарделся от удовольствия. Потом дали слово и ему. Он отчитывался по бумажке, называл цифры рекордов по легкоатлетическим видам, которые были побиты в районе за последние два года. После каждой цифры раздавались аплодисменты. Речь произносилась на русском, комментарии – на грузинском и мегрельском.

– Однако, – Витя состроил грозную физиономию, – нет оснований для самодовольства! – и стал перечислять цифры, указывавшие на разницу между районными и республиканскими рекордами.

– И это на том фоне, что Грузия занимает девятое место по развитию легкой атлетики во всем СССР! – патетически заключил тренер. Затем последовал предлинный перечень недостатков, мешающих развитию легкой атлетики в регионе.

Секретарю надоело слушать Витю. Он положил свою руку на плечо распалившемуся оратору, таким образом остановив речь, и мягко заметил, что не пора ли начать.

Бегунам предстояло пробежать круг в полтора километра по улицам города и финишировать на площади. Вначале должны были бежать девушки. Они сгрудились на линии старта. “На старт! Внимание! Марш!” – спокойно проговорил в мегафон секретарь. Спортсменки начали бег нерасчетливо резво и уже метров через сто заметно сбавили в темпе. Появилось опасение, что они вот-вот сойдут с дистанции. В этот момент их догнал на велосипеде Витя. Криками и энергичной жестикуляцией он подбадривал девушек. Потом они исчезли из виду, а минут через семь появились снова. Бедняги еле дотянули до финиша. Под звуки аплодисментов и подбадривающие крики зрителей они чуть ли не волоком пересекли линию. Воздев руки вверх и крутя педали, последним на велосипеде завершил дистанцию Витя.

Настала очередь для юношей. Тут Витя разыграл одну сцену. Он, должно быть, еще как судья соревнования торжественно пригласил бегунов на старт. А потом вдруг картинно снял со своей шеи свисток и передал его секретарю, чтоб присоединиться к спортсменам. Дескать, теперь вы – судья. Секретарь поспешно положил заслюнявленный свисток себе в карман. Сцена имела успех, и Вите поаплодировали. Но этого неуемному малому показалось недостаточно. Он вдруг стянул с

себя рейтузы и остался в спортивных трусах, на что местная общественность отреагировала сдержанным гулом. Должно быть, такая форма одежды почиталась здесь еще некоторым вызовом.

Но вот снова дали старт. Витя рванул с места, оставив далеко позади остальных участников. Финишировал он в одиночестве. Ему пришлось даже подождать остальных участников: он стоял за финишной линией и при этом смотрел на секундомер, который позаимствовал у спортивного босса-толстяка.

Вроде, все остались довольны. Секретарь поздравил победителей и поцеловал каждого из них. Витя же обцеловал всех – и победителей и непобедителей. Раздали подарки, и народ стал расходиться. В обнимку со спортсменами удалился и Витя. Начальство немного замешкалось у «трибуны», а потом направилось к газику, который стоял у здания райкома. Я подошел к секретарю, представился. Он был вежлив и предупредителен, пригласил к себе домой провести выходные и сел в автомобиль.

Я оглянулся на площадь. Унесли стол и велосипед Вити. Стало пустынно, и, как это бывает в провинциальных городках, на центральную площадь забрели корова и пара свиней...

Вечером меня угощали в ресторане. Мы сидели в отдельном кабинете. Компания состояла из молодых исполкомовских работников. Они не могли знать о моем отце, но с готовностью пообещали расспросить о нем у своих родителей, а также заверили меня, что вправят мозги администратору гостиницы. В какой-то момент мне понадобилось выйти. В общем зале за столом сидело трое мужчин. Среди них был Витя, вдребезги пьяный. Один из собутыльников наливал ему вино и приговаривал с ухмылкой: «Пей, Витя, пей!»

Свадьба

Можно было пронестись по трассе и не заметить, что проезжаешь город. Вдоль шоссе – сплошь деревенские подворья, огороженные железными заборами, огороды, сады, лениво слоняющиеся домашние животные. О том, что это все-таки город, а не село, свидетельствовало типовое здание бывшего райкома – атрибут всех районных центров Грузии. Сейчас здесь управа. В ней работает каким-то начальником мой университетский однокашник Серго. И проживает он поблизости от этого здания – сверни только с шоссе, метров пятьдесят по грунтовой дороге, и ты – у ворот, украшенных в стиле барокко.

Там, где жил Серго, всегда пахло прокисшими виноградными ягодами. Запах исходил от единственного здесь промышленного предприятия – винного завода. Хотя, по рассказам Серго, был на окраине городка еще и маленький механический завод. Ныне он в развалинах. Воспользовавшись перестройкой, заводик разграбило местное население...

Мой друг справлял свадьбу дочери. Я подоспел к самому началу. Хозяин был поглощен приготовлениями и едва поздоровался со мной. Меня отдали на попечение одному мальцу. Он помог пристроить мою «Волгу» в соседском дворе. Мы возвращались пыльной улицей, вдоль заборов, над которыми свешивались еще неспелые яблоки. Я видел – то там, то сям меж веток яблонь роились пчелы. Но их не было слышно, потому что над городком надолго зависла высочайшая истерическая нота – где-то резали большую свинью. Когда мне стало казаться, что бедное животное мучают, истошный вопль вдруг оборвался. Совсем равнодушные к этому воплю, нежились в канавах по обочинам дороги в черной вонючей грязи другие свиньи.

Серго встретил меня у ворот, с укоризной глянув, что, мол, так долго, и повел к столу, где сидели жених и невеста. «Помнишь батони Нодари? Он тебе постоянно “Барби” привозил», – сказал Серго дочке. Заметно было, что она не помнила, хотя вежливо улыбнулась. Девушка и ее жених мне понравились. Потом Серго усадил меня за один из столов и с некоторой строгостью в голосе попросил сидящих там мужчин присмотреть за гостем. «Будь спокоен, Геронтич!» – ответили ему, и тот поспешно удалился.

Столы в три ряда были накрыты на лужайке перед опоясанным верандой домом под вековым ореховым деревом. Ряды были такие длинные, что невозможно было даже докричаться с одного

конца до другого. Тем более, что стоял обычный для таких торжеств гомон. Но вот вперед выступил Геронтич и натруженным голосом, срывающимся на фальцет, предложил избрать тамадой – Хвичу Г. Свадьба началась.

Я давно подметил, что в подобного рода церемониях не обходится без доли цинизма. И чем дальше от эпицентра, тем он явственнее. Однажды, во время поминок моей бабушки, я случайно подслушал некоторые подробности из ее почти столетней биографии. Мне не хотелось устраивать скандала, но я понял, что если и бывают драки на празднествах или поминках, то нередко из-за подслушанного грязного разговора или двусмысленного тоста. Здесь, на свадьбе, мы составляли периферию, и народ, кроме того, что неумеренно много ел и пил, еще и сплетничал напропалую. Так я узнал, что Хвича Г. – бывший вор в законе.

– Настоящий воровской авторитет не для Геронтича. Этого Хвичу развенчали еще лет двадцать назад в тюрьме. Пуп ему вырезали, теперь он – просто-напросто барыга, – сказал, хихикая, толстяк, сидевший напротив. Он был бы не прочь пройтись еще по адресу Серго, но покосился на меня и замолк. Тут встал его сосед Ростом и, слащаво улыбаясь, присоединился к здравицам в честь избранного тамады и одновременно, как актер в театре, говорящий в сторону ремарку, чехвостил тамаду на потеху сидящим рядом. Ничего не ведающий Хвича Г. энергично раскланивался, посылал во все стороны воздушные поцелуи, что создавало «комический» эффект.

Свадьба шла своим чередом, когда наступила небольшая пауза, даже прекратили музыку. Заглянул важный гость – огромный тучный мужчина, с холеным лицом и усами. Серго подбежал к припозднившейся персоне и подвел к столу, где находились жених и невеста. Гость одарил молодых, потом повернулся к «общественности» и спросил во всеуслышание, как ей нравится вино. «Батоно Вано! Батоно Вано! Спасибо, спасибо!» – послышались подобострастные возгласы. Довольный «батоно Вано» попрощался и, несмотря на протесты хозяина и гостей, торжественно удалился. «Главный отравитель! – послышался мне игривый шепот сбоку, – сколько народу своим суррогатом извел!» Насколько я понял, батоно Вано был директором винзавода.

Признаться, у меня не было аппетита. Слегка ныл желудок. К тому же, было обидно за Серго. Невысокого роста, он хлопотал, суетился, а один раз даже чуть не споткнулся, что вызвало недоброжелательное оживление моих соседей за столом. Захотелось прогуляться. Закуривая, я направился по дорожке, мощенной осколками мрамора, к воротам. Меня опередила быстроногая девчушка. Она несла накрытый бумагой таз, явно с пищей, и сумку с бутылками.

Улица, залитая солнцем, была пустынной. Собственно, смотреть было не на что – те же заборы, сады... Быстроногая девочка куда-то спешила. Из любопытства я последовал за ней. Она несколько раз свернула и потом уперлась в полуразрушенную каменную ограду. Видимо, здесь находился упомянутый механический завод. Сквозь зияющие проломы в ограде виднелись опрокинутые вагонетки, раскуроченное оборудование, покоящееся в разросшемся бурьяне, в глубине двора корпус с пустыми глазницами. Место казалось тихим и прохладным. «Вася, Коля!» – позвала девочка. Из зарослей бурьяна появились два существа – в оборванной одежде, обросшие, грязные. Типичные бомжи. Один из них раболепно протянул руки через пролом в ограде. «Это вам угощение от Серго Геронтича», – на ломаном русском объяснила она. Те в знак благодарности закивали головами и затем скрылись с харчем в кустах. Девочка, увидев меня, наблюдающего за всем этим на расстоянии, улыбнулась и сказала: «Они – бывшие рабочие завода. Есть еще третий. Он – инженер. Бедняга спился окончательно и заболел, лежит где-нибудь под кустом». Некоторое время мы шли рядом, потом девочка поспешила обратно на свадьбу («Много дел! Мать заругает!»), я же замедлил шаг. Возвращаться не хотелось. Уже на некотором удалении от ворот Серго я вовсе остановился – два перепивших-переевших гостя окропляли, а третий облевывал забор хозяина свадьбы. Я стоял и не знал, в каком направлении идти. Вдруг почувствовал, что это сцену наблюдает еще кто-то. Когда обернулся, увидел пожилую женщину с зонтиком. Помню, у него был заостренный конец. Она смотрела с нескрываемым презрением. Ее внешность была необычной для этих мест – пожилая женщина напоминала заблудившегося интуриста. Вдруг последовало:

– Schande! Sie schamen sich sogar vor einem alten Menschen nicht!

Меня передернуло, фраза на немецком была выговорена чеканно и так, как говорят в Северной Германии. Я мог поручиться за это как специалист немецкого.

– Ты посмотри на Веру, опять на немецком базарит! – воскликнул один из писающих.

– Кто знает, на каком языке она базарит, может быть, на тарабарском. Старческий маразм у нее! – ответил другой, уже заправлявший брюки. Обоих сильно развезло.

– Achten Sie nicht darauf, Frau, – сказал я ей. Она резко повернулась и пошла прочь. Я некоторое время смотрел ей в спину. Ее походка выдавала возраст (она даже опиралась на зонтик), но в ней чувствовалась энергия гнева.

Сославшись на дела, я попрощался с Серго и уехал. Он был недоволен.

Через шесть месяцев Серго приехал ко мне в Тбилиси. Дела его по службе в том городке не складывались, но его больше заботило здоровье дочери. Я сделал несколько звонков и устроил ее на прием к профессору из института Чачава. Потом мы посидели с Геронтичем за кружкой пива. Он продолжал обижаться за то, что я рано уехал со свадьбы.

– А как поживает фрау Вера? – неожиданно ввернул я. Геронтич несколько опешил, но потом слегка осклабился и рассказал историю.

Тетя Вера прибыла в город вместе с заводом в 50-е годы. Работала библиотекарем, пока библиотеку не разворовали, как и завод. Кому нужны были старые книги, к тому же на русском языке? Она всегда отличалась строгим нравом и позволяла себе публичные нравоучения. Незамужняя, под старости лет тетя Вера вообще стала несносной. От репутации местной сумасшедшей ее спасало то, что люди знали, что она была справедлива в своем обличительном пафосе, который проявляла, невзирая на лица. У нее была мания – увидит на улице брошенную бумагу, подденет ее наконечником зонта и ищет кругом урну. Она впадала в бешенство, если сама урна была опрокинута. В последнее время объектом своих филиппик она выбрала брошенный на одной из улиц «Форд». Он принадлежал местному руководителю «Мхедриони», которого застрелили в этом автомобиле, о чем свидетельствовали дырки от пуль автоматов в его корпусе. Для старой женщины этот «Форд» явился олицетворением беспредела, жертвой которого стали заводик и ее библиотека. Она ходила по инстанциям с требованием убрать «памятник безобразию». Над ее энтузиазмом только посмеивались.

– Откуда ее немецкий? – спросил я.

– Ты знаешь, Нодар, все время мы думали, что она русская. Но, когда стала стареть, неожиданно перешла вроде бы как на немецкий. Так бывает у людей в старости, когда они вдруг начинают говорить на своем первом языке, – здесь Серго подлил мне и себе пива и продолжил, – кстати, бедняжка, недавно умерла. В один прекрасный день она совсем была вне себя от возмущения и пыталась сдвинуть с места «Форд». Сердце не выдержало.

– Так бывает, – заметил я. Потом мы перешли на воспоминания об университетском прошлом.

Кавалергард

Городок был вроде полустанка. Задние окна райкома смотрели на огороды. Дальше за ними – река, через которую был протянут веревочный мостик. Мальчишки раскачивали его, как качели, и прыгали в воду. На том берегу были только села. А еще дальше – горы. Типичный имеретинский пейзаж.

Напротив райкома находились здание вокзала, железная дорога. Вдоль нее тянулись шоссе и городок.

Территория маленького вокзала прорастала вездесущим сорняком, известным здесь под названием «уджангари». В пору цветения его грязно-фиолетовые колючие цветы издавали ядовито-сладкий запах, а мохнатые черно-зеленые ветки опутывались желтыми нитями. Однажды у вокзала притормозил литерный поезд «Москва–Тбилиси», который обычно во весь опор

проносился мимо. С возгласами: «Какая прелесть!» высыпали на перрон русские пассажиры и в мгновение ока оборвали кусты этого отнюдь не декоративного растения. Начальник станции был доволен. Ему вменялась обязанность выпалывать сорняк. А тут такой сюрприз – остановился «московский» поезд – и «уджангари» как будто не бывало!

Так вот, в этом городке было популярно фехтование на шпагах.

Подобное стало возможным после того, как сюда в начале 50-х годов приехал С. Он прибыл из Парижа, транзитом через Гулаговский лагерь. Вернулся в края, где до революции его семейство владело имением. Поселился у сестры, белой, как лунь, незамужней женщины. На чудом оставшимся нереквизированным участке имения они обитали в старом барском доме, окруженном фруктовым садом. Жили на пенсию сестры – бывшей учительницы.

С. был настоящим князем, существом по тем временам музейным. Статный мужчина лет пятидесяти, с нафабренными усами, в щегольском кителе, в синих галифе, заправленных в яловые сапоги, разгуливал по улочкам городка. Этот реликт смущал население своей респектабельностью. Он был еще и любезен, а не просто вежлив, что пуще настораживало затюканных войной и режимом горожан. Дети шарахались, когда на улице С. протягивал им какое-нибудь лакомство. Как будто не было доверия пожилому мужчине с ясными голубыми глазами. Такие они у сумасшедших, маньяков или святых.

Однако хорошие манеры не располагают к тому, чтобы третировать его обладателя. К князю привыкли, более того – в несметном количестве объявились родственники. Сказалась давняя страсть имеретинцев к реликвийным фамилиям. В тени векового орехового дерева, во дворе С. и его сестры по поводу нескончаемых визитов накрывались столы. Брату и сестре помогал один зажиточный крестьянин, который жил в окрестной деревне. Он присылал провиант, а его дочка крутилась на кухне. Делал это «по старой памяти» – некогда предок князя облагодетельствовал его родителей.

Не обходилось без скандалов – до обвинений в самозванстве. Со двора, обнесенного обветшалым забором, доносились реплики типа: «Как же, как же! Уж мне ли не помнить, что вы из крестьян и ходили в холопах у моего отца-барина!» Меньше всего сословную спесь выказывал сам хозяин.

Специально привезли из дальней деревни очень пожилую даму, которая приходилась тетушкой князю и его сестре. В наряде княгини старая женщина приехала на арбе, запряженной волами. Княгиня всплакнула, увидев князя, вспомнила его, совсем юного... Эта дама рассудила всех. Но количество родственников и соответственно гостей не перестало увеличиваться.

О прошлом князя знали мало. То, что С. – бывший кавалерист царской армии, вычислил Г. Он – тоже кавалерист, ветеран двух мировых и гражданской войн, скукоженный от многочисленных ран, угрюмый мужчина. У него был холодный жесткий взгляд. Говорили, что на фронте Г. «порубал» немало народу. Князь поприветствовал его, и не без торжественности. В ответ Г. только пробурчал про себя: «Знавал я таких артистов». В гости к С. он не набивался.

Говорили еще, что в молодости С. служил в Петербурге, что вдов и бездетен. О лагере он не рассказывал, так как имел обыкновение говорить только приятное. Но и о парижской жизни тоже не распространялся. Однажды во время застолья С. вспомнил было, что водил дружбу с художниками с Монмартра, но понимания не встретил. В ответ с двусмысленным хихиканьем один из «родственников» спросил, правда, что француженки красивые и доступные. Другой осведомился про Эйфелеву башню, мол, очень высокая? На этом парижская тема себя исчерпала.

Однако моментами, особенно после некоторого количества бокалов, хозяин вдруг переходил на «высокий штиль», говорил слегка «в нос» – с французским акцентом. Появление подобных «дефектов» в речи тревожили его сестру, и она тут же одергивала брата, тянула его за полу кителя. Она знала – почему.

Но хозяин все-таки «выговорился». Случилось такое, когда бдительная сестра удалилась на кухню, и будто бы симптоматичных изменений в речи не наблюдалось. Шел разговор провин-

циалов о политике. Несколько раз прозвучал непонятный для князя термин «фриц, фрицы». Он осведомился, что это такое, и узнав о ком был разговор, пожал плечами и спокойно, как бы для себя, сказал:

– В Париже я дружил с немецким офицером. Он хорошо играл на рояле, писал стихи, и звали его Фриц.

...Как по команде, под разными предлогами один за другим торопливо стали удаляться гости. Когда из кухни вернулась сестра, то застала у стола пребывающего в одиночестве брата. Он сидел сконфуженный. Она ничего не сказала, только посмотрела на «легкомысленного» князя сурово, осуждающе, в духе тех нелегких времен. Потом спросила: «Надеюсь, ты не рассказал свою байку о том, как оказался в Париже?»

«Опала» продолжалась недолго. В одном из местных начальнических кабинетов «прогремела» фраза: «Оставьте в покое блаженного!» Исходила она от высокого начальника, который, что не могло быть секретом в городке, тоже подвизался в родственники князю.

Но нет худа без добра. С. обособился у себя во дворе. Он вдруг начал «проявлять интерес» к кустам кизила – обрезал их, тщательно проверял, насколько упруги и идеально прямы ветки. Для этого он приставлял ветку к правому глазу, а левый прищуривал. Потом следовал взмах: «вжик-вжик»... Иногда С. зычно произносил непонятные слова: «репост», «контр-репост», «пассе», «туше», принимал чудаковатые позы и с кизиловой палкой наперевес делал выпады.

Однажды, взобравшись на яблоню княжеского сада, все это наблюдал мальчик по имени Юза. Озадаченный происходящим, он невольно выдал свое присутствие. С. посмотрел на него снизу вверх. В руках он держал палку. Мальчик, известный в округе шалун, облазивший не один чужой сад, по своему опыту понял, что взбучки не будет. Но в какой-то момент, спускаясь вниз, замешкался, чуть было не передумал «сдаваться», ибо последовал неожиданный вопрос:

– Молодой человек, вы читали «Трех мушкетеров»?

Юза вообще не читал, и не потому, что был неграмотным. Возникло подозрение, что именно за это его намеревались поколотить кизиловой палкой. Но куда было деваться. Неожиданно необычный хозяин протянул ему вторую палку и крикнул: «Защищайтесь, Рошфор!» Легким прикосновением своей «шпаги» он выбил из руки Юзы его оружие. Мальчик разинул рот от удивления. Князь показал ему глазами на кизиловую палку, мол, подними. Легкое прикосновение – и опять «шпага» выбита из рук. Юза был петушиного нрава. Снова и снова хватался он «за оружие», весь раскраснелся. Потом князь позвал сестру, чтобы та угостила «молодого человека» фруктами.

Через некоторое время среди молодежи городка появились парни по-особенному осанистые и «культурные», как выражались взрослые. В местной библиотечке вырос спрос на тома Александра Дюма. Выяснилось, что будучи в Париже, князь работал тренером по фехтованию в частной школе. А фехтование освоил в Петербурге, когда учился в военном училище. В определенное время молодые люди собирались у ворот Юзы и степенно шествовали к дому С. тренироваться. Для этого хозяин расчистил площадку под айвовыми деревьями в глубине сада. С. выходил к питомцам всегда тщательно выбритый, в шальварах, которые привез из Парижа.

Приобщая молодежь к искусству фехтования (на кизиловых палках), С. вел с ней «мужские разговоры», поднимал боевой дух местных мушкетеров. Из Тбилиси князь выписал атлас с изображением амуниции фехтовальщиков. Парни приуныли после его просмотра. Зато в беседах возобладала тема: «Жизнь – это борьба!» Говорил подобные фразы С. так, как они произносились в романах Дюма, а не в городке, где-то в Имеретии. В таком стиле велись все разговоры. Мальчишки не все понимали. Одному из них, замеченному в некоем поступке, князь с мягкой укоризной заметил: «Ты ведешь себя как Савонарола!» Паренек раскраснелся, теряясь в догадках, похвалили его или наоборот. «Надо готовить себя к триумфу, в жизни он всегда один!» – говаривал князь. После этого взор его голубых глаз останавливался, становился отрешенным. Он начинал напоминать человека, уже пережившего свой звездный час. Потом он вздрагивал, ему казалось, что кто-то дергает его за рукав.

С. решительно взялся за дело, за «хождение по инстанциям». Они умещались в единственном административном здании городка, и повсюду он обнаруживал родственников. Видимо, поэтому фехтование на шпагах «безболезненно» было признано официально культивируемым видом спорта в городке. Из Тбилиси приехала «комиссия» – чиновник из спортивного ведомства. Его позабавили кизиловые палки, но удивили выправка и подготовка местных фехтовальщиков. «Парижская школа!» – заметил С.

Гость из столицы посмеялся шутке и с готовностью принял приглашение отобедать у князя. Во время этого визита с лица С. не сходило сосредоточенно-лукавое выражение, с каким, как ему казалось, «устраиваются дела». Через некоторое время из Тбилиси прислали два костюма и пару спортивных настоящих шпаг. Чести первым облачиться в наряд фехтовальщика был удостоен Юза – лучший ученик князя.

Скоро команду вызвали на соревнования в Тбилиси.

В тот знойный июльский день в кабинете секретаря райкома телефонный звонок междугородной связи прозвучал по-особенному громко. Он вызвал из полудремотного состояния первое лицо района. «Полная и убедительная победа! – докладывал через трубку С. – Мы произвели сенсацию! Кубок – наш!» Секретарь поздравил команду и лично С. «Мы встретим вас достойно, как победителей!» – заключил он, уже совершенно бодрый. Затем вызвал сонную секретаршу и распорядился «насчет мероприятия».

К вечеру весь городок высыпал на перрон. Из служебного помещения вокзала позаимствовали стол, накрытый красной скатертью, на который поставили громкоговоритель. Нетерпение росло. Оно достигло апогея, когда по вокзалу сообщили, что состав вышел с соседней станции. Это – пять минут ходу. Вот появился и паровоз. Подкатил состав. Вдруг выяснилось, что никто не знает, в каком вагоне находятся «герои». Наиболее рьяные горожане бросились в конец поезда. Потом раздались голоса, что ребята – в первых вагонах. Толпа энтузиастов повернула и ринулась в противоположном направлении. Непосвященные пассажиры насмешливо и опасливо наблюдали из окон вагонов хаотические перемещения возбужденной толпы на обычно малолюдной платформе. Посвященные же (из вагона, которым прибыла команда) предвкушали экзотическое зрелище. По настоянию С. вся команда нарядилась в подаренные федерацией фехтования костюмы. В левой руке у каждого маска, а в правой – шпага. Впереди должен был идти С. с трофеем – посеребренным кубком. Народ в вагоне был простой, и такие действа для него были в диковинку. Пассажиры потирали руки, ухмылялись, но вслух не высказывались. Ведь «ряженые» были «вооружены»...

Но парадного шествия не получилось. Появление на перроне людей в белых обтягивающих костюмах с «боевой» амуницией, идущих строем (один за другим), обескуражило граждан. После заминки на победителей обрушились со всей мощью почитания. Спортсменов зацеловывали, а князя подняли на руки и понесли. Он сиял от восторга и смущенно приговаривал: «Право, не стоит!» Когда подошли к «президиуму», к столу, накрытому красной скатертью, была попытка «покачать» князя. Но ее не поддержали. В городке если и знали о существовании такого ритуала, но к нему не прибегали. Не было поводов. Князь передал кубок секретарю. Тот поднял его над головой и после оглушительного ажиотажного гула и аплодисментов поставил его на стол рядом с громкоговорителем.

Не дожидаясь отхода состава, начали митинг. Поезд не трогался с места, видимо, из-за любопытства машиниста, которое разделяли и пассажиры, глазеющие на происходящее из окон вагонов.

Секретарь заговорил о достижениях виноградарей района, о героях войны, о новых героях и т.д.

Пришла очередь говорить князю. Он взял в руки громкоговоритель, сделал паузу, обвел глазами толпу и начал:

– Нет человека, не испробовавшего триумфа. Он бывает большой и малый, замеченный, оцененный обществом или незамеченный. Но он всегда в единственном числе! После победы наших мушкетеров я начинаю думать, что мой звездный час, может быть, еще впереди...

Первым оценил юмор секретарь, потом уже остальные. Князь продолжил:

– Помню такой же знойный день под Красным селом, 10 июля, 1914 года. Проходил смотр...

Сестра князя, которая все это время находилась поодаль от «президиума», вдруг пришла в движение, начала энергично проталкиваться к столу. В это время как раз начал спускать пары паровоз отходящего поезда. Сквозь грохот и дым не было слышно, что говорил князь. Глаза его блестели, и он как будто спешил высказать что-то сокровенное. Сестра подоспела и стала рядом. Тут С. сник, замолчал, как если бы пережидал отход состава. Затем что-то промямлил и уступил громкоговоритель другому оратору...

Я был совсем маленьким, когда произошло это событие – сидел на шее своего отца и смотрел на происходящее. К концу 60-х городок вырос до средней величины промышленного центра, с монструозным заводом, который, казалось, пытался затмить своим коричнево-красным дымом небо, а река, протекавшая через город, была иссиня-черная из-за его выбросов. Через нее был перекинут бетонный мост. На другом берегу теснились «хрущобы». Для промышленных целей вырубили сад семейства С., разрушили дом, взамен им выделили квартиру в новостройках на первом этаже.

Ко времени моего повзросления С. давно вышел на пенсию. В городе футбол быстро вытеснил по популярности фехтование. Я сам занимался борьбой. Об успехах местных фехтовальщиков только вспоминали.

С. было уже чуть за 80. У него появились проблемы с ногами, и он перестал появляться на улице. Помню, как, проходя мимо его балкона, я старался не смотреть в ту сторону. Там неизменно находился старик. По-прежнему чистый взор его голубых глаз настораживал прохожих, как и пыл, с каким он зазывал людей в гости. Иногда из комнаты появлялась сестра и заводила С. в комнату. Мой приятель, приходящийся внуком тому самому облагодетельствованному крестьянину, помогал старикам с их нехитрым хозяйством. Он рассказывал, что «старичина» совсем плох, бредит, рассказывает всем подряд что-то о царе, даже президента Франции приплетает, а потом переходит на французский.

Князь умер, его хоронили так, как причитается персональному пенсионеру, заслуженному работнику физической культуры и спорта, видному горожанину, родственнику, соседу... Одна, умеющая голосить родственница, ненавязчиво вплела в плач факт благородного происхождения С.

Народу пришло много. Впереди процессии с портретом усопшего шел Юза. Он заметно обрюзг, ссутулился...

Лето 1914 года, как обычно, 1-я гвардейская кирасирская дивизия проводила на лагерных сборах под Красным Селом. 10 июля состоялся смотр русской гвардии, на котором присутствовали император Николай II и президент Французской Республики Р. Пуанкаре. Гвардейцы произвели прекрасное впечатление отличной выучкой, слаженностью всех частей и подобранностью состава. Тогда по традиции в кавалергарды зачисляли высоких сероглазых и голубоглазых блондинов.

Молодой офицер князь С. был при полном параде. Его золоченые кираса и каска, серебряные фигурка орла и Андреевская звезда на каске сверкали на июльском солнце. В войсках ощущалось воодушевление.

Далее – или быль или небылица – проезжая вдоль строя кавалергардов, французский гость остановил свой взгляд на юном блистательном красавце в первых рядах. Он что-то шепнул царю. Царь переспросил у сопровождающего их генерала. Тот доложил: «Князь С., Ваше Императорское Высочество». Некоторое время спустя князя определили в охрану российского посольства в Париже.

Пустырь

Раньше это место в городке было напичкано лавочками и мастерскими. Его расчистили и покрыли асфальтом. Образовавшийся пустырь примыкал к железнодорожному полотну, через которое был перекинут мост. С одной стороны его лестница спускалась к пустырю, другой конец сообщался с «еврейской» улицей.

Одну из границ высвобожденного пространства обозначала облупленная стена с остатками полинявших обоев. Сохранился даже портрет Сталина, вырезанный из журнала “Огонек” и висевший, видимо, в каморке какого-нибудь сапожника.

Как-то я резвился на пустыре. Родители стояли чуть в сторонке и умилялись моим проделкам. Я заприметил дыру, зияющую у основания стенки. Вдруг непонятная сила потянула меня к ней, даже пригнулся, чтоб разглядеть, что там внутри, и был в метрах пяти от стенки, когда из дыры неожиданно выскочила черная крыса. Она бросилась прямо в мою сторону. Ее глаза сверкали злобой. Сильные руки оторвали меня от земли. Это отец одним рывком бросился ко мне и поднял меня над своей головой. Мать кричала от ужаса...

Сюда через мост с «еврейской» улицы в погожий день шумной ватагой перебирались мальчишки. Играть в футбол. Впереди всех обычно шел рыжий Габриэл с резиновым мячом. Только он молчал. Остальные были многоречивы, даже когда гоняли мяч. Наблюдая их, отец произнес: «Не знаю, какое из колен Израилевых они представляют, но в футбол играют плохо». В тот момент он держал руку на животе. Сильно болела печень. Я же инстинктивно, с жутковатым чувством поглядывал в сторону того крысиного лаза. Кто-то из футболистов вставил в него кирпич.

Однажды, спускаясь по лестнице моста, футболисты увидели, что пустырь заставлен огромными разноцветными ящиками. Один ящик был лилового цвета. Рабочие с нехарактерной для этих мест внешностью – русские мужики в телогрейках, ушанках и с бородами – на самой середине площадки ставили столб, верхушку которого увенчивала тарелка мегафона. Заметив происходящее еще с моста, евреи остановились на лестнице. Так и остались стоять в глубоком молчании в оторопи, словно наблюдали высадку гуманоидов.

– Слуши, ми здес футбол играем, – прерывая молчание, обратился Габриэл к мужику, возившемуся у ближайшего к лестнице ящика.

– Ни хера! Здесь будет зверинец, – отрезал его пришелец, не поднимая глаз и перебирая какие-то вещи. Поверх его согнутой спины через щель массивного зеленого ящика некто пристально смотрел на мальчиков. Те повернулись и направились восвояси, громко лопоча.

Я наблюдал за происходящим с балкона. Наш дом находился недалеко, через дорогу. Прохожие останавливались и смотрели на непонятные приготовления. Стучали молотки, громко переговаривались рабочие. Они как будто спешили огородиться, спрятать таинственные ящики – один за другим поднимались цветные щиты с изображением пальм и бамбуковых рощ. Вскоре я видел только высокую (метра три) «веселенькую» стену и торчащую из-за нее верхушку столба с тарелкой мегафона.

С моста, где толпились зеваки, можно было рассмотреть, что происходит на «обособившейся» территории. Мне рассказывали, что ящики подкатывали к входу уже собранных клеток и из них «выуживали» животных – служители стучали молотками по стенкам контейнеров и вопили. Животные медленно, с ленцой перебирались из одного вместилища в другое.

Зоопарк оказался тихим. Животные не подавали голоса. Их не было слышно, даже когда отключали карибские напевы, гремевшие без устали весь день из тарелки мегафона на вершине столба. Ночью зверинец окутывала кладбищенская тишина. Шумела только железная дорога – составы с громыханием и гудками неслись по рельсам, проложенным через самый центр городка.

Только запах, тяжелой взвесью зависший по округе, выдавал присутствие зверей. Вход в зверинец стоил 30 копеек.

В то время меня оставили на попечение бабушки. Отца направили в госпиталь, мама уехала с ним. Бабушка всегда давала мне денег. Я даже умудрялся выманивать у нее по два-три рубля. В отличие от меня, не все мои сверстники могли позволить себе билет. Некоторые глядели на зверей с высоты моста. А один сорванец нашел щель между плотно пригнанными щитами. Дети толпились у того места. Можно было вплотную рассмотреть гиену, ее оскал – крупные желтые резцы. Она никак не реагировала на возню за стеной. Мой сосед Нугзар протиснулся к щели, глянул в нее и... отпрянул. Гиена повернулась к нему задом. Я предложил соседу зайти на территорию зоопарка. На оставшиеся 40 копеек рассчитывал купить два коржика, но передумал из-за одуряющего запаха зверинца. Донимали карибские ритмы.

По широченному кругу располагались клетки, вольеры. Мне еще не приходилось видеть такую безнадежную маяту. Три горные козочки то стояли, топчась на месте, то испуганной группкой перебегали в другой конец вольера, дрожали, стучали копытцами по деревянному полу, замусоренному сеном. Их передвижения были столь немотивированными, что один из посетителей заметил: «Вот дуры!» Волки, шакалы, леопарды, медведи медленно, монотонно, по диагонали, а кто по всему периметру клеток, вроде даже умышленно сторонясь тазов с кормом, слонялись из угла в угол. Будто единственной задачей было устало дотащить тяжелую голову до угла, обнюхать его и двинуться обратно – обнюхивать другой угол. В их покрасневших глазах отпечатались признаки аутизма.

Публика пыталась привлечь к себе их внимание. Злостно игнорируя надписи на табличках: «Зверей не кормить! Не дразнить!», она улюлюкала, до истощения плевалась, бросала коржики и пончики. Но безрезультатно. Некоторые животные пребывали в кататоническом оцепенении и лишь изредка меняли позу, что вызывало оживление среди посетителей.

В зоопарке работала одна разбитная баба. Она ходила в телогрейке, рот у нее был в золотых и стальных зубах. Эта женщина материлась, как мужчина. Чтоб не давать публике скучать, она устраивала «аттракционы» – подходила к сибирскому медведю и сзади толкала его железной шваброй. Тот, понуро сидевший в углу клетки, заполняя его всей своей огромной жирной тушей, поднимал морду и куда-то вверх ревел, как сирена пожарной машины.

Еврейская детвора толпилась у клетушки с белкой и хором обсуждала, сколько мог стоить этот потешный грызун. В это время он совершал свой тупой бесцельный бег в колесе. «Уважаемая, сколько стоит этот беличка?» – обратился самый старший из детворы к этой женщине. «Не продается, госсобственность!» – отрезала она.

Среди посетителей я увидел молоденькую учительницу по зоологии. Она проводила экскурсию с детишками. Особенно их привлекла серая макака, самый оживленный экспонат в зверинце. Обезьяна верещала, строила ужимки, ловила на себе блох. Недостаточно воспитанные дети отпускали комментарии по поводу ее седалищной мозоли. Учительница одергивала их. Но в какой-то момент чуть не сгорела со стыда. У меня создалось впечатление, что та самая затейница специально подстерегла беленькую девушку. Когда педагог рассказывала школьникам об обезьянах, служительница устроила свой коронный номер. Она поманила макаку яблоком, а потом показала кукиш. Разъяренная обезьяна встала на дыбы, обнажив крупные самцовые причиндалы под смех мужской части толпы. Служительница с жадным выражением глаз смотрела на девушку. Тут ее позвали: «Миша (!?), беги сюда, опять Левка надрыстал!»

Вольер с табличкой «Африканский лев» был занавешен грязным брезентом. Только сильно нагнувшись, можно было увидеть полинявшую кисточку хвоста хищника.

– Почему занавесили льва? – спросил я у служителей. Они прохлаждались, курили сигареты и не обратили на меня внимание. Я прислушался к их разговору. Один из них с достойным видом делился воспоминаниями. Он работал рабочим в Московском цирке, подбирал за животными. «Я

всех знал по запаху их говна. Бывало, захожу в цирк и уже чувствую, что Борька, суматрский тигр, нагадил». В это время из клетки со львом вышла «Миша» с ведром и шваброй. «Ну, что там?» – осведомился бывший рабочий цирка. «Наверное, уже сегодня царапки откинет!» – ответили ему. В этот момент в другом конце зоопарка раздались крики. Кто-то все-таки вывел из себя верблюда. Он плюнул в обидчика и угодил ему прямо в лицо.

Ночью меня разбудил мощный звук. Это ревел лев. Рык был низким и прерывался старческим кашлем. От его величественных обертонов вибрировали стекла. Мне стало страшно. Казалось, что лев совсем рядом. Я глянул на бабушку. Она продолжала мирно спать. Я впал в панику, когда вой, страдальческий и трагический, вдруг поднялся до высочайшей ноты, из-за чего еще сильнее застучали стекла, и оборвался. Наступила тишина. Слышны были только приглушенные встревоженные голоса из соседнего двора. По дороге проехала машина. Со стороны железной дороги донесся непродолжительный гудок. Я заснул. Когда проснулся, обнаружил, что спал на кровати отца.

Утром весь городок обсуждал событие – «в зверинце помер лев». Делалось это в таком тоне, с каким говорят о произошедшем землетрясении. Каждый вспоминал, где находился и что делал, когда завывал лев. Один сосед для пущего юмора рассказывал, что находился в туалете во дворе и чуть не провалился от страха в выгребную яму.

В это утро я усыпил бдительность бабушки и явился в школу в летней сорочке с короткими рукавами. Был февраль, но дни стояли солнечные и сухие. Мне не было холодно, и поэтому решил, что можно обойтись налегке. Прохожие оглядывались, а сверстники называли меня «чокнутым». Классная руководительница отвела меня в сторонку и с озабоченным видом спросила, знает ли бабушка о том, как я вырядился. Учительница печально покачала головой и отправила домой одеться потеплее.

Чтобы срезать путь и не попадаться на глаза знакомым, пришлось идти вдоль железной дороги... Я проходил зверинец с тыльной стороны. Его задние ворота были открыты настежь. Оттуда на меня пахнуло горячим утробным духом. На задний двор заводили старую белую лошадь. Под тяжестью лет ее скелет осел, она раздалась вширь. Редкий хвост. Ее давно неподкованные копыта глухо цокали об асфальт. На местами полинявшем теле виднелась розовая с голубоватым оттенком кожа. Из сарайного типа помещения, широкий вход которого закрывало замызганное полотно, вышел рыжий бородатый мужик в халате, как у мясника, с огромным ножом. Я стоял на железнодорожной насыпи, немного выше уровня пустыря. Когда слегка раздвинулось полотно, закрывавшее вход в сарай, солнечный свет выхватил из темноты красные подтеки, через которые шастали тени. Наверное, крысы.

Завернув за угол, я увидел Нугзара, прилипшего к той самой щели «с видами на гиену». «Опять денег нет, может быть, одолжить?» – крикнул я ему.

Подходя к дому, я почувствовал неладное. Дверь была настежь, бесприютно открыта. Внутри дома тревожно суетились люди. Из Тбилиси пришла скорбная весть.

Отца похоронили в деревне, на семейном кладбище. Когда я с мамой и бабушкой вернулся в городок, зоопарк не застал. На пустыре играли в футбол мальчишки с другой стороны моста.

Вместо эпилога...
She loves you

На своем «Мерсе» я пересекал город, где провел детство. Походя искал глазами школу, в которой учился, и не нашел. Испытал искушение притормозить у дома, где когда-то жил. Но не сделал это. Я спешил. Впрочем, настолько ли?

Это были далекие 50-е. Население городка отличалось простотой нравов и непритязательностью во вкусах. И сильно нуждалось. Здесь было легко прослыть оригиналом. Тем вернее, если тебя держали за сумасшедшего или... богатого.

Я и мой брат – близнецы. Мама одевала нас одинаково. Поэтому мы казались претенциозными и даже производили фурор. Бабушка рассказывала, как вовремя прогулки по местному парку («садику»), нас окружили зеваки. Брат испугался, а я прижал его своей спиной к дереву и отбивался от толпы – брыкался ножкой.

Малышами отец привез нас сюда из Тбилиси. Его перевели по службе, по почтовому ведомству. Наша семья считалась зажиточной.

Шоком для горожан стало, когда я с братом появились на улице в беретах. Проходящий народ останавливался и пялился на нас, как на какое-то чудо-юдо.

– Известное дело, дети Карло С.! – звучало не без насмешки.

Не меньше неприятностей доставляло ношение шорт, что вообще расценивалось как вызов. В Тбилиси наши друзья ходили в шортах, что было в порядке вещей. Но в городке из-за этих «трусов» приходилось терпеть «разные надсмехательства». Мы капризничали, но мама, как всегда, хранила непреклонность. Однажды я, невоздержанный на язык, заявил прилюдно, что обитатели городка некультурные, раз шорты им в диковинку. Последствия не замедлили. Скоро один из соседей жаловался нашим родителям, мол, их дети держат горожан за деревенщин.

Да что там мы с братом! Как-то в город наведался командировочный, инженер. В берете. Эффект был такой, будто приезжий облачился в клоунский колпак. Поэтому так громко смеялись местные ротозеи. Бедолага не мог понять, что происходит.

Или, помню сцену... Яркая блондинка, некое видение древнегреческой богини в тунике и сандалиях, дефилировала по разбитому тротуару главной улицы. Девушка шла, зажмурив глаза. Так сильно светило солнце на голубом небе. В какой-то момент она будто бы опомнилась. Обернулась... За ней молча следовала толпа. Все были на одно лицо, чернявые. Горожане следовали за незнакомкой по пятам и держались на некотором расстоянии. Она останавливалась, и они останавливались, ни на шаг не сокращая дистанцию. Впав в панику, девушка закрыла лицо руками и бросилась в сторону толпы в отчаянной уверенности, что та расступится. Народ действительно спешно расступился, а она бежала по образовавшемуся проходу. Ей слышалось стройное: «У-у-у!!» Потом люди стояли под окнами дома, где гостила девушка. Они молчали, и только тогда, когда им казалось, что за шторкой мелькал силуэт, издавали «У-у-у!» Хозяин дома выходил к народу, угрожал позвать милицию, упрашивал разойтись, но никто его не слушал. После девушку никто не видел. Говорят, что ее тайком вывезли.

Но время шло, и положение менялось. Не мы первые в городке стали носить брюки-клеш. Достаток уже не считался чем-то оригинальным и предполагающим оригинальность. Зато я и брат стали здесь первыми битломанами...

На каникулы мы ездили к бабушке, в Тбилиси. У друзей нам дали послушать пластинку, производства ГДР. Весь вечер крутили только ее.

– Что за ребята так ладно поют? – спросил я хозяина.

– Англичане какие-то. Ансамбль «Битлз».

Особенно понравилась одна песня. Мы не знали ее название, не понимали текста, поэтому, напевая, неимоверно коверкали его: «Члочив йе-е-е» («She loves you, ye-ye»). Таким образом я и брат стали первыми в городке, кто узнал о неизвестном тогда ансамбле «Битлз» и даже исполняли кое-что и кое-как из его репертуара. Надо отдать должное нашим сверстникам. Они дружно признали этот факт, когда ливерпульская четверка достигла зенита славы, и в городке парни носили длинные волосы.

Все завидовали одному из наших друзей. Ему из Москвы родственники присылали диски с песнями «Битлз» и плакаты. Он был первым, кто правильно произнес название той понравившейся мне и брату песни. Прочитал его на обложке.

Однажды в его доме собралась молодежь городка. Все длинноволосые. Только-только Серго (так звали того парня) получил посылку. Как было проанонсировано – последний альбом квартета. И вот, наконец, мы услышали музыку. Ажиотаж был сильный. Народ бесновался от восторга. Только Серго хранил спокойствие, даже казался грустным. Я заметил, он что-то говорил на ухо моему брату, перекрикивая шум.

– Что тебе говорил Серго? – спросил я у брата по дороге домой.

– Я ему как-то про ту немецкую пластинку рассказал, что мы в Тбилиси слушали, – ответил он, – никак не уймется. Откуда я знаю, что с ней стало? Не наша была она. И давно это было.

Был еще один маленький триумф. В баскетбольной команде школы никто, кроме меня, не бросал мяч по кольцу в прыжке. Тренер удивлялся, он не обучал никого этому приему. Тем более меня – не самого лучшего и прыгучего игрока.

Потом отца вернули в Тбилиси.

При въезде в город меня остановили два милиционера и попросили подвезти до поста. Молодые интеллигентные ребята охотно проявляли свою осведомленность. Пока ехали через город, столь изменившийся и выросший в размерах, я задал им кучу вопросов. В какой-то момент они подозрительно на меня покосились. Я сказал, что жил здесь. Под конец спросил парней, а не слыхали ли они о братьях С. Милиционеры только пожали плечами. Конечно, я понимал, что проявлял самонадеянность. Просто спросил. Потом включил радио, откуда донесся тот незабвенный шлягер...

Светлана БУНИНА

Проза

Глебу Шульпякову

Из прочих последствий и верных потерь
Всегда и теперь отворяя второе,
Нащупаешь прозу, холщовую дверь,
В которую выпорхнет соло героя.
Коленцами ритма отжав пересказ,
Кошмарами лирики пульс ускоряя,
Едва выживая – всегда и сейчас,
Всегда уточняя, что проза – вторая
(Четвертая, пятая... Чёрт побери!
Последняя зоркость, покрытая телом).
Так дышат, в потёмках не видя двери,
И так вышивают: по белому белым.

* * *

«Так пропадает необходимость
В книге. В какой угодно покупке.
В означающем. В завтрашнем балагане,
Означающем жизнь на краю потопа».
Так остаётся две-три (в постели
Спрашивал) карточки вместо трелей
Под Троицу. Вместо прозрачных тканей
(То есть не сами ли мы искали
Выхода?). Остаётся сущность,
Пустотелая, как фуэте в балете.
Ни те, ни эти не были правы –
Не уцелели ни те, ни эти.
Вот неслучившееся: оседает.
Что перечитывать? Сама седая.

* * *

С., из прошлого

То, что мы сделали в речи, достойно встречи:
Предвосхищение – переходящий вымпел.
Вёрстка, где новые строки сродни картечи
(Только увиделись – и раздается выстрел).
Живы, как умерли. Перенесли границу.
Предугадали, что дело имеет тело.
Вижу твоими глазами, и смысл двоится,
И забывает дыханье, куда летело.

Светлана БУНИНА родилась в Харькове в 1974 году. Доктор филологических наук, живет в Москве. Публиковалась в журналах «Новая Юность», «Новый Берег», в сетевом литературном журнале «TextOnly». Автор книги «Поэты маргинального сознания в русской литературе XX века (М. Волошин, Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева)» (2005) и других исследований в области славистики. Составитель (совместно с Л. С. Карась-Чичибабиной) «Собрания стихотворений» Б. А. Чичибабина. Автор и ведущая программы «Частная коллекция» на Литературном радио».

* * *

Легко оставаться одной земноводной зимой,
Где твари живые зовут тебя белой чумой –
Один для глубин: человек – челознак – челобог,
Прениже их спин, где твой огненный голос продрог.
Ты – в Летнем саду, где позёмка на старых словах,
У всех на виду и у каждой четы в головах.
В больших сапогах. В нахлобученных наспех стихах.
И это не крах. Достоверно, что это не крах.
Как тень в их садах, как бесцельная щель в их рядах,
Ты всякий наряд принимаешь на первых порах.
Но в женской телесности детских опилок гора
Живет для словесности (дереву снится кора).
Поэтому лучше зиме предаваться – одной.
Зиме обложной, многопалой, зиме нутряной,
Где выключен свет. Где на « – Вы?» откликается смерть.
Где в чёрный кювет опускается белый конверт.

* * *

Оставшись сквозным сознанием, начинаешь быть,
Каждому ледоходу плывешь навстречу.
Столкновения убеждают: почти столбы
Ноги твои, балюстрада – плечи.
Заново удивляясь: и это снес,
Это перетерпел, оживил *иначе*,
Будто перетягался длиной волос
С неким Самсоном... Вес ничего не значит!
Сознание – только облако медленной толщины,
К изначальному абрису дни прибавляют отзвук –
Плывущее величаво среди бытовой войны, –
И всё, чем оно питается, голый воздух.

Из Выготского

Жизнь небольшого света испугалась,
жизнь на большую ветку наступила –
и в проводах шарахнуло: Аминь.
Кто вышел горлом (смерть лишилась жала),
кто прибыл в Гомель (с чёрного вокзала
заезжее выбрасывалось в синь),
тот нипочём не пожалеет, или
тот ни на чём не прогадает – мало
на одного женатых незабот.
Хронологических (не изменили
же голоса: пестрело, горевало)
переворотов. Всё – переворот.
Кто приходил стыдить оленьим телом
(и в сучьях крючья: оттеняют стелы
своё прекраснодушие рабам) –
всей слепотой не замечает тлена.
То ночь, завладевая постепенно
империями, тянется к губам.

Олег ЕРМАКОВ

Реликтовый свет

Рассказ

Нине

Поселились мы на кордоне, назывался он Чодор. Ну, там обычны такие названия, на Алтае, на окраине ойкумены. То, что это окраина, ясно стало еще в вертолете.

Все время полета под нами тянулась довольно унылая высокогорная равнина с причудливыми красноватыми марсианскими скалами.

И вдруг – представь – раскрылся пышнозеленый каньон с речкой, водопадом на одной из стен, несколькими домами и пасущимися чуть в стороне лошадями. Вот это да! Укрылись в складке советской империи. Ничего себе. Неужели сюда и летим?

Да, вертолет повисел над этой изумрудной щелью – и начал опускаться, как стрекочущий жук, шмель в цветок. Лошади задрали головы с человеческим любопытством.

Мы с Иркой по-быстрому выгрузились, вещей у нас было: рюкзак, сумки, да на централь-ной усадьбе заповедника прикупили полмешка муки и пятилитровую бадейку подсолнечного масла. К нашему грузу добавился ящик гвоздей, четыре рулона рубероида, бочка с соляркой, новенькое седло, что-то еще, – заказ обитателей кордона. Вертолетчики никого не ждали, закрыли дверь, взлетели, потрепав нас по вихрам винтами.

Мы с Иркой остались одни. Озираемся.

Полстраны проехали, города, станции, перекрещивающиеся трассы, гостиницы, – старая гремящая шкура с нас слезла, и мы стали, как младенцы. Я на это рассчитывал. Мне казалось, что я напал на... след.

Город мне представлялся пустыней. А где-то на окраине ойкумены мерещилась наполненность. Я боялся утратить это чувство в городе. Какое чувство? Чувство следа. Или можно это на-звать реликтовым светом, астрономы говорят, он еще освещает шпили мира. Меня с детства гип-нотизировал вечерний свет на макушках деревьев, на крышах, на окнах высотных домов. В это время я хорошо чувствовал, что такое реликтовый свет и надеялся на что-то... сам не знаю, на что. Но при виде последних лучей на кронах мне хотелось сбежать, улизнуть. Я, как еврей в Египте, томился здесь, в городе этом, в городе вообще, и жаждал исхода. Я был уверен, что настоящее происходит не здесь на людных убогих улицах, а где-то в глуши.

И я забрался в глушь.

Но при этом совершил две ошибки: потащил с собой Ирку и не вооружился методом.

Ирка была беременна и по дороге в заповедник сделала аборт. Если мы собирались сами стать как дети, куда нам еще такую обузу? Все правильно. Ее мучили токсикозы. От этого можно даже умереть. Мы хотели начать налегке, с чистого листа. Она любила меня так, как уже никто и никогда не будет любить. Светилась вся преданностью. Глушь ей совсем не нравилась, но она-то думала, что я точно знаю, чего хочу и что делаю. Она доверилась мне.

После больницы, правда, что-то переменилось в ней. Аборт делали под местной анестезией. Экономили обезболивающее. А ведь это наркотик. Экономили на собаках, людях. Я помню водил ризеншнауцера Нейджика резать по тогдашней моде уши, так он выл под скальпелем, хотя коновалы божились, что вкололи обезболивающее. Как проверишь? Хорошо бы угодили они на круги Данте, все эти коновалы и хирурги...

Олег ЕРМАКОВ родился в 1961 году, автор книг «Знак зверя», «Возвращение в Кандагар», «Свирель вселенной» и др.

Но дело, конечно, не только в физической боли. Это как если бы ты писал-писал книгу – и вдруг обнаружил пустые листы. Или штукатурил дом три месяца, а он в одночасье облез. Или раз-бил сад, а он в одну ночь вымерз.

Нет, конечно! Нам этого не понять, если только в следующей жизни не родимся женщина-ми. Может, это и будет заслуженным наказанием.

К нам вышел лесничий, бородатый, темный мужик. Потом подоспели остальные, его верт-лявый смуглый помощник с заячьими зубами, заходящими на нижнюю губу, длинноволосый ра-достный юноша, оказавшийся младшим братом лесничего, двое бичей-лесников. Поприветствовали нас, взялись за ящик, рулоны. Лесничий велел помощнику отвести нас в дом. Снаружи это был крепкий, правда, совершенно почерневший бревенчатый дом. Внутри он выглядел хуже. Закопченная печь с осыпающейся штукатуркой, оббитыми углами, ободранные стены, подгнившие полы. Шепелявя, помощник знакомил нас с обстоятельствами жизни, рассказывал, что когда-то в каньоне, на этом месте жили китайцы, – видели мы ручьи по всему кордону? – это их рук дело. Тут они выращивали арбузы и виноград. Сейчас, конечно, ничего не растет. Но если постараться, то можно возродить оазис Чодор.

«Непонятно, почему он не подрежет зубы?» – удивлялась Ирка.

Мы осматривали наше жилище. Я попробовал открыть печку, и чугунная дверца отвали-лась. Ирка поинтересовалась, где мы возьмем мебель? Я ответил, что эту проблему решить легче – и тут же приступил к делу. У помощника одолжил топор, спросил, где можно нарубить жердей. Он повел меня к реке и махнул рукой на другой берег: там, это уже не заповедник.

Река была не узкой, довольно быстрой. На чем же ее переплывать? Помощник засмеялся. «Не бойща». Он показал, где реку можно переходить Я разулся, снял штаны и вступил в поток. Река шумела, неслась к далекому озеру, упруго била сначала в щиколотки, потом в колени, бедра. Я уже начинал думать, что помощник, похожий и на обезьяну и на зайца, пошутил, – ну, как обычно шутят над новичками: пойди принеси – и называют какой-нибудь агрегат неподъемный, и новичок идет, тужится-пыжится. Только если в цивилизованном мире это заканчивается бесплодными потугами, недоуменными вопросами и дружным хохотом, то здесь чем-то другим.

Нет, опасения были напрасны. Я перебрел реку, не замочив, как говорится, хвоста. При-ободрился. Нарубил сосенок, перетащил назад. Обтесал их. Лесничий, проходивший мимо, одобрительно взглянул на меня, но когда узнал, что я собираюсь мастерить, почему-то усмехнулся. Позже я понял, почему. Жерди я настелил на каркас железной кровати, единственной «мебели» в этом доме. Плахи мои сочились смолой, одеяло к ним липло. Но пахло здорово. Этот запах пере-шибал дух нежилья. Впрочем, Ирка так не считала. Дух нежилья преследовал ее и через две неде-ли, хотя мы все вымели, вымыли и печь топили, обмазанную заново глиной, и хлеб пекли в двух железных формах, одолженных нам все тем же помощником. Запах испеченного хлеба – это, по-жалуй, самое лучшее воспоминание. И походы к водопаду.

Водопад назывался Юл. Что это означает, не знаю. Он всегда был виден даже из окна, когда мы лежали на нашей сосновой благоуханной кровати: светлая нить на зеленом. Как-то не верилось, что это струя воды. Правда, если долго смотреть, можно было уловить некое движение – небольшое смещение вправо и влево. Он вибрировал, как струна под чьими-то пальцами или невидимым смычком, – совершенно беззвучно. Водопад гипнотизировал, дразнил. Мы к нему пошли.

Вблизи он оказался грохочущим, мощно низвергающимся на камни, играющим радужными сполохами. Чтобы услышать друг друга, приходилось кричать. Вблизи росла смородина, мы насобирали полную шапку. Ирка сварила варенье.

Питались мы плоховато, не запаслись всем необходимым. Ну, консервы, макароны. Хоро-шо, хоть муки прикупили с подсолнечным маслом.

Месяц мы обустраивались, и нас никто не трогал. Правда, и месяц спустя наше жилище выглядело печально. Так негде было краску взять! обои! Зеркала не было, если не считать крошечного Иркиного. Ситуация напоминала «Робинзона Крузо». Надо было, конечно, все продумать и

лучше подготовиться. Зато я недостатка в красках не испытывал, на них мы потратили уйму денег, ходил с мольбертом к водопаду...

Обитатели кордона смотрели на меня с удивлением, – за исключением лесничего. Лесничий с самого начала относился ко мне как-то несерьезно, наверное, с насмешкой. Он понимал, что мы тут – пролетные птицы, – а на работы мои взглядывал мельком, то есть и их не принимал всерьез. Остальным, правда, нравилось. «Это ж наш Юл!» – умилялись они, особенно жена помощника, толстенькая светлая Лена с большой грудью, кормившая младенца; двое других ее детей, чумазых и нахальных, уже кормились и передвигались самостоятельно. Кроме нее на кордоне числилась еще одна женщина, техник-лесовод Татьяна, отсутствовавшая пока по какой-то причине. Брат лесничего, стройный и длинноволосый, был светел и легок, на его лице всегда играла улыбка (правда, начинавшая раздражать уже), а с губ всегда срывалось что-нибудь из «Песняров», наверное, он был их фанатом. «Где же моя черноглазая, где? В Вологде-где-где-где-где-где-где...» Вологда! Да ничего кроме реки, водопада, склонов, кедров, пихт, гор не существовало. Ну, еще где-то в полусотне километров Телецкое озеро, центральная усадьба заповедника подальше, а в другой стороне высокогорный кордон буддистов, и все. Неподалеку граница с Монголией.

Чем занимались все эти люди? Да, в общем, ничем, только своей жизнью. Они должны бы-ли жить здесь и фактом своего существования отпугивать браконьеров. Ну не считать же работой конную прогулку по заповедным тропам? Или заготовку дров для себя? Нет, конечно, труд, но вполне домашний, неторопливый. Хотя, как позже выяснилось, и простые прогулки там не так уж безопасны и посиделки, например, вечером у мирного костерка чреваты большими неприятностями.

Ирка чувствовала себя скверно, у нее то и дело появлялась кровь. Меня это печалило. А приступы пустоглядения – раздражали. Иногда, проходя мимо окна, я заглядывал в него и видел бледную Ирку, сидящую на кровати и теребящую свои косы и смотрящую ни во что, в никуда. Заметив меня, она улыбалась, делала вид, что заплетает волосы. «Что толку так сидеть», – говорил я как можно мягче. «А что делать?» – с готовностью спрашивала она. «Ну... Сходи в гости к Ле-не». Но Ирка не любила бывать у жены помощника. А та разговорами с Иркой питалась как манной небесной, но сама часто не могла приходить из-за детей, хотя все же нет-нет да бросала дела и сбегала от спящего младенца, а то и вместе с ним. Она была веселой, пышной, быстро говорила, от нее всегда пахло молоком. Ирка ей ничего не рассказывала о своих проблемах, но та явно что-то чуяла. И ей доставляло удовольствие не только говорить, но и чувствовать свое превосходство. Ведь она же соображала, что Ирка умней, ну, вообще – городская, спутница художника. А – какая-то ущербная. Ирка после этих визитов выглядела актрисой, отыгравшей два спектакля подряд в переполненном зале. А надо знать ее нелюбовь к театру. Она в детстве разочаровалась, когда на премьере сказки «Златовласка» у главной героини слетел парик. Наверное, так же потряс принца Гаутаму вид старости и болезней и всяких бед человеческих. Но он тут же выработал метод: буддизм. А провинциальная девочка? Она просто поставила крест на театре.

Возможно, поэтому она и краситься не любила, а назвать ее красавицей – не назовешь: тонкие губы, высокие скулы, нос с горбинкой, конопушки. Но чудесные рыжие волосы и густые зеленые глаза. Зеленый цвет вообще-то получается при смешивании желтого с синим. Желтыми у нее были волосы, хотя, разумеется, не чисто желтыми, а с примесью жженой сиены. А синим у нее был голос, если вспомнить Кандинского, утверждавшего, что синий звучит виолончелью. Впрочем, тут есть какое-то противоречие. Ведь синий все-таки холодный цвет? А виолончель звучит тепло, теплее флейты, согласен? Ну вот. Как же это? И все-таки правота Кандинского несомненна, если проследить за продолжением его ассоциаций: синий, делаясь все темней, будет звучать контрабасом – и в конце концов низкими нотами органа. На самом деле!

И вот при взгляде на ее лицо и при звуках ее голоса ты становился очевидцем сотворения ее глаз, и это лицо обретало удивительную гармонию. Оно звучало, теплело, как оживший странный цветок Одилона Редона. Знаешь ты этого художника, говорившего, что он тоскует, увидев на картине с бездарной тщательностью выписанный предмет, особенно – цветок?

И я мог уловить это лицо в ладони и целовать его.

Но не спешил этого делать. В воздухе между нами появился грубо чувствительный шов.

Я, конечно, пытался ее понять. И понимал. Ради этой экспедиции вспять она отказалась от карьеры врача, то есть, даже еще не поступила второй раз в мединститут. Ну и что. Будет женой лесника и художника.

Это была последняя надежда, попытка прорыва. Окунуть кисти в реликтовый свет, – ради этого можно было пойти на некоторые лишения, жертвы, верно?..

Когда-то здесь был форпост русской цивилизации. Неподалеку от Чодора лежали развали-ны первой, как утверждали жители, православной церкви в этих местах: один фундамент, зарос-ший травой. За рекой хорошо сохранившаяся пограничная застава, вырезанная в тридцатые годы алтайцами, которых науськивали белые, попрятавшиеся в этих горах: каменные оштукатуренные дома с пустыми окнами, каменная ограда, конюшня под гигантскими кедрами. Травы там местами выше человека. Алеют маки. Говорили, что в укромных распадках возделывали опиумные поляны. Но травы и так благоухали одуряющее, да еще пихтовый настой. Воздух можно было пить.

Аборигены держались по ту сторону речки, за перевалом на альпийских лугах пасли овец, лошадей. Охотники бродили вдоль речки. Иногда заметишь, как среди стволов вспыхнет что-то на солнце – бинокль. Наблюдает дитя природы за тобой. Местные привыкли, не обращали внимания. А мне, конечно, не по себе было. Лесничий выезжал в обход с карабином, у помощника был пистолет.

Ну а мое оружие – кисть.

Но... что-то было не так. Меня окружал мир первозданных красок, а клятый реликтовый свет не загорался в них. Неужели я ошибался? Что-то выдумывал? То, чего нет и в помине? Но ведь я это угадывал в детстве. Я даже видел блики этого мыслительного света, доходящие откуда-то, докатывающиеся волнами, – как будто там, где-то на окраине плескалась рыба с жемчужными губами, сияющим хвостом, рыба в серебре снежно сверкающей чешуи, космическая рыба, раз уж речь о реликтовом излучении, то есть отсветах первоначальной плазмы.

И вот я погнался за ней, забрался на край ойкумены... и вдруг мне захотелось зевнуть.

Со злости, что у меня нет метода!

Я-то думал, что... все сложится само собой. Гляди, ликуй, рисуй, будь как ребенок.

Нет, враки. Теперь я знаю, что взрослый может быть только злым ребенком, если, конечно, он не слабоумен.

Короче, ловить рыбу реликтового света я оказался не способен. Обжегся. Я даже побоялся теперь написать ее в этом водопаде. Не люблю фантастику с детства. Мне судорогой сводит паль-цы, как только я делаю шаг в сторону от реализма.

Но ведь только этой безумной ловлей и стоит заниматься? Я не представляю, как можно браться за что-нибудь, какой-нибудь пейзаж – только ради самого пейзажа. Оставьте это фото-гра-фам!

А фотографом быть там мне показалось оскорбительным и скучным. И я продолжал тас-каться на водопад и стоически сопротивляться тоске Ирки. Мне вообще хотелось отправиться в какой-нибудь дальний обход, но лесничий, выслушав мой наивный вопрос, только усмехнулся и ответил, что этого пока не планируется, а вот косьба скоро начнется, на лугах за рекой.

И действительно, вскоре мы, все мужчины кордона Чодор, погрузив на двух лошадок кот-лы, палатку, спальники и мешки с провизией, двинулись через речку, по соснякам с сухим горь-ким воздухом, мимо развалин молчащей заставы и вековых кедров, среди валунов в перестояв-ших-ся травах, синих от каких-то цветов, а местами алых от маков и розовых от гвоздик. Всюду нас сопровождал посвист бурундуков. Мы еще раз переправились через ту же речку, но уже на одно-местной надувной лодке, держась за натянутые веревки: река здесь сужалась и с грохотом билась в каменистых берегах, вода казалась изумрудной и была очень холодной. Переправившись, мы оказались на Покосах, обширном ровном поле, огражденном с одной стороны голыми склонами,

с другой тайгой. Здесь мы разбили большую палатку, и в первый вечер ничего не делали, гоняли чаи да покуривали у костра, беседуя. Разговаривать, впрочем, приходилось с напряжением: все глушила река. Ирка осталась на кордоне, ей нездоровилось. Лесничего эта формулировка не удовлетворила, он вежливо, но настойчиво попросил разъ-яснений. Что именно у нее болит? Ирку хотели взять на Покосы кухаркой. Ну, это было бы смешно, она только и умела готовить яичницу. К тому же в этих сибирских краях стояла жара несусветная, а белокожая и рыжая Ирка от жары всегда чахла, как все рыжие. На солнце она не загорала, а обгорала. Ну, здесь самое теплое место в Сибири, сказал лесничий, вы этого не знали? Пришлось сказать, что у нее месячные. У лесничего все вопросы были исчерпаны. Что ж, будете кашеварить вы.

Но на Покосах все пошло по-другому. После моей первой же готовки, ребята решили никогда больше не подпускать меня к костру и котлам. Ты чо?! Это тебе не краску разводить! Не туш с гуашью! Поваром стал невысокий бич с полугрузинской внешностью по имени Иван, – разумеется, все звали его Вано. Лесничий не косил, надо же было кому-то охранять кордон. За командира у нас был его помощник с заячьими зубами. На косьбу он выходил с кобурой на ремне. Меня это смешило. Дикий Запад! То бишь Восток. Но никто из ребят почему-то не посмеивался и не отпускал шуток по этому поводу.

Мы старались вставать пораньше, чтобы косить – нет, не скажешь по холодку, ночи были теплые, – ну, по крайней мере, не в пекле. Но вечерами мы засиживались у костра, разглагольствуя, как водится, обо всем на свете: от звездных программ Рейгана и звезд над нашим лагерем у бурлящей реки (НЛО, внеземные цивилизации). И поэтому вставали все-таки поздновато и уходили в желтое марево с косами – как на битву. Я на своей шкуре испытал эту метафору советских газет: битва за урожай. Да, мы сражались со звенящими жесткими сухими редкими травами, и лезвия наших кос то и дело бряцали по камням и быстро тупились, так что приходилось останавливаться и шоркать бруском. Но что толку, моя коса уже вся была в зазубринах, как сабля после рубки. Ребята ухмылялись, глядя на нее, а еще пуще – глядя, как я ею размахиваю. А я рвал пупок, не хотел от них отставать. Мне надо было овладеть этой наукой: побеждать на знойных полях крестьянской жизни. Ну и что, что солнце палит, и язык прикипел к гортани, и под ребром колет, мышцы ноют, а где-то в переносице кипящая кровь стоит – и готова хлынуть с грохотом, как река... Коси. Да, днем речной шум хотя бы обещал прохладу. Иногда мы устраивали большой перекур и дружно топали к речке, падали на камни, окунали горящие лица в зеленоватые пенные пласты, хлебали воду, скинув пропотелые рубахи, лили на спину, на плечи. Я испытывал едва одолимое желание скользнуть в эту вечную движущуюся плоть и плыть куда-либо, в озеро. Но выкурив по сигарете – все курили дешевую «Приму», лишь помощник лесничего «Беломор», зажимая папиросу в уголке рта, передними зубами этого сделать было нельзя, – мы возвращались на наше поле битвы Куру... Да, к вечеру звенящие цикадами и кузнечиками травы уже мерещились войсками индийского эпоса, а шум реки – голосами разъ-яренных богинь. Есть не хотелось. Но Вано умел готовить, и запах каши с какими-то специями пробуждал голод. К тому же каша или суп были напичканы мясом, полосками вяленого маральего мяса. За маралом лесничий с братом съездили перед покосами, – как в магазин или на базар, оседлали коней, выехали поутру с карабинами, а к вечеру уже переезжали реку вброд, и с грузных потемневших мешков в чистые воды срывались червонные капли маральей крови. Я держал это в голове и собирался когда-нибудь написать тушью на бумаге.

Через несколько дней сквозь шум реки мы услышали ржанье коней, блеянье. На ту сторону прикочевали алтайцы. Подходя к реке, мы видели овец, юрту.

Битва продолжалась. Вообще косьба на этом поле была занятием небезопасным. Помощник лесничего предупреждал, что здесь водятся щитомордники. Укус этой змеи мог оказаться смер-тельным. Но все-таки щитомордники предпочитали уходить от вереницы воинства, дружно размахивающего косами. Я пару раз видел ускользающие в травах хвосты. А вот какая-то птица однажды смело села мне на голову. Я в это время стоял, опершись о косовище, и вдруг услышал «фрр!» и увидел, что у моей тени на голове появился хохол. Некоторое время я стоял, не шеве-

лясь, и смотрел на тень. И темный ком сорвался, я успел разглядеть небольшую серую крапчатую птицу, быстро растворившуюся в цикадном мареве. Это было расценено мной, как добрый знак.

Синоптики грозили дождями по старому, оплавленному у костра и перетянутому синей изолентой транзисторному приемнику «Альпинист 305». Знал об этих прогнозах и лесничий – и обещал выставить браги, если мы управимся вовремя. Ну, мы и управились. И в последний день появился лесничий с двумя кожаными мешками по бокам лошади. Лесничий осушил с нами одну только чашу, собственно, железную эмалированную кружку, потемневшую от чая, и уехал на кор-дон, а мы весь вечер и полночи бражничали, что-то горланили, спорили о коммунизме и снежном человеке, попадали кто где и не слышали ночного выстрела. Только бдительный и не столь пья-ный помощник лесничего слышал и утром выковырял из бревна, на котором мы обычно сидели у костра, пулю. Опухшие и косоглазые косари смотрели на кусочек сплющенного свинца в смуглых пальцах с грязными ногтями и молчали. Первым не выдержал Вано. «Дай пистолет!» Но противоположный берег был уже пуст, алтайцы снялись и откочевали куда-то. «Надо их догнать!» – горячился наш повар, похожий уже не на полугрузина, а на полного узбека. Но никто его не поддержал, все косились на бурдюки, боясь узнать свою участь: пусты они или что-то еще осталось? По полкружки каждому смогли нацедить. Лица немного расправились. «Почему ты сразу огонь не открыл?» Помощник лесничего пожал плечами и ответил, что берег патроны. Тут посыпались рассказы о коварстве аборигенов, о вымазанных медвежьим жиром камнях на тропах над пропастью, о каком-то пропавшем леснике, об околевшей прошлым летом ни с того ни с сего лошади...

Потом мы начали собираться в обратный путь. Честно говоря, я не знал, так ли уж мне хочется возвращаться на кордон Чодор.

Но мы проделали снова этот путь мимо пастбищ алтайцев, трав, камней и кедров и выре-занной заставы и увидели несколько домишек на противоположном берегу и стены каньона и бе-лую нить водопада, почувствовали запах полыни и дыма.

Все было то же, ничего не изменилось. И в нашем доме витал все тот же дух уныния и за-пустения. Хотя Ирка мне, конечно, обрадовалась, мы кинулись целовать друг друга. Может, ты наденешь платье, предложил я сдуру. Она ходила в спортивном костюме, как будто мы все еще ехали в поезде. И она открыла сумку, долго в ней рылась и вдруг подозрительно притихла. Я по-дошел, заглянул в лицо. Отворачивается, по щекам бегут слезы, сыплются на треклятое платье. Нет, нам никогда, никогда не понять женщин. Я каждый день готов со скалы в водопад – без па-рашюта. А ей – платье. У меня крушение идеалов, надежд. А у нее – платье. Я хотел, конечно, утешить ее, погладить по дрожащим плечам, но она сжалась в комок, вцепилась, как чумная, в тряпку... и я попытался ее успокоить, попытался вырвать платье, она вскрикнула, материя затре-щала. Я уже ни о чем не думал. Мне надо было отнять эту гадость, уничтожить, как лягушачью шкурку, и я вырвал у нее платье, запихал в печку, подпалил, все, все, нет у нас прошлого, милая, хватит, будем, как дети, начнем с чистого листа! Разве здесь не чудесно?! Разве не течет перед нашим порогом светлый и чистый ручей, проложенный трудолюбивыми китайцами? По утрам в нем мы умываемся и берем воду. А ночное небо! Звезды над каньоном?! В нем же, как в реке, и кувыркается реликтовая рыба! Роняет огненные чешуинки – взгляни! Вдумайся в это!

«Чем я... тебе мешаю?»

Я хлопнул дверью и выскочил на улицу, замочив ноги в ручье трудолюбивых китайцев. Я готов был поджечь этот дом, изрубить в куски холсты, бросить все и уйти – на ту сторону, к або-ригенам, как Пушкин к цыганам. Но это было бы слишком нереалистично. Да и лесничий с братом и помощником догнали бы на лошадях с карабинами и пистолетами. Если бы только я сам ускакал на одной из лошадей. И остальных отпустил бы в луга высокогорий.

Чтобы успокоиться, я пошел к водопаду.

Что же происходит, думал я. В городе на меня давило всей мощью государство. В трамваях андроповцы хватали людей, загоняли их в автобус и допрашивали, почему в рабочее время они не за станком, не за штурвалом, не у доменной печи. Архитектора, мечтавшего сбежать из этой дыры

в Австралию, по праздникам упекали в психушку, газетчики клеймили его австралопитеком. По ночам мне в кинотеатр, где я служил сторожем, постоянно кто-то звонил, то ли сумасшедший, то ли провокатор, я не знал, как с ним разговаривать. А он поднимал все глубинные вопросы. Младшего брата рок-н-ролльщика гоняли менты чуть ли не с автоматами и овчарками. И я сбежал из-под глыбы.

У меня есть рыжая Ирка.

Цель.

В чем же дело? Почему мы не можем быть счастливыми?

Дожидаясь вертолета на центральной усадьбе, мы познакомились с бывшим врачом с Ук-раины, а ныне лесничим. Колоритный персонаж. Волосы до плеч, патриаршья борода. Любопыт-но, что украинский врач-лесничий был адептом благородного пути. Более того, у них на высоко-горном кордоне собралась целая община советских буддистов. В Чодоре я наслушался всяких баек о них. Говорили, что все там вегетарианцы, – когда, мол, вместе, под присмотром патриарха, а в тайге втихаря лопают рыбу, тушенку, бьют рябчиков. Иначе разве б они смогли работать в тайге? Заготавливать дрова, косить? И детей своих в школу не отдают, а устроили собственную школу, сами учат считать-писать, у них там и учителя есть, и музыкант, и даже бывший циркач, дрессировщик. Говорили, что они собирают мумиё, золотой корень и неплохо зарабатывают. Деньги им, естественно, нужны, чтобы однажды дружно переселиться в Индию или в Тибет (хотя там тоже социализм, еще более глубинный).

Дожидаясь вертолета, мы обитали в общежитии, там же и патриарх лесничий. Бичи канючили у него на выпивку, и он давал, спасая от похмельного синдрома, но при этом читал им проповеди о жажде, распаляющей жажду. Слушать это из соседней комнаты было забавно. Какой-то местный интеллектуал вступил с ним в диспут. Выдвигал доводы. Против вегетарианства: мол, доказано, что растения тоже чувствуют, береза волнуется, когда к ней приближается человек с то-пором. Против перерождений: это слишком похоже на тезис древних евреев о вине родителей, которую наследуют дети, а ведь ясно же, что дети ни в чем неповинны. Против постулата об иллюзорности всего: к чему тогда все это вегетарианство и прочие ухищрения, – разве майе больно? Иллюзорно только потому, что недолговечно? А это подмена понятий. Иллюзорность так и надо называть – краткостью, временностью. Но, например, удар ножа вполне реален, хоть и краток, ибо прерывает жизнь. Ну и что-то еще в том же духе. И главное, против нирваны. Есть такое понятие: медленное самоубийство, – вы, врач, должны это знать. Это когда человек – вот пьет беспробудно. Весь ваш буддизм и похож на медленное самоубийство. Чем меньше жизни, тем лучше. И вершина, точнее, пропасть всего: нирвана, небытие, ничто. Лесничий возразил, что это высокое небытие. Игра слов! Это просто влечение к смерти, преклонение перед ней из страха и слабости, ответил тот ботаник – или кем он служил в научном отделе? В общем, парень с головой. И я с ним был согласен.

А тут, сидя над водопадом и покуривая, задумался. Может, это и есть метод, которого я лишен? Держать на цепи свои желания, зажимать в тиски свою жизнь, себя, свое «я» и верить в высокое небытие и к нему стремиться, – может, в этом выход? Может, так и удается схватить ко-му-то реликтовый свет?

Я уже начинал жалеть, что нас не направили на тот высокогорный кордон.

Впрочем, разве не в силах я сам преодолеть себя? Меня всегда отталкивал любой коллек-тив. В армии я умудрялся жить наособицу, быть одиночкой. В институте тоже. В живописи я так-же пытался отыскать свой путь, не вписаться ни в какой изм. Группировки художников – «Передвижники», «Наби», «Бубновый валет» и прочие – мне казались результатом чьей-то хитроумной стратегии, какого-то неведомого генерала, шефа тайной полиции. Поэтому я сторонился собратьев живописцев в городе и предпочитал работать сторожем.

Коллективные занятия душой?

Нет уж, оставьте меня наедине с моей душой. Я сам разберусь.

И ни в какой к черту буддизм моя душа не вписывается!

В христианство – и подавно!

По крайней мере, в буддизме привлекательно то, что принц темнил насчет бога. Считается даже, что это религия без бога, просто философское учение. Но классическое определение религии и не требует наличия бога, достаточно веры в потустороннее. А это могут быть какие-нибудь рожаницы славян или небесные лоси шамана. Потустороннее в буддизме имеется. Та же нирвана, которой надо достичь, как гавани, чтобы никогда не возвращаться в мерзкую плоть, в проклятый мир майи. Возможность возвращения тоже потустороння, чудесна. И в это невозможно поверить. Мы не можем уже быть как дети.

Я разлюбил литературу. А любая религия сейчас – это прежде всего литература, Библия там, Бхагавадгита. Но мне не нравится все, что соперничает с живописью. Художник не должен быть литературен. А литератор – слишком художествен! Пиши резко, грубо, сухо, никакой мазни, только самую суть. Дай скелет читателю. Плоть он домыслит. Он умнее, чем ты думаешь. Вот ты, неужели не можешь продолжить мой рассказ?

А что фантазировать, если продолжение сидит перед тобою: в черном заношенном пальто, с поредевшими волосами, чистит леща, прихлебывает из бокала... Что делать, все мы иллюзорны, но голодны; горды, но хотим славы (а она – стерва).

Не слишком разрастается моя исповедь? Рассказывать дальше?.. А знаешь, я бы хотел почитать такую книгу или увидеть такое кино... необязательное, странное, с непонятным сюжетом, ветвящимся, впрочем, возвращающимся к генеральной линии, – и вдруг все-таки уходящим по одному из боковых тоннелей. А зритель пусть ждет. И не дождется. А?

Зачем?

Сорвать личину всезнайства. Мы ни черта ведь не знаем, что произойдет через минуту. Да-же то, что уже произошло, можно толковать так и эдак, выворачивать наизнанку. Завершенность и всезнайство смертельны. Тебе приходили в голову такие мысли?

Дай спички...

Но я-то знаю продолжение этой истории, верно. Во мне она завершена. Я ее склеп. Что тут скажешь?

После очередной ссоры мы решили закончить этот совместный эксперимент. С нас было достаточно. Кто нас неволит? Мы должны быть свободны, а это значит не обращать внимания на условности. Раз этот рай превращается в ад, каждый вправе выйти из игры. Я сыт тоской! Вздохами! Невысказанными укорами. Хватит. Все! Баста. Если я во всем виноват, то и ладно, останусь один в вине. Согласен. Лучше это, чем поникшие плечи и тусклые взгляды. Я ни о чем не жалею! Как конкистадор, вломившийся в дебри ацтеков. Я пойду до конца. Пройти до конца мне важнее всего, даже если я заблуждаюсь. Моя цель превыше всяких бытовых реалий. К чертям собачьим! Я не могу менять идеи, как перчатки. Или я художник или дерьмо собачье, и тогда мне лучше вовсе раствориться, прыгнуть в водопад, ясно? Это тебе ясно?

Ей было все ясно. Я пошел объясняться с лесничим.

Пожалуйста, невозмутимо ответил он, но вертолет я вызывать не буду. Вам придется схо-дить самим в Башкаус. Оттуда можно улететь.

Ни лошадь, ни проводника он не дал, люди были заняты заготовкой дров на зиму, сбором дикого крыжовника, а сам я вряд ли справлюсь даже с самой тихой кобылкой Мамашкой. Лесничий не был удивлен. Но его борода выражала какое-то мрачное торжество.

Тропу нам указали, она была набитой, а за перевалом с деревьями, украшенными разноцветными лоскутами, – приношения темных алтайцев, верящих в духов, – и вовсе превратилась в дорогу, по которой алтайцы гоняли стада на высокогорные пастбища. Мы взяли только один рюк-зак с самыми необходимыми вещами, остальное можно было переслать позже, что ж...

Мы ночевали в заброшенных стойбищах, крепких просторных домах с выбитыми окнами и разбитыми русскими печами, – алтайцы игнорировали эти стоянки, сооруженные специально для них, предпочитая свои юрты. Вдалеке мы видели табуны лошадей и овечьи отары. А на вершинах белел уже ранний августовский снег руном недолговечным. На лиственницах сидели

вороны. Видели мы оленя, неспешно пробиравшегося по склону, заросшему молодыми пихтами.

А однажды к нашему дневному костерку на ручье свернул с дороги всадник на пегой ко-былке. Это был алтаец. Подъехав, он молча уставился на нас. Сбоку к седлу у него был приторо-чен карабин. Мы с ним поздоровались. На смуглом широком безбородом лице наше приветствие никак не отразилось. И узкие губы оставались сомкнутыми. Маленькие агатовые глазки из-под нависающих век цепко изучали нас. Рассмотрев и классифицировав меня, пастух или охотник перевел взгляд на мою рыжеволосую бледную спутницу. Я предложил ему выпить чая, мы только что заварили в котелке. Но абориген даже не посмотрел на меня. Это начинало действовать на нервы. Впрочем, персонаж был довольно выразительный, и я пожалел, что не могу набросать его портрет. Наконец осмотр был завершен, алтаец повернул лошадку и потрусил к дороге, так и не проронив ни звука.

– Зато сразу понятно, кто в этом доме хозяин, – пробормотал я.

Ирка передернула плечами, как будто сбрасывая морок этого странного разглядывания.

Дальше мы шли, ожидая новых встреч. Но больше нам никто не попадался до самого Башкауса, крупного алтайского села, где нам пришлось продать позолоченные часы, чтобы хватило денег на дорогу до центральной усадьбы, где Ирку ждал полный расчет.

Погода была нелетная, и два дня мы дожидались вертолета в каком-то сарае на краю летно-го поля, изводя друг друга молчанием или разговорами на отвлеченные темы. Ирка уже не плакала. И то хорошо. А я переставал чувствовать себя палачом. Каждый волен уезжать, приезжать, ис-кать новых спутников, зачем превращать эту жизнь в свод догм? Ну, не получилось в этот раз, получится в другой. Время есть. Пожалуйста, никто не отнимал права выбора. Ты горожанка до мозга костей? Что ж, зачем наступать на горло своей песне. Жаль, конечно, что песни у нас разные. Но ничего не поделаешь.

Было чертовски холодно, я ходил покупать хлеб и плавленые сырки, рыбные консервы, си-гареты в магазин; из ближайшего леска таскал сушины и разводил костер. Котелок мы с собой взяли и хотя бы согревались чаем. Но Ирка шмыгала носом, простыла. Я не мог провожать ее до центральной усадьбы, – далеко. Лесничий отпустил меня на четыре дня, я и так уже задерживался. Да мне и не хотелось, черт, тащиться еще и дальше с ней. Каждому свое. Дождь моросил по крыше сарая, пахло пихтовыми ветками, на которых мы и спали. Странно! Но порой я испытывал ка-кое-то почти блаженное чувство. Как это объяснить, не знаю. Но я понимаю индийцев, еще старо-режимных, брахманов, которые под старость нищенствовали. И кто знает, может, наши бомжи на вокзалах – реинкарнация брахманов? Что-то у них включается, какая-то программа, и они обрас-тают бородами и власами, как проповедники, и на виду у сытых и пугливых домо-владельцев, собственников автомобилей, дач начинают вести жизнь птичью, собачью. Да, мне мерещилась свобода. Суровая свобода, – не это ли гарантия успеха, к которому я стремился?

Наконец развиднелось, появились горы. И молоденькая луноликая диспетчерша пообещала вертолет. Времени оставалось много, и я пошел прогуляться, лишь бы не проводить эти последние часы в тягостной тишине вдвоем. Я набрел на каменистом склоне на крошечные белые невзрачные цветы. Это были эдельвейсы. Пока я их рвал, в небе застрекотал вертолет. Я хотел подарить эдельвейсы Ирке. Но что-то меня удержало на этом склоне. Я сел, закурил, оглядывая сверху хмурое село, белые валуны, сопки, дальнюю тайгу...

И она улетела. Может, видела в иллюминатор меня на склоне среди камней, с букетиком эдельвейсов. Художник должен быть жесток, а не сентиментален. Я закурил новую сигарету, оставил букетик на камне и направился вниз, намереваясь купить в сельмаге дешевого вина. Я не мог так быстро сдаться. Я еще думал, что... Да, двадцать лет назад я предпочитал химеры близкой яви: рыжему цветку, излучающему тихий виолончельный свет.

Ну, надеюсь, уж эти-то двадцать лет ты способен вообразить и без моего участия.

Смоленск

Александр УЛАНОВ

* * *

Волосы для заката, живая глина, калиновая тревога. Красный дым вокруг плеч, твердые белые лепестки вокруг бедер, рыжий ветер вокруг головы. Бабочки и тени листьев переселяются на грудь и спину. На качелях на краю полета – где не страх, а пространство. На крыше на краю воздуха – так, что горизонт наклоняется за оттянутой влево ногой. На перилах на краю воды – летающей ни к чему лодки. Над полом комнатной Японии – где удивление больше лица. Земля тянет к себе – но что взрослее улыбки? что быстрее смеха? что растрепаннее волос?

* * *

церемонен чай в вечернем чтенье
снег не оставляет завещанья
головы больное окруженье
воздух постоянного прощанья

лодка перепутанная птица
серая царапина рассвета
если друг о друга не разбиться
то придет троллейбус или лето

ниточка усталая ночная
с неуверенной иглой в начале
находя тебя в твоей печали
в темноте кто ты из нас не зная

* * *

Сербские карты с тобой. Опсенар – маг. Кула – башня. Первая строчка – люди, подарившие мне меня и себя. Вторая – звезда и солнце, день и ночь, колесница путешествий. Третья – подвешенность, тревога, черт, что забирает все. Головой в твои коленки, будущему не поверим, откроем свое, платье из черного чая, лицо, закрывшее внутри цветы от холода, книга, в которой встречаются, где и правда тебя нашел, без предназначения, заучивания, определенности, с огнем на волосах и под ними, с ниткой красных камней.

Александр УЛАНОВ родился в 1963 году. Кандидат технических наук. Работает в Самарском аэрокосмическом университете и Самарской Гуманитарной академии (в т.ч. курс современной русской поэзии). Публиковался как поэт и критик в журналах «Воздух», «Волга», «Дружба народов», «Знамя», «НЛО» и др. Автор нескольких книг стихов и малой прозы, переводов с английского, французского и немецкого. Шорт-лист Премии Андрея Белого (2006).

* * *

камень с трубкой камень с дыркой
к встрече сложенный билет
в поцарапанной пробирке
чая слез тумана нет

ветер слепит ветер лепит
горизонты из песка
точка проскользнет над цепью
и по волосу рука

приходящая с вниманьем
с проходящего начать
ожиданье обещанья
обещая ожидать

* * *

белым по белому спящая черным окружена
красной обиды рот всегда приоткрыт
я никогда что меня ждет от глаз
с ломкого расстояния помощи не уйду

так мы лицом к лицу и спиной к спине
доли твоей сколько возможно взять
равными разными встретившись время у нас
в доме из чайной ночи питерской угольной тьмы

брови удар и радость прозрачных скул
замерли кофе хлеб черника в дверях
близкую вспышку зеленую подождет земля
верит ладони щека кончился дождь спи

Александр МИРРО

ЗАМЕТКА о РОЖДЕНИИ и СМЕРТИ

Ббррр... имам...омар... арабика...

Шшш...шшшшшш...

Шипение эспрессо-машин, а дальше – черный и прозрачный взгляд кофе. Черный напиток спартанцев вновь дурит голову. Сплошная чехарда мыслей.

Арабика – самый дорогой сорт кофейного дерева. Дервиш Омар, да будет благословен твой род. Черное как торф лицо араба-отшельника устремлено в небо. Палящий зной Аравии и неблагодарность жителей. Дервиш скрывается в пустыне.

Голод. Жажда. Он находит странные кусты с непонятными ягодами. По глупости съедает и бодрствует два дня подряд, не чувствуя никакой усталости.

Другая версия. Нищий, бродяга, он же дервиш, видит и слышит сладкоголосую птицу на дереве. Причина видения – голод. Прелестная злая фата-моргана в зное аравийского полуострова. Бедный дервиш опрометчиво лезет на дерево и не находит птицы, лишь странные зеленоватые ягоды.

Вздохнув, он срывает плоды и уносит в пещеру. Там он обливает неизвестные ягоды кипятком. И...

Исцеляется от всех своих недугов, вымышленных и не совсем.

Легенда так себе.

А кто это говорит?

Это бормочет человек с двухдневной щетиной и дрожащими пальцами, меж которых торчит сигарета. Меня зовут... Je sui... мадам Бовари, Лао Цзы, Жан-Жак или Иван. Все-таки сентябрь. Да, январь. Хаос мыслей вас не должен беспокоить, меня он точно не беспокоит – я привык к самому себе. Давно пора сменить позу.

Рядом со мной сидит – за другим столиком (да, мы находимся в кафе) – крепкий седовласый тип, который усердно что-то читает, а его кофе (черт бы его побрал!) остывает. Мы с ним знакомы. Его зовут Иннокентий. Он приходит в это кафе раз в неделю, скажем, в Пятницу, в два часа дня. Как часы. У меня своих нет.

Он каждый раз приходит с новой книжкой. В мягком переплете. Издательство «Азбука». По-моему, он перечитал весь двадцатый век. Сотни часов и сотни километров бумаги. А сколько литров кофе? Можно убить стадо слонов таким количеством кофеина.

Мы всегда долго сидим. Мечтаем. Девушка с выученным наизусть взглядом механически разламывает вилкой кусок творожного торта. Она из тех, для кого такой ритуал – верх буржуазности. И ее низ. Неловко посматривая в окно и вытирая губы салфеткой. И так каждый день. Как часы.

Гогот за дальним от меня столиком. Трясутся от смеха два студента, две громоздких тетки в лимонных поло.

Пришел мой друг – Джон. Хотя Иван. Иона-Джон. Всегда заносило в определенные места. К примеру, сейчас он ринулся в туалет. Ни привета, ни ответа. Он любит читать конституцию в оригинале, объясняя всем и каждому, что это сборник реалистических рассказов. Не более того.

Александр МИРРО. 28 лет, родился в г. Курганинск Краснодарского края, закончил Институт журналистики и литературного творчества. Рассказы публиковались в журнале «Топос», «День и ночь», подборка рассказов вошла в лонглист премии «Дебют» в 2005 году. Живет в Москве.

Шшшшш... шипение эспрессо-машин. Топот речи в лабиринтах дыма.

Да, да. Я продолжу об Арабике. Это древний сорт кофе. То есть дерева. С одного дерева – урожай небогатый. Шесть кг плодов. Из этих шести получается один кг зерен. Так ли это? Адская статистика. Сотни людей в сотнях контор ведут ежедневные подсчеты. Кто родился, кто умер. Сколько появилось на свет, сколько отправилось на тот. Так и с кофейными деревьями. Они нежные и терпеливые. Как люди.

Беру ложечку и погружаю ее в меланж. Так назывался раньше венский кофе, близкий родственник капуччино. Монахи вырастают в одну черную массу. Капуччино. И все тут.

Помню одного странного господина, который приходил в это гротескное кафе и громким басом делал сумбурный заказ. При этом нелепо жестикулировал. А руки его были огромными, мясистыми. Каждая словно окорок. Он говорил: *мне вот это, это, это, то, то, вот это, нет не то, а это, вот то и там то, это, потом это, нет не это, а это, да не то, а это, вы глухой, вот это это то не то это затем то и* ДРУГОЕ. А ему отвечали: нет ДРУГОГО. Он возмущался: как нет ДРУГОГО? Ему повторяли, что ДРУГОГО нет. Он не понимал, ругался, размахивал опасно руками и все повторял – как же так, нет ДРУГОГО, все время сюда хожу и было другое, а теперь нет!

Пределов его искреннего возмущения и удивления просто не было.

Я сижу здесь уже два или три дня, но по слякоти на пороге кафе, по узорам следов от ботинок, по отчаянно сгорбленной спине студента-филолога, дующего в чашку, по выражению лица стариканусa Иннокентия, по кашлю официантки и стону посуды, выпавшей из слабых женских рук, – по всем нелепым и исчезающим признакам я понимаю, что прошла неделя, не меньше. Разыгрывать этот спектакль – мое утешение. Время тянется и равно довольному урчанию в желудке. Я в райском месте, как видите.

Я могу быть оправдан в ваших глазах, если вы спросите, зачем я грею зад в этом гротескном раю. Все очень просто – я жду свою девушку. Ее зовут Инна. Она студентка медицинского факультета и блондинка. Сейчас она придет, и мы будем разговаривать. Беседу будет вести она, а я буду внимательно слушать. Она сложит свои ухоженные руки на колени, изредка будет хвататься за мое колено и дергать его. В пылу беседы, как я понимаю.

Она жалуется на свою страсть к сладкому. Однажды она съела при мне целый торт. Это был волшебный торт-суфле. Она требовала от меня, чтобы я забрал его подальше и спрятал. Называла садистом и мазохистом разом. Я обычно делаю кислую мину и едко посмеиваюсь. И пускаю ей в лицо знак вопроса из табачного дыма. Наверное, я действительно садист?

Все-таки я убирал торт недалеко, так чтобы она могла заметить его мягкие очертания хотя бы краем глаза. И снова вопли и жалобы. Бесконечная самокритика.

Она скоро придет, а пока вернемся к шипению.

Шшшшшшш... вновь и вновь. Тишина, покашливания, скрип, смешок, возглас, реплика, сопение Иннокентия. Шелест Азбуки.

Кофе есть кофе есть кофе...

И в чашке кофе видеть мир.

В семнадцатом веке врачи прописывали кофе всем и каждому. Он излечит от всего! Сома Великого Прихода! Просперо Альпини, итальянский ботаник, говорит, что чудесный отвар из странных зерен прекращает менструальные боли.

Перст Указующий, и указывает он в чашку с темной жидкостью. Озарись! Приди к осознанию Божьей Благодати!

Я уже озарен. Я иду. Примерно двести лет назад в нормандском кафе после глотка кофе-глясе (с кальвадосом) бедному хроникеру казалось, что его ударили обухом топора по голове, а в глотку вонзили штопор.

Не знаешь, кого благодарить? Кому пожать руку за открытие сказочного дерева? Кто принес его в Аравию? А кто стал жарить зеленые плоды? В этом отношении мы – дикари в ожидании бесконечного рассвета.

Пытаюсь вообразить себя эфиопом, жующим сырые кофейные зерна. Нужно тщательно их пережевывать для пущего эффекта – уснуть трудно, зато усталости в долгих походах не предвидится. С удивлением думаю о том, как я – все еще в маске эфиопа – толку плоды-костянки кофе и смешиваю их с животным жиром, и получаю из этой массы в итоге странный шарик.

Эфиопы передрались бы за лишний кусок такой пищи. Но это было в прошлом. Их кофейнями были костры, вокруг которых они усаживались. Кофейные экстракты-шарики передавались из рук соплеменника. Идиллия.

Иона-Джон торопливо сообщает мне что-то на ухо. Я думаю о странноватом человеке средних лет с маленькой бородкой и залысинами. Он спешит и неуверенно прыгает через лужи. В моем воображении он покашливает и озирается – это рефлексы будущего вождя социализма. Он заходит в Café Central. Знаменитое венское кафе – пристанище русских революционеров.

Легенды не уместятся в маленькой чашке эспрессо.

Мой старый друг, размахивая своими длинными руками, рассказывал о самом вкуснейшем кофе в своей жизни, которое он попробовал в венском кафе Dommayer – старом, как либерализм. А подруга пережила кофейный катарсис в простой бразильской деревушке.

ИСТОРИЯ С ПРЫГАЮЩИМИ КОЗАМИ БЕДНЯГИ-ПАСТУХА.

«Прошу вас, помогите! Я не знаю, что с моими козами? Они бодрствуют всю ночь, шумят, прыгают...»

Имам узнал причину. Пусть земля ему будет пухом.

Поговорим лучше о сортах, о запахах, о болезнях, о губах, измазанных в пирожном, о дыме, о дрожащих пальцах, о желтых зубах, о газах, о человеческой глупости.

Или же не стоит? Все это вмещает кафе. Я плыву по течению взглядов, не вижу разницы в днях и ночах. Вся жизнь передо мной. А за порогом смерть.

Излишки кофеина. Честертон превозносил вино и любовь, я отвечу – кофе и любовь! Прекрасная Елена утешала свои печали в бодрящем напитке. Семена раздора! Ветхий Завет глаголет о сушеных зернах. Чин-чин, Иона-Джон.

Мы стукаемся чашками с Иваном, зрители с интересом за нами наблюдают. Мы патетически отпиваем по глотку, держа осанку. Кровь станет черной.

Мои глаза бегают, словно во сне. Симптомы фантастической шизофрении. Цвета раскрывают свою суть. Мне не охватить все пространство этого Сада Гесперид. Кто-то прикуривает сигарету, торчащую у меня во рту. Воскурим фимиам передвижениям прелестных богинь в райских кущах. Сияющие как солнце сливки сливаются с черной плотью кофе, образуя эзотерический цвет. Кто-то выбивает дымящуюся сигарету у меня изо рта. Я смеюсь. Мой трескучий голос привлекает внимание посетителей. Я обсуждаю с кем-то непостижимую красоту этого Острова Блаженных, эту мечту Эпикура. Все ясно как день.

Земля Уттаракуру, неужели это ты? Слезы застилают мне взор. Однако вскоре понимаю, что это пот. Мне жарко. Пульс африканским ритмом откликается в голове.

Шшшшшш... шипение эспрессо-машины.

Как же объяснить те миллионы красок, то сияние от каждой вещи, те медленные па официанток или голоса, застывающие в абракадабре. В зеркалах туалета – топазы, каким образом? Я чуть ли не парю над головами, мне не нужен стул и стол. Но они словно расплавлены, как будто сливаешься с ними, и становится тепло. Обилие красок, которое становится трудно выносить.

Я вскакиваю и восклицаю – Теренс Маккена внес кофе в свой личный список наркотических веществ, наряду с телевидением!

Зрители аплодируют, я сажусь обратно. Не поверим «зеленому» Маккене. Он ушел. Иван погружает мое лицо в раковину, полную ледяной воды. Зачем? Какие вопросы еще неведомы мне?

Мы снова сидим на мягких стульях. Культура кофе темна и скрыта от глаз обывателя. Черные жители Конго жарятся на плантациях. Иннокентий пьет кофе, и высокий африканец падает в обморок, срывая ветки с листьями.

Лист абсолютно чист. Я хотел написать об истории кофе, но мой разум полон дыма и черных негритят с увеличенными животами. Покалывание в районе левой подмышки. Соматические передряги.

Неужели прекрасная Елена не появится сегодня вечером? Иона-Джон пререкается с официантом – между ними стойка с десертами.

Сколько усилий требуется, чтобы допить этот кофе? Кремовая чашка стала необъяснимо тяжелой – с трудом отрываю ее от стола и подношу к губам. Ощущаю прилив свинца в шее, потом в затылке. Тяжесть во всем теле, кажется, я стал камнем.

Был бы аллергиком, не стал бы кофеманом. Иван чуть ли не дышит мне в лицо – серо-красные щеки приближаются ко мне и черные губы готовятся меня поглотить.

Поехать в Бразилию, гнуть спину на плантациях – искупить коллективную вину. Для начала неплохо. Возвращаться в прогнившую хижину, мучиться от головных болей, выпивать крепкий кофе, приготовленный беззубой негритянкой в засаленном сарафане. И ходить всю ночь с раскрытыми глазами, слушая цикад. А потом меня отвезут в городскую больницу с воспалением легких или с приступом малярии.

Будут нести на хрупких носилках мимо низких домов, прыгая через лужи, и местные жители будут задумчиво провожать взглядом...

Спокойствие или кататония?

Кто-то кричит мне, что будущее за Старбакс – за ухоженными безликими кафе. *Я брал там капучино, в нем было столько пены! В самый раз для хорошего бритья!* – продолжает кто-то кричать.

Мы здесь сидим, чтобы нас не настигло обыкновенное безумие. Выйдешь за дверь и... *лучше не выходить.*

Надо выбираться из душной атмосферы, из этих окрашенных в кофейный цвет стен, сквозь дым и резкий смех, минуя сотню глаз. История кофе – это рассказ кофемана, полный дрожащих пальцев и потоков слюны.

Я получил страх, мама.

Меня выносят, схватив за руки, мои прекрасные друзья. Порция солнечного света. Я слепну и падаю на сухой асфальт. Мы возвращаемся в обыкновенное безумие. Всегда так. Так.

Александр ЯКУШЕВ

Каноническое произведение

строки первые

Я ничего не хочу, я ни о чем не мечтаю.

Все отношения между людьми можно разбить по категориям (по типу: ты к нему – он к тебе):
а) хорошо – плохо
б) плохо – хорошо
в) хорошо – хорошо
г) плохо – плохо
д) пофиг
Я отношу себя к последней категории. Я ничего не хочу, я ни о чем не мечтаю.

Ночью я выдумываю фразы сюда, а утром их забываю.

Я жду, когда прославлюсь. Тогда в прямых эфирах я буду давать небрежные интервью. В них я честно, с удовольствием и самолюбованием сознаюсь во всех своих мерзостях и мерзких делишках. Правда тогда, скорее всего, вырастут дети, и этого им уже покажется мало.

Утренний шум транспорта за окном похож на шум моря.

Сегодня я опять видел ее во сне. Она зашла в зал, где я играл в баскетбол, и я не мог оторвать от нее глаз. Мяч летел, люди суетились, время замедлилось, и я просто стоял и смотрел на нее. Какой же я идиот. Какой же я мудак. Я бью себя головой об шкаф, но от этого, кажется, развалится только шкаф; боли я не чувствую. На ногу мне падает коробка из-под мобильного телефона, мол позвони. Но я не звоню. Я бью себя головой об стол три раза. Я бью себя кулаком в лоб. От этого становится легче, но ненадолго.

Казалось бы, у меня на все есть оправдания: мать – инвалид, отец – алкаш. Но так ли это? Интересно, какую роль они сыграли на самом деле? Каким был бы я в семье, где все шито-крыто?

Отношения между детьми и родителями, в некоторых семьях, можно назвать честными, потому что дети говорят наивно-открыто, а родители бесцеремонно.

Жизнь – это подлая штука. Когда все надежды умирают и теряется весь смысл существования, она обязательно подкидывает что-то новое.

Сейчас у меня каникулы. Сегодня я принял роды у дюжины мармеладин. Черствые и пожухлые, внутри они таили в себе маленькие, мягкие и яркие мармеладинки. Каникулы – это чудесная пора, когда можно отдохнуть и пофантазировать. Я нашел какую-то алкашку на сайте знакомств. Я вступил в переписку с Василиной Орловой.

Александр ЯКУШЕВ. 19 лет, живет в Белгороде, учится. Ранее публиковался в журналах «Нева», «Мы».

И тогда!.. Он создал землю плоской в назидание всем дебилам, чтобы они не перевернулись, зайдя слишком далеко! Так он шутит, мой апостол, мой шакьямуни.

Вчера у меня умерла черепаха. Точнее, она умерла где-то неделю назад, никто этого и не заметил. Просто забилась, не в силах больше, под стол и тихо умерла. Когда ее нашли, цинично похоронили на мусорке. То время, пока ее труп лежал под столом, я не спал, как будто дух черепахи требовал погребения своего тела.

Завтра мне должна написать Freak. Она напишет что-нибудь вроде: «Ну что? Готов к ритуалу?» Мы договорились, что она убьет меня, договорились провести с ней ритуал убийства. В графе профессия, в анкете на сайте знакомств, она написала «киллер». Я отвечу ей: «Я не хочу. Забудь меня. Я ужасно уродлив».

Моя больная фантазия рисует картины, мой воспаленный мозг угадывает движения кисти.

На той стороне вселенной инопланетяне отбивают нам тридцатый поклон. Они поклоняются нашей планете, потому что она единственная во всей вселенной – голубая. Вот, наверное, почему у многих людей, и у меня в том числе, развился комплекс бога. Не потому что она голубая, а потому что где-то там далеко кто-то тебе поклоняется.

Когда я смотрю с высоты на людей, они мне кажутся не муравьями, а бактериями. А их города – опухолями на теле планеты. А планета – прыщиком на теле вселенной. А вселенная – еще одним прокаженным.

строки вторые

Я ненавижу всех, и больше всего – себя.

Когда все будущее пропадет, когда все надежды обломаются... Когда я напишу Freak: «Забудь меня. Я ужасно, ужасно, ужасно уродлив. Ты увидишь меня и пошлешь. Вот чего я боюсь, вот чего я не хочу». Когда она скажет: «Да ладно...» Когда я соглашусь, она меня увидит и, действительно, пошлет... Когда на встрече выпускников меня вдруг никто не заметит, и я буду грустно сидеть в сторонке... Я куплю себе гитару.

Я знаю будущее. Я вижу вас всех насквозь. Она хочет поразвлечься. Он хочет ее. У этого мужчины спермотоксикоз. Этому нужна прачка, повар и проститутка, желательно в одном лице. Она оправдывается. Ей просто скучно. Он хочет значить больше, он привирает. А этот молодой человек, сразу видно, мудак. Что про будущее?.. Вы все умрете. Вам это уже говорили тысячу раз. Вы и сами это знаете. Просто еще не осознали.

Когда вчера я стоял на балконе, Господь Бог положил мне руку на плечо. От этого стало тяжело... Я называю его Аллахом, но он этого не любит. Он любит, когда его называют Буддой или Иисусом, а еще, вместо Боже, – Учитель. Он положил руку мне на плечо и сказал: «Ты знаешь, я хочу уничтожить этот мир». Я ответил: «Я знаю».

Я глотаю четыре таблетки, но почему-то не могу засунуть их себе в рот. То мимо, то выскакивают одна или несколько. Я совершенно отчетливо понимаю, что какие-то силы мешают мне проглотить эти таблетки. Злые или добрые, я не знаю. И я не знаю, глотать мне или не глотать. В конце концов, я заглатываю их; все четыре.

Две или три недели назад я мылся в ванной, напевая свои любимые песенки, и смеялся под напором душа во рту. Твердые струи воды щекочут язык и от этого волей-неволей становится смешно. Это последний способ улыбнуться. Так вот, тогда я проклял Анисимову; я пожелал, чтобы она сломала ногу. Сегодня мое желание сбылось. Сегодня я узнал, что у нее, действительно, пару дней назад, сломалась нога. Я почти не удивлен. И не испуган. Мне совсем не жалко ее. Я этого и хотел.

Freak я так и не увидел. Она меня забыла, ничего больше не писала. А я не писал ей. Кажется, я уже призрак, изредка появляющийся и пугающий людей. А может даже и не пугающий совсем, отчего еще более ущербный.

Завтра будет день. Завтра я буду. Послезавтра нет. Все мы умрем.

Утро – прекрасное начало дня. Я просыпаюсь и ем таблетки, чтобы переместиться в другой мир. Это tabletae pectusinum.

Состав:
ментол.....0.004
масло эфирное.....0.0005
а в основном мел

Эти таблетки всего лишь связующий предмет между этим и тем миром. Как у арабов кофе в их религиозных культах. Что тебе надо, чтобы попасть в мир ирреального? Арабам – кофе. Мне – таблетки. Этого всего лишь связующий предмет, но без них я уже не могу. Где тот мир, а где этот, я уже не различаю.

Вся эта идиотская жизнь... Каждую ночь я вспоминаю все, что наделал. Если не все, то самые жуткие эпизоды. И возникает ужасное чувство сожаления не о том, чего не сделал, а о том, что я сделал и лучше бы не...

Вчера была встреча выпускников. Я пришел в небольшую забегаловку, когда все там уже собрались. Было шумно и весело, но когда пришел я с грустным лицом, все тоже погрустнели. Меня посадили рядом с моей первой любовью. Все сидели и глядели на меня, спрашивали как дела, как будто я вот-вот начну выдавать шутки, одна за другой. А я сидел, поникнув, и ничего меня не радовало; какая-то полная апатия. Все спрашивали: что со мной случилось. «Нет, с ним точно что-то случилось». Я и сам понимал, что со мной что-то случилось. Те же люди, но ситуация совсем другая. Раза три вспоминали, как я падал в обморок, чтобы рассмешить меня и раззадорить. Но я уже совсем другой. Ангедония – диагноз отсутствия радости. И я знаю причину этому: меня нет с ними рядом. Потом несемейная часть распиздяев пошла гулять. Потихоньку все разбежались, и остались одни алкоголики. Я нарезался вдрызг. Это последний и самый надежный способ развеселиться.

строки третьи

Я умираю... Или уже?

Смерть – это неотъемлемая часть жизни. Когда жизнь в человеке со временем затухает, смерть только разрастается. Это можно представить в виде графика:

XXOOOOOOOO
20

XXXXXXXXOO
80

XXXXXXXXXX
труп

Смерть разрастается. Одно послабление – и она победит. Странно, но все считают, что жизнь не обладает такой же способностью – победы; над смертью.

OOOOOOOOOO
бессмертный

Я верю в чудо. Завтра... Завтра... Завтра... Завтра... Завтра... Я жду... Все сбудется. Все изменится. Я сам постараюсь. Я надорвусь. Но чудо свершится.

Я встречаюсь с моей первой любовью. Я умираю и возрождаюсь. С моей формулой жизни и смерти творится что-то непонятное. Сейчас она больше всего похожа на:

OXOXOXOXOX

Я спрашиваю у Бога: «Что это?» Он отвечает: «Чудо». Я говорю: «Спасибо, Боже».

Последние слова сливаются в последние строки. В них смерть становится жизнью, а жизнь – смертью. Свершаются чудеса. И обретается благодать. В запертой комнате проклятый вход становится спасительным выходом. Слепой становится зрячим. Безногий идет быстрее всех. Кто был никем – становится всем. Становится все понятно. Становится все ясно. Чудесный конец, если не считать, что скоро грядет суд божий. Апокалипсис. Если не считать, что прямо сейчас на нас летит метеорит, настолько огромный, что каждый из нас является его эпицентром. Готовьтесь. Еще пять секунд. Четыре. Три. Две...

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

1968

Хунвэйбины противников Мао когтят.
Уж три года прошло, как Хрущёва сместили.
Вольнодумцев, как новорождённых котят,
топит Время в своём нержавеющем стиле.

Я – безмозглый студент, после долгого сна
паутиной опутанный детского страха.
А в Париже и Праге бунтует весна,
молодая Европа щебечет, как птаха.

Soyez réalistes, demandez l'impossible!
...Отрезвясь отрезвеет, забудет о Сартре,
состоянья отцов и стабильную прибыль
предпочтёт, постарев, состоянию сатори...

Вот я в псковской деревне. Нет света в домах.
Провода мы протянем и скажем: да будет!
Но сначала стакан самогона впотьмах –
и о подвигах наших народ не забудет.

...И последний того просветления след
будет стёрт в Старом Граде советскими танками...
Ах, как хочется ныне, спустя сорок лет,
снова цыкнуть на нефть со швейцарскими банками!

Только киношедевры до нас донесут
дух тот вольный, под грудой табу погребённый:
что ни кадр – то знамён побеждённых лоскут,
водружённый во славу вселенской Сорбонны.

Что ж, исполним на бис, только в новом ключе,
радикальную ту, экстремистскую музычку!
Тот ядрёный коктейль из Пол Пота и Че,
сдобрив долькой лимона, хлебнём под закусочку!

И пусть всё – против нас, а исход предсказуем –
поперхнётся весь мир нашей костью размозженной!

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД родился в 1950 году. Живет в С.-Петербурге. Публиковался в журналах «Арион», «Звезда», «Крещатик», «Нева», «Обводный канал», «Часы», альманахе «Гумилевские чтения» и антологии художника Валентина Левитина «В Петербурге мы сойдемся снова...» (1993). Автор книги «Путешествия из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда» (2000).

Мы кошмарные сны его реализуем
и добьёмся, добьёмся ещё невозможного!

2007

* * *

Канонизировать Ивана-дурака –
и больше не указ ни Бог, ни бес нам,
и в тридевятом Царствии Небесном
владыкой будет нам своя рука.

Колечко стоит только повернуть ей
на безымянном пальчике своём,
как вспучится Горыныч на распутье –
мы величание и *этому* споём!

_____

А там и Чорта Лысого с Кощеем
причислим к лику
и всю клику их...
Лиха беда
начальник лих,
но льнут идеи наши к лиходеям.

2006

Аронзон

На стене висящее в первом акте,
в восприятии зрителя пусть повиснет
странным образом, символом сновиденным
в подсознании – и никакой развязки
в кульминации; лучше сближать по Юнгу
отдалённые ассоциации, лучше
побуждать прислушаться к тёмным безднам,
чем каким-то ходом предопределённым
ожиданья оправдывать; пусть ржавеет
без какой-либо цели в сторожке горной!

Сорок лет скоро минет уже, как грянул,
всколыхнув декорации южной ночи.
Задрожали травы. Звезда скатилась.
Раскатилось в горах азиатских эхо,
а когда докатилось до Петербурга,
как-то сразу несчастно в нём стало: небо
расползлось, как не было и не будет.
И одно молчание не смолкает,
резонирует явственней год от года,
сотрясает тёмные наши бездны.

2006

Екатерина РЕШЕТНИКОВА

Из цикла «Кора»

* * *

Освобожденное из покоя движением тело медлит
расстаться с приобретенной в покое позой
и донашивает, словно старое платье, жесткую форму,
в которую было когда-то отлито и с которой –
для себя незаметно – срослось. Оно оковано в страх,
в боязнь потери, в силу привычки, в потертый
доспех судьбы, и незнакомые руки, разоблачая его,
подобно священной тайне, на ощупь вылавливают
невидимые трепыханья – словно скользкую рыбу
из мутного озера – из убежища темноты.

* * *

Обезличенная настолько, что собственное отражение
в зеркале не удержит взгляда и на полмига
(словно незрячей насмешку подсунули под нос),
она ищет такую поверхность, что, подобно поверхности
водной, наделена глубиной, так что самого дна и не видно,
что отражает – не внешность, и не в хрусталик глазной
посылает удар свой, а в сердце. И лицо, обретенное под
влажным плеском чужих поцелуев, улыбнется
и вернет поцелуи обратно, чтобы круг не прервался.

* * *

Есть рыба, которую не выловишь ни сетью,
ни руками, ни сотней прочих способов
нехитрых. Меж волнами скользящая неуловимо,
сама во всем волне подобная, она с чешуй
серебряных разбрызгивает блеск, на блеск
глядящих ослепляя, не выдавая себя ничем
и неким чудом оставаясь невидимой для тех,
кто только тем и занят, что лик ее воочию узреть
стремиться тщетно – как будто шлем аидов
самовольно выкрав, она на голову себе воздела,
как насмешку, тем самым подменив зиянием смысла –
смысл, метафору любви вместо любви скормив нам.

Екатерина РЕШЕТНИКОВА родилась в 1981 году в Саратове. Окончила романо-германское отделение филологического факультета СГУ. Переводчик с английского и французского. Стихи публиковались в журналах «Дети Ра», «Урал», в альманахе «Василиск». Автор книги стихотворений «Замок» (2008).

Антон ВАСЕЦКИЙ

Май

Карта космоса складывается из водяного пара,
речки, лягушачьего кваканья, поросшего мятой склона.
Семилетний мальчик гуляет по позвоночнику тротуара
между ребер деревьев и легкими двух газонов,
ощущая всем телом невидимую тревогу,
пропитавшую, словно кровью, начало мая:
до конца осталось совсем немного,
мир дожевывает секунды, заранее все понимая.
И хотя это чувство пугающе и незнакомо,
а тем более – вряд ли может быть передано словами,
мальчик разворачивается и несется обратно к дому
рассказать обо всем поскорее отцу и маме,
а когда не поймут – уткнуться лицом в подушки
и прижать колени к испуганному сердечку,
всхлипывая о своей вселенной: квакающих лягушках,
майских прогулках в парке и тумане над старой речкой.

* * *

В спальных районах дремучих застав,
сложнодоступных, географически удаленных,
время сломило ногу, вывихнуло сустав
и развивается в рамках иных законов,
по умолчанию принятых неясно кем,
неясно когда, но, похоже, что именно здесь:
пацаны носят строго спортивное, еще совсем
коротко выстригают челку и бреют затылок весь,
имеют печатки, крестики, цепочки и т.д.,
гораздо реже – отпечаток законченных десяти,
иногда ходят стенка на стенку и на дискотеку, где
расслабляются и типа пытаются кого-то себе найти,
пьют дешевую водку в подъезде, навряд ли держат в уме,
что девяностые кончились, словно кошмарный сон,
и только дисплеи сотовых, мерцающие в полутьме,
соединяют их с настоящим через оператора Мегафон.

Антон ВАСЕЦКИЙ родился в 1983 году в Свердловске. Окончил Уральский университет, в настоящее время живет в Москве. Публиковался в журналах «Урал» и «Уральская новь». Автор книги стихотворений «Стежки» (2005).

* * *

Июль оборвался нежданно-негаданно
как раз на тех самых *волнительных* кадрах,
когда Пушкарева выходит за Жданова,
а ты уезжаешь с Казанского в Гагры.
Вокзал каменеет, внимая развитию
сюжетных ходов и фрагментных повторов,
пока мы, забыв про присутствие зрителя,
захвачены жарким с тобой разговором,
что в меру цинично и даже бессовестно,
поскольку ломает структуру картины,
где в каждую сцену прощанья у поезда
включен поцелуй, беспощадный и длинный.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

* * *

На ребре глухого полустанка
не впервой мешать вину с вином.
И зачем заезжая цыганка
предсказала скорый перелом?
Да не будет этого, не будет!
Летний дождь зарядит, как чумной.
Он пройдет легко к окошку судеб,
он получит всё по накладной.
Эти безналичные расчеты,
это безнадежное родство,
эта беспредельная суббота...
Глупости. Не более того.

* * *

Вильнув хвостом, ушел июль,
взамен оставив серый зонтик.
Москва попала в зону бурь,
сказал синоптик.
Не зря? конечно же, не зря.
Болит? немножко. Под ключицей.
Я подожду до октября –
авось, случится.
Надену белое пальто,
исправлю скуку на измену...
Цыплят по осени? а то!
Всенепременно.

* * *

У лжи
неяркие страницы,
плаксивый нрав
и нежный слог.
Он победил
в красивом блице.
Он победил,
уйди, щенок.
На пикнике
все карты биты,
и стать героем
может шут.
И он пришёл,
и всё. Финита.
И даже более –
капут.

Татьяна КУЗНЕЦОВА родилась в 1967 году в Москве. Окончила Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. Публиковалась в журнале «Дети Ра». Автор книг стихов «Чужое солнце» (2006) и «Ловушка для снов» (2007).

Павел ГУМЕНЮК

* * *

Екатерине Щегольковой

я никогда
не увижу тебя в розовой
блузке узкой форменной юбке
просто нет пропуска
в платье цветочницы с корзиной цветов
на французский манер avec иван из брюсселя
просто неделя вылетела
мимо под простыней
на диване
виктор никанорович открылось ни с того ни с сего
сакральное имя
возможно никанорович – фамилия

голое тело нашли на
задворках детского
бассейна дельфин
вот так вот
март и всё что после
нет языка страшней чем в новостях

* * *

утром сквозняки
на кухне
в твоей бисерной
туфельке уснул шмель
налей молочка ему в блюдце
дай варёной морковки из супа
когда
он засохнет в банке
скажешь мне
что нашла его в Ницце

* * *

Яков стал хлопушкой пожелал
взорвать асфальт новогодней хлопушкой
открыть глаза хлопушкой
стать пеплом прежде чем сгореть
умудрить глаза чёрным гумором
капнуть камфары в жабры
стать форева фри
на полном серьезе
мигом хлопушкой
вобрать и выплюнуть всё
и вот мы сидим в белом самолёте
всего дождались всё свершилось
всё есть ничего не осталось
живее всех живых
жирное молоко течет на грудь.

Павел ГУМЕНЮК родился в 1976 году. Закончил Северо-Западную Академию Государственной службы. Живет в Санкт-Петербурге. Публиковался в журналах «Воздух», в литературном Интернет-журнале «РЕЦ».

Илья ИОСЛОВИЧ

И. Е. Поляков – внутренние и нервные болезни Б. Молчановка, д. 18, кв. 3

Как известно (см. Гарина-Михайловского), русские железные дороги построили братья Яков, Лазарь и Самуил Поляковы, а не граф Петр Андреевич Кляйнмихель. Они сказочно разбогатели, стали камергерами двора. Мой прадед Езекиил Поляков, их двоюродный брат, занимался хлебной торговлей и жил в местечке Чаусы возле Могилева. Его отца звали Мордхе Поляк. Балерина Анна Павлова, физик Александр Поляков в Принстоне, писатели Виктор Ардов и Владимир Поляков, большевик Юрий Ларин, чья приемная дочь Анна вышла за Бухарина – все это дальние родственники Поляковых.

В справочнике говорится: «Чаусы. Впервые в письменных источниках он упоминается с середины XVI в. как деревня Чаусовичи, которая входила в Могилевскую экономию Великого княжества Литовского. В 1634 г. Чаусы по магдебургскому праву получили собственный герб: изображение святого Мартина с мечом на коне в голубом поле. В 1648 г. здесь было 176 домов. В Северную войну 1700—21 гг. город разграбили шведские войска, постепенно он отстроился, и в начале 1770-х гг. в нем уже насчитывалось 2530 жителей, более 420 домов. После 1-го раздела Речи Посполитой Чаусы вошли в состав Российской империи, в 1777 г. стали центром уезда Могилевской, затем Белорусской губерний. В 1778 г. был утвержден план застройки города, дан новый герб: на красном поле скрещенные сабля и меч, объединенные лавровым венком. В 1904 г. население составляло 6,1 тыс. человек, действовали 41 ремесленное предприятие, больница, типография, библиотека-читальня. Проводились 4 ярмарки в год».

На фотографическом портрете Езекиил Поляков с большой бородой и глядит сурово, видно, что хлебная торговля – это дело не для слабонервных. У него было три сына – Юлий, Израиль и Абрам и четыре дочери: Эсфирь, Цейта, Крейна и Саша. Впоследствии дети разъехались. Сыновья оказались в Москве, дочери вышли замуж, Эсфирь жила в Одессе, Цейта – в Баку, Крейна – в Москве, а Саша – в Петербурге. После революции Саша уехала с мужем Ноем Гордоном в Париж, а потом в США.

Езекиил Поляков стал купцом второй гильдии и получил право жить вне черты оседлости. Из Чаусов он перебрался в Воронеж, где купил каменный дом. Мой дедушка Израиль окончил Воронежскую гимназию с золотой медалью и поступил на медицинский факультет Харьковского университета. В то время эти обскуранты, враги прогресса и ретрограды, министры Толстой, Делянов, Кассо сделали так, что гимназии повсюду давали очень высокий уровень образования, два мертвых и два живых языка, историю, математику, физику, химию, словесность... Популярностью пользовалась оперетта «Гимназист Иванов Павел», где пелись куплеты:

Илья ИОСЛОВИЧ родился в 1937 году в Москве. В 1957–1958 был членом литобъединения МГУ на Ленинских горах. Первая публикация – в 1958: стихотворение «Александр Грин» в газете «Московский университет» и в литературном приложении к ней, коллективном сборнике «Радуга». В 1960 при самиздатовском журнале «Синтаксис» вышел машинописный сборник стихов Ильи Иословича, составленный и отпечатанный Натальей Горбаневской и Натальей Светловой (впоследствии – Солженицыной). В том же году стихотворение «Господь нас встретит у ворот» было приведено в статье «Бездельники карабкаются на Парнас» («Известия» за 2 сентября), после чего публикации надолго прекратились: следующая была лишь в 1992, в израильской газете «Наша страна». В 1997 в Москве вышел сборник «Избранное: стихи разных лет». С 1991 года живет в Израиле.

Кто не знает букву ять,
Букву ять, букву ять,
Где и как ее писать,
Где писать, да!

Должны мы знать все без сомнения,
Местоимения, местоимения...

Даже Брежневу несколько лет в гимназии пошли впрок. В дополнение к немецкому и французскому, дедушка потом самостоятельно выучил английский и свободно на нем читал. Английское произношение его было ужасное – он говорил как пишется.

Во втором классе за успешное учение и прилежание дедушка был награжден книгой «Русские Былины» – потом она досталась мне. Там гравюры были переложены листами папиросной бумаги.

Вечерами дедушка занимался при свете керосиновой лампы, а впрочем, в старших классах ухаживал за моей бабушкой, Ниной Майзель, дочерью лекаря на казенной службе, коллежского советника доктора Гаврилы Андреевича Майзеля.

После смерти дедушки я разбирал его письма, там было одно, которое меня поразило. Он писал своей матери из Харькова в 1905 году, что он вступил в медицинский отряд, и они были на баррикадах. Он в восторге писал – мы, баррикадисты. Потом их окружили казаки, после переговоров их отпустили по домам. Это совсем не вязалось с тем, каким я его помнил – человеком совершенно закрытым и сдержанным.

Мне кажется, в это время он уже порвал с религией и поверил в социалистические идеи. И думал, что евреи ассимилируются в России и вместе со всеми пойдут к светлому будущему и прогрессу. «Вехи», «Смена Вех», «Закат Европы» – все это я потом нашел на его книжных полках.

После манифеста 1905 года он перевелся в Московский университет, который и окончил, наверно, в 1907 году. На его прошении о переводе попечитель учебного округа написал резолюцию: «Мне безразлично, где учится какой иудей, лишь бы это было в пределах процентной нормы». В это время граф Витте высказывал либеральные идеи, что ограничения для евреев должны быть отменены, но для блага самих евреев это надо делать постепенно. В Московском университете дедушка вероятно посещал студенческие сходки и слушал речи студенческого лидера Крыленко. В 1918 году прачка рассказала маминой няньке Анюте, что Крыленко носит шелковое белье от вшей, как делали гвардейские офицеры, и дедушка сильно выразился в его адрес, это мне мама рассказала гораздо позже.

Выпускники факультета встречались, мне кажется, ежегодно, семьи коллег было принято лечить бесплатно. Во всяком случае, когда у меня в детстве болели уши, меня лечил кремлевский врач – отравитель в белом халате – Фельдман.

Некоторое время дедушка учился еще в Университете в Иене, а осенью 1908 года открыл в Москве практику в своей квартире на Большой Молчановке, 18, квартира 3. Дом позднее был описан Пастернаком в романе «Доктор Живаго». Внизу в подъезде была вешалка красного дерева с галошницей и огромное зеркало, его разбили только в середине 70-х. Там висела вывеска: «Д-р И.Е. Поляков, внутренние и нервные болезни». Больные называли его Илья Евсеевич. Тогда же он вступил в общество русских фрейдистов, перевел и издал несколько книг Фрейда и, мне кажется, вел с ним переписку, о чем потом помалкивал. Во всяком случае, психоанализ он практиковал под видом терапии, потихоньку, и потом. Я помню, как в поликлинике Наркомтяжпрома на площади Ногина больные сидели у него подолгу, и только слышно было их тихое бу-бу-бу, и вдруг крик больного: «Я Сталину напишу!» Так что многие книги Фрейда я имел возможность прочесть в юном возрасте. Фрейд вообще оказал несомненное воздействие на самые разные аспекты жизни в XX веке. И я думаю, что даже собаки Павлова могли бы сказать: «Иван Петрович, чем мучить животных, почитал бы лучше Фрейда». Как-то я услышал довольно неожиданно мнение акаде-

мика Андрея Николаевича Колмогорова по этому поводу. Произошло это так. В какой-то момент Колмогоров торжественно провозгласил, что машина в принципе вообще-то может мыслить. Было большое собрание в актовом зале МГУ, где находилось примерно две тысячи человек. Энгельс говорил о продукте деятельности белковых тел, а почему, собственно, белки, а не силикон? Это был интеллектуальный праздник и всеобщий энтузиазм. Присутствовал инженер Полетаев, который вел с Ильей Эренбургом дискуссии о физиках и лириках. Присутствовал известный специалист по вредительству в науке Э. Кольман, который успел посидеть в тюрьме и немного поумнеть и поостыть. В общем, большое научное событие. Потом Колмогоров прочел еще несколько подобных лекций в других местах, и я почти всегда смог его слушать. По-видимому, Колмогорову эта тема стала понемногу надоедать, и на лекции в Политехническом музее он внезапно переключился на фрейдизм. Теория его была такая: вообще-то это странная идея, что все определяется сексуальными переживаниями. Но, возможно, в конкретных условиях праздной буржуазной Вены в начале XX века это было оправдано и соответствовало реальной действительности.

Довольно скоро дедушка приобрел в Москве известность, и у него образовалась практика. Он мне рассказывал, что у него лечился брат Чайковского Модест, автор либретто многих опер, таких, как например, «Пиковая Дама» и «Иоланта». Потом я где-то прочел, что Модест был черносотенец, но, разумеется, хороший врач нужен всем. В то время у дедушки была густая каштановая шевелюра, со временем она исчезла. Всю жизнь он носил пенснэ. Был среднего роста и довольно худощавый. Бородка и усы у него то появлялись, то исчезали. Под конец жизни он носил небольшие усы, как у Чаплина. Они с бабушкой ездили за границу, остались фото на твердой картонке из Берлина и Баден-Бадена.

После революции в кладовке хранилось много вещей, которые уже больше не пригодились: крахмальные манжеты, набор для игры в крокет: деревянные молотки, шары и проволочные ворота. Там же хранились дамские шляпы с перьями, парадный сюртук с фалдами. Позднее я видел по ТВ, как в таких сюртуках братья Роберт и Эдвард Кеннеди шли за гробом убитого Джона Фицджеральда. Со временем для меня перешили дедушкины кремовые брюки из замечательной шерстяной фланели – в них прекрасно бы смотрелись герои Джерома К. Джерома. Кое-кто из знакомых тоже ходил в вещах из проклятого прошлого: Алеша Шторх, художник и жокей, племянник философа Шпета и двоюродный брат балерины Кати Максимовой, носил брюки Балтрушайтиса. Видимо, у известного поэта и дипломата были еще одни, когда он бежал в Латвию. Помню, что кто-то носил английское пальто Рябушинского. Буба Атакшиев носил курточку, перешитую из фрака его дедушки, Владимира Сергеевича Алексеева, главного режиссера оперной студии МХАТ.

Мой дедушка никогда не лечил родственников, это был твердый и разумный принцип. Как-то у моего сына Андрюши образовался нарыв на пальце, ребенок плакал, и я обратился к дедушке, который Андрюшу очень любил. Дедушка стал говорить о принципе, но я решительно сказал: «Дедушка, что за ерунда». Тогда он сдался и рекомендовал сделать спиртовый компресс, и через какое-то время осторожно осведомился, помогло ли лечение – разумеется, помогло.

На медицинские темы он со мной почти не говорил, однако как-то заметил по случаю, что всегда следует выяснить, не приехал ли пациент из провинции: оттуда можно привезти все, что угодно, что можно найти в учебнике в качестве экзотики.

Однажды он рассказал мне медицинский анекдот. Ветеринар приходит на прием к врачу в сопровождении своей жены. Врач спрашивает: «На что жалуетесь?» Ветеринар говорит: «Что значит, на что жалуетесь. Если ко мне приводят корову, я же не спрашиваю, на что жалуетесь». «Хорошо», – говорит врач, осмотрел больного и выписал рецепты, отдал их жене. Та спрашивает: «А если не поможет?» «Тогда забейте его», – говорит ей врач.

В советское время табличку на доме сняли, но практика продолжалась, видимо, не совсем легально. Дедушка работал в поликлинике Наркомтяжпрома, затем она отошла к Наркомату угольной промышленности. Дедушка организовал там отделение физиотерапии и им заведовал. Но также он вел домашний прием. В результате для семьи не было нерешаемых проблем: для

каждой проблемы был благодарный больной. Это касалось любых билетов, ремонтов, путевок, учебников и т. п. Когда я сдавал экзамены на аттестат зрелости в 10 классе, дедушка по своей инициативе достал мне темы для сочинения по литературе. Они оказались неверные, но тем не менее. В то время я терпеть не мог этого блата и всячески его избегал. Когда же выяснилось, что жизнь устроена так, что без блата не обойтись, дедушки уже не было.

Впрочем, дедушка был не всесилен. В 1951 году 3-й Московский медицинский институт перевели в Рязань, и моя тетя Оля – кандидат химических наук – осталась без работы. Целый год этого специфического времени Ольга Израилевна каждый день уходила на поиски работы без какого-то результата и особых надежд. В конце концов ее взял в Институт гельминтологии Академии медицинских наук академик Скрябин, известный ученый, которому уже было около 90 лет. На резоны своих кадровиков он сказал: «Я всегда думал, что эти глупости окончательно решены в 1917 году».

Я никогда не видел, чтобы дедушка приносил с работы какие-нибудь коробки или бутылки, не говоря о конвертах с деньгами. Это просто исключалось. И, кстати, я вообще не видел, чтобы кто-нибудь вокруг вел себя неэтично. Так не делают – это значило, что так не делают. Тем больше мне пришлось удивляться в последующей жизни, когда я видел, что люди себя ведут так, что никак не думал, что это возможно. И насчет конвертов не все придерживались дедушкиных принципов. Моя первая жена Аля Бряндинская была дочерью героя Советского Союза, летчика Александра Матвеевича Бряндинского. Она родилась в 1938 году, как раз перед тем, как он улетел в большой советский перелет с Владимиром Коккинаки на дальний восток на самолете «Москва». А у нее начался сепсис, и ее с матерью, Александрой Григорьевной, которой было 22 года, положили в Кремлевскую больницу к профессору Сперанскому. Там к Александре Григорьевне пришел взволнованный заместитель начальника Управления ВВС РККА Смушкевич – легендарный генерал Дуглас в Испании – и принес ей пачку денег толщиной сантиметров в 15. Смушкевич, видимо, имел большой опыт, и велел, чтобы каждый раз, когда Сперанский будет заходить в блок, класть ему в карман халата несколько бумажек. «Он и без того будет часто заходить, – говорил Смушкевич, – а деньги все-таки не помешают». И Александра Григорьевна вспоминала, что Сперанский заходил 10 раз в день. Через год Бряндинский разбился, а перед самой войной Смушкевича арестовали и в октябре 1941 расстреляли.

После войны в 1946 году дедушке дали дачный участок в Кратове. Надо было там срочно что-то построить. По рассказам, мой папа даже привез туда грузовик кирпича, но в целом из этого ничего не вышло, и участок отобрали.

Иногда дедушка играл со мною в шахматы, причем я всегда проигрывал. Во время матча Ботвинник – Смыслов он разбирал все партии и очень возмущался, когда Ботвинник проиграл ладью: что за игра для чемпиона! Много позже я познакомился с Ботвинником, его жена вместе с тетей Олей одно время лежали в одной лечебнице. У тети Оли в это время была сильная депрессия, и я ей искал приличную больницу. Это было совсем не просто, и я обратился к своему знакомому психиатру Аркадию Егидесу. Аркадий в это время сменил скучную психиатрию на более увлекательную и прибыльную сексологию. Он мне сказал, что найти место в лечебнице невозможно. «Ко мне стоит очередь 2000 женщин, бери любую, а место в лечебнице достать не могу». «В чем же дело?» – спросил его я. «Потому что опоздали строить лечебницы, надо строить убежища для здоровых». Но это уже было много позже.

Какая-то в дедушке оставалась избыточная энергия, и он издавал популярные брошюры, например о витаминах. Так я узнал, что в японском флоте свирепствовала болезнь бери-бери из-за того, что они ели один рис. В 1949 году дедушку пригласили прочесть лекцию в Политехническом музее: нервы и нервность. Т. е. есть физические заболевания нервной системы, а есть психические заболевания, влияющие на нервную систему. Дедушка подготовил диапозитивы – лягушка висит без головы и дергается от электрического тока: опыты Вольта. Однако публика шла не за лягушкой. Огромный зал был набит под завязку. Тут раньше выступал Маяковский, а после – Евтушенко и Вознесенский, снимался фильм «Застава Ильича». Мне было 12 лет, и меня привели

послушать. Все время лекции сверху вниз из бельэтажа в партер шел бумажный дождь записок. Как выяснилось, типичный вопрос с некоторыми вариациями был: «Полезна ли половая жизнь, и если да, то как это устроить?» Дедушка сохранял полное спокойствие и объяснил публике, что половая жизнь без излишеств не вредна, впрочем, так же как и воздержание, если не растравлять себя картинками и лишними фантазиями. «Что же до того, как это устроить, то вы наверно понимаете, что я вам не могу выписать рецепт в аптеку», – заключил дедушка.

Саша Гордон написала дедушке из Штатов письмо в 1948 году и хотела возобновить семейную связь с братом, но дедушка не ответил, а окольными путями ей дал знать, что это совершенно не ко времени.

Меня отдали в школу 103, хотя школа 110, бывшая гимназия Репман, была гораздо лучше и располагалась не так уж далеко, в Мерзляковском переулке. Директором 110-й был знаменитый Иван Кузьмич, а директором 103-й был тоже вполне почтенный педагог Иван Фомич. К сожалению, он вскоре умер и в школу прислали новых директора и завуча – Корниенко и Зубенко – они выглядели как два бандита огромного роста. Впоследствии их сняли со скандалом, говорили, что в эвакуации они ограбили доверенных им детей.

Моей учительницей до 4-го класса была прелестная женщина 17-ти лет от роду – Людмила Владимировна Артемьева. Она окончила педагогический техникум и была, как это редко бывает, учитель от бога. Мы ее слушались и боготворили, смотрели ей в рот. Впрочем, с ней тоже были проблемы. Однажды она дала нам пример склонения существительного среднего рода: детё. Дома переполошились: как так детё? Не детё, а дитя, дитяти... Ее пригласили к нам домой на чашку чая, и там постарались тактично объяснить. На снимке нашего третьего класса «В» Людмила Владимировна сидит во втором ряду, с ней рядом Мика Каждан. Я стою в третьем ряду. Мика Каждан был энергичный, амбициозный, способный, круглый отличник, стремился верховодить. Он жил с дедушкой и бабушкой, дедушка его был фотограф, в том числе снимал для школы. У меня с Микой были трения, я не любил, чтобы мной руководили ни с того ни с сего. Однажды мы повздорили публично, решено было устроить «стычку до первой крови», род дуэли. Это произошло во дворе около школы, собралась большая толпа. Я активно махал кулаками, но не совсем удачно. В результате Мика довольно быстро разбил мне губу и удалился в толпе поклонников. Меня никто не провожал. Вскоре Микин дедушка в очереди поссорился, как говорили, с героем Советского Союза, его забрали в милицию и посадили в тюрьму. Микина бабушка с ее ничтожной пенсией растерялась, Мика с голоду стал подворовывать, быстро попался и тоже оказался в тюрьме. Я встретил его спустя лет пять. Он стоял в окружении какой-то шпаны, все с тем же надменным видом. Мы немного поговорили вполне дружелюбно, и больше я его никогда не видел.

В четвертом классе меня избрали председателем совета отряда – пионерским начальством. Общественное доверие развратило меня мгновенно: я самодержавно раздавал указания и приказы. На следующий год меня уже никуда не избрали, к моему изумлению. В 1948 году в класс привели нового ученика – сына королевского египетского посла. Его звали Юаннес Саад, и он был вполне приятный малый. В доме 20 жили уже готовые уголовники, однажды они встретили нашу компанию и разбили Юаннесу нос. Впрочем, он тоже одному из них неплохо засветил. Было большое разбирательство, как мы, пионеры, допустили. Меня они били каждую перемену, пока однажды я не вынул перочинный ножик и устроил сцену из будущих боевиков. Хотя я никого не порезал и даже не особенно напугал, но разразился скандал и меня перевели в школу 59 в Староконюшенном переулке. Ей только что, в 1952 году, присвоили имя Гоголя, в связи со столетием со дня его смерти. Тогда же на Гоголевском бульваре установили его новый, более оптимистический, памятник работы Томского. Старый же, работы Н.А. Андреева, изображавший невидимые миру слезы, перенесли во двор дома в Мерзляковском переулке.

В этой школе директором был приятель отца Алексей Иванович Шемякин по прозвищу «Колобок». Это был человек очень неглупый и незлой, с большим жизненным опытом. Он преподавал математику и часто советовался с отцом по разным вопросам преподавания. Во время войны он был майором во фронтовом СМЕРШе в Румынии, ему даже поручили ответственное дело: отвез-

ти в Москву жену маршала Антонеску. Школа была, конечно, привилегированная, хотя академик Дима Арнольд пишет, что она была обычная, каких миллионы, но это на его совести. В моем классе на тридцать учеников было шестнадцать медалистов. Двоечники потом тоже, что называется, вышли в люди: Боря Кауфман стал ведущим фотожурналистом ТАСС и зав. отделом «Московских Новостей» при Егоре Яковлеве, лауреатом престижных международных премий, заместителем главного редактора «Независимой газеты», Юра Шелагин – профессором строительного института, Олег Пелевин – профессором Института цветных металлов и золота, лауреатом Государственной премии. Это была бывшая гимназия Медведниковых, открытая в 1910 году. Там учились внуки Сталина – дети Василия, дети маршалов и генсеков заграничных компартий, завотделами ЦК, артистов театра Вахтангова. Я помню очень приятного Кузу, потомка молдавского господаря. Его отец был парторгом театра Вахтангова, и его убило бомбой прямо в театре в августе 1941 года. В моем классе учился Толя Жаботинский, см. реакция Белоусова-Жаботинского, великое открытие 20-го века. В соседнем классе учился Сережа Аверинцев. Будущий диссидент Буковский учился на четыре класса младше, артист Шалевич – на два класса старше. Гена Суханов, сын всесильного помощника Маленкова, тоже учился, и очень плохо, в нашем классе. Он на уроках делал, что хотел, сидел верхом на первой парте спиной к учителю, которому оставалось только его игнорировать. В сущности, это был совершенно заброшенный ребенок, у него было что-то с ногой, видимо костный туберкулез, вместо зубов торчали какие-то гнилые корешки. Гена умер вскоре после окончания школы, а его отца посадили в связи с громким скандалом. Как выяснилось, при аресте Берии он украл из его сейфа облигации займа, а они загадочным образом принадлежали Кагановичу, и их номера были переписаны. В начале 1953 года Саша Дюкалов устроил директору скандал на комсомольским собрании: «Почему мы не изучаем гениальную работу Сталина об основном законе социализма?» Вскоре после прихода в школу я поссорился с Женей Грозовым, чей отец был большая шишка в Военно-промышленном комитете, кинул в него тяжелый портфель, но промахнулся и разбил окно. Без последствий. В качестве эксперимента мы изучали латынь, и я до сих пор помню некоторые пословицы. Например, дедушка часто говорил: «Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare», что значило: «Каждый человек ошибается, но только неразумный (собственно –идиот) настаивает на своих ошибках».

Сережа Аверинцев в школе был совершенно одинок, он страдал болезнью позвоночника, носил корсет и был освобожден от физкультуры. Ученики смотрели на него, как на чучело, но и у учителей он не вызывал никакого интереса. Позднее он мне как-то сказал, что школьные годы были для него кошмаром. Несмотря на это, насколько помню, у него всегда было хорошее настроение, и он никогда не жаловался на жизнь. У меня дома в книжных шкафах стояло много сборников поэзии символистов, акмеистов и имажинистов, я все это читал. Мы как-то разговорились и подружились. Мне кажется, что кроме меня у него был только единственный знакомый, какой-то пожилой человек по фамилии Леонов, который писал новеллы из эпохи Возрождения. Дедушкины друзья Вяхиревы с этим Леоновым были знакомы и считали его комическим персонажем. Сережа мне часто читал длинную балладу Леонова о мадам Дюбарри: «И ощутивши в первый раз бесхитростную дрожь, король вдруг понял в первый раз, что раньше пил он в блеске глаз притворство, лесть и ложь...» Сережа жил в одном из арбатских переулков, уже не помню, в каком именно. Он жил вдвоем с матерью, отца его я никогда не видел, м.б. они были в разводе. Никаких икон у них в комнате не висело, что конечно, было разумно. Греческий он выучил сам, и все время мне говорил о божественном Пиндаре, а латинскому языку нас учили в школе. Я часто бывал у него дома, а он ходил к нам на Молчановку. Его мама мне рассказывала, как во время войны они поехали за город, и у них был с собой блестящий термос. Какие-то дети проявили бдительность и сочли этот термос шпионским прибором, их задержали и торжественно отвели в милицию.

Из их книг меня заинтересовали «Фацетии» Поджио Браччолини, редкая книга издательства «Академия». Это был сборник довольно грубых анекдотов, которыми себя развлекали апостолические писцы во время Констанцского Собора. Собор длился четыре года, с 1414 по 1418, в начале собора был осужден и сожжен Ян Гус, папская канцелярия изнывала от скуки и развлекала себя

историями совершенно казарменного толка. Поджио Браччолини все это записал, и получился памятник Возрождения. Комментарии составил Дживелегов. Про некоего деятеля возрождения, Хризолора, там приводилась совершенно гнусная история, включая растление собственной дочери и тому подобное. Дживелегов пишет, что Хризолор был известным просветителем, имел много заслуг, и эта история, скорее всего, является вымыслом, хотя Хризолор был такой человек, от которого можно было ожидать всего. Я нашел у Аверинцева сборник неизданного Брюсова, там было стихотворение про самоубийство: «Прекрасна жизнь, но ты, измученный, быть может собственным бессильем, не говори, к стыду приученный, что тщетно мы взываем к крыльям...» В дальнейшем я его иногда исполнял при различных оказиях и всегда с большим успехом у публики. Сам Сережа предпочитал Вячеслава Иванова. У меня хранится с того времени автограф Сережиного стихотворения о Казанове:

Конца не видно дороге тряской,
селенья, речки, лугов атлас,
в зеленом, тусклом стекле коляски
блеск пары черных и жадных глаз...

Что будет дальше, где Казанова,
когда тумана встают валы,
непостижимый, нежданно новый
возникнет город из сизой мглы.

Всегда овеян певучей сказкой,
вельможа, шулер, игрок и вор,
лети коляска, несись коляска,
в безбрежный, вечный, земной простор...

Я думаю, что раз Сережа мне читал свои стихи, значит и я ему читал свои, но я этого не помню.

В конце школьного периода я случайно познакомился с Николаем Федоровичем Федоровым, доцентом классического отделения филфака МГУ. Я рассказал ему об Аверинцеве, и Федоров сказал, что такие люди очень нужны отделению, куда, в основном, поступают девицы с целью поскорее перейти на романо-германское отделение. Я их познакомил, и Сережа произвел на Федорова самое лучшее впечатление. На вступительном экзамене Сережа ухитрился получить тройку по русской литературе, но с помощью Федорова его приняли. На первом курсе он мне говорил, что на факультете мало что интересного, но есть такая девочка, которая пишет хорошие стихи, ее фамилия Горбаневская. Очень популярен ее цикл «Цветные сонеты». После этого мы с ним встречались только случайно, где-нибудь в центре Москвы, но он всегда был мне рад. Он получил премию Ленинского комсомола за свою книгу о Плутархе. Мне это казалось несколько загадочным, и я так и не знаю, как это получилось. Юра Манин мне говорил, что он был членом комиссии по присуждению этой премии, и что список поступил сверху и не обсуждался. На лекции Сережи я не ходил, хотя слышал, что там люди сидят друг у друга на головах и каждое слово записывают на магнитофон. При встречах он мне рассказывал о разных событиях в Институте мировой литературы или в кругах патриархии. Под конец мы жили в одном и том же доме на проспекте Вернадского, и он иногда под вечер к нам заходил. Как-то он рассказал, что его должны были включить в редколлегию журнала «Иностранная литература», но Чингиз Айтматов этому бешено сопротивляется.

Последний раз я его видел в 1991 году. Он сказал, что временно живет в Шотландии, но приехал, чтобы участвовать в этом хэппенинге, т. е. в Съезде народных депутатов, где ему так и не дали слова, и свою замечательную речь он напечатал в газете. Он меня спросил, когда я приехал?

– «Что значит приехал?» – «Но ведь ты же уехал?» – «Нет, только собираюсь». Больше мы не виделись. Он переехал в Вену и как-то дал интервью, которое попалось мне на глаза. Говоря о левых студентах, которые маршируют по улицам с песней: «Ein, zwei, drei, Palestinen Frei! « – он сказал, что Палестинен может быть и фрай, но уж во всяком случае это не ейн, цвай, драй.

В первую же неделю в 59-й школе я получил десять пятерок по разным предметам, и на меня стали приходить смотреть из других классов. В это время мой прорыв остановила учительница биологии Евгения Жудро по прозвищу Жудропа. Она нас учила не по учебнику, а по последним объявлениям Лысенко, я не мог получить больше тройки. Логики тут не было никакой, система ее была катехизис. Как образуются виды? Путем естественного отбора и дивергенции. Когда в десятом классе стало ясно, что у меня будет медаль, ее заставили, скрепя сердце, принять у меня пересдачу и поставить пятерку. Кстати сказать, Лысенко заморочил голову не только бедной Жудропе, но и Хрущеву, и его выступления и открытия окончились только в 1965 году, как мне кажется. В стенограмме сессии ВАСХНИЛ 1948-го года я нашел прекрасный образец мужества. Один из генетиков в последний день, когда уже приговор морганистам, меньшевикам в науке, был вынесен, и шло массовое покаяние, сказал примерно так: «Я не генетик, я цитолог, но и у меня есть свое мнение. Оно таково, что я думаю, что выступавшей передо мною женщине не надо бы так каяться и приспосабливаться, особенно учитывая, что по теории Лысенко, эти благоприобретенные свойства могут передаться потомству». Уже когда я учился в университете, на биофаке произошел скандал, когда на студенческом костре две дочери математика А. А. Ляпунова спели песню:

Ах, ты песня, песня вейсманистов,
ты лети к Трофиму в кабинет,
и новатору, гиганту мысли,
наш формальный передай привет.

Уже учась в аспирантуре, где-то в 1963 году, мы обнаружили, что наш преподаватель диалектического материализма, зав. кафедрой института им. Гнесиных, все диалектические примеры заготовил из статей Лысенко. Вообще-то он был нормальный малый, и мы относились к нему неплохо. Он не мог понять, чего это мы вдруг его так яростно атакуем и выходим из себя.

Физику нам преподавал Сергей Макарович, по прозвищу «Макар». Как-то Витя Генкин не понял его объяснения на уроке и спросил: «А это каким Макаром?» Все умерли со смеху. Довольно трудно у него было что-то понять. Однажды я попросил Костю Баранского объяснить мне, что такое потенциал. Костя стал говорить про воду, которая падает с высоты, превращая потенциальную энергию в кинетическую, но я его уже злобно не слушал: при чем тут вода, если я спрашиваю про электричество? Так или иначе, по физике у меня была четверка, и я получил не золотую медаль, а серебряную, хотя на выпускном экзамене сдал физику на пять.

Вообще у нас были очень неплохие учителя. Литературу преподавали Лия Александровна Ханина и Мария Сергеевна Борисевич (Машка). Она хоть и не любила Тынянова, но в то же время не стеснялась нам сказать, что у Федора Парфенова два достоинства: нахальство и авторучка. Историю вела Вера Васильевна Сказкина. В свое время, в 29-31 годах, моя мама училась на истфаке МГУ и муж Веры Васильевны, профессор Сергей Данилович Сказкин, будущий академик, был маминым руководителем. Идеологическая поножовщина тем временем шла полным ходом. Тарле судили по делу промпартии в 1930 году. Погром все разгорался. В начале 1931 мама решила, что с нее хватит, перестала изучать французские хозяйственные документы времен Людовика XVI и ушла с истфака. Сергей Данилович не мог последовать ее примеру и с ужасом наблюдал, как новейшая история добирается до специалистов по медиевистике. Мама иногда бывала у Сказкиных в гостях.

В 1937 году Сказкин залез под кровать и отказался оттуда выходить. Вера Васильевна ставила ему туда еду. Нельзя сказать, что его поведение было иррациональным. Трудно также судить,

было это аггравированным расстройством или симуляцией. В 1939 году Сказкин вылез из-под кровати и вернулся на истфак. В 1947 году его избрали членом-корреспондентом Академии Наук. Впрочем, в нашем классе историю вела Бескина. Она нас учила в духе времени, что Шамиль был турецкий и английский шпион, чему я, после чтения «Хаджи Мурата», очень удивлялся.

Я занимался фехтованием в районной спортсекции. Нас тренировал, и очень неплохо, бывший поручик царской армии. Какие-то навыки остались у меня до сих пор. Из нашей школы в эту секцию ходил Паша Финн, впоследствии известный киносценарист. Параллельно я ходил в кружок для школьников на филологическом факультете МГУ. Кружком руководил Игорь Мельчук, в будущем знаменитый структурный лингвист. Конечно чувствовалось, что это блестящий человек. Он увлекательно рассказывал нам про Бальзака, которого я все равно терпеть не мог. Особый восторг у него вызывал Роже Мартэн дю Гар и его роман «Семья Тибо». Что он там такого нашел, в этом огромном и довольно занудном кирпиче, я до сих пор не понимаю. Я также ходил на районные математические олимпиады, и получал там поощрительные дипломы.

Однажды Шемякину пришлось применить навыки из прошлой жизни. Валя Рабей написал в уборной на стене какую-то гадость. Было устроено дознание. Всех выстроили и по одному вызывали в кабинет директора. Наконец, факты были установлены, и Алексей Иванович произнес прочувствованную речь. Я помню выражение: «Рабей, эта грязная личность...» Впрочем, этим все ограничилось. Конец карьере Шемякина положил будущий диссидент Владимир Буковский – он начал издавать рукописный журнал. Видимо, это получило огласку, и Алексей Иванович доложил в райком. Его тут же сняли с должности директора. Буковского исключили из школы, и он перешел в школу рабочей молодежи.

В 1949 году дедушка достал мне путевку в Геленджик. Естественно, я ехал под фамилией Поляков. На группу в 15 детей был сопровождающий учитель, в купе я ехал с взрослыми посторонними попутчиками. Глядя на мою нордическую внешность – блондин с голубыми глазами – они немедленно спросили, в духе повсеместно начинавшегося психоза: «Мальчик, а какая твоя национальность?» Я честно сказал: «Еврей». – «А ты можешь сказать КУКУРУЗА?» Это же был верный тест: еврей скажет КУКУРУЖА. Я сказал: «Кукуруза». Вот те номер! Надо же! Мы проезжали разрушенные Харьков и Сталинград, они лежали в руинах. Пересекли страну с северо-запада на юго-восток. В санатории в Геленджике обкомовские дети уже наслушались от родителей и говорили в спальне, что пора устроить еврейский погром. Как раз то, что Сталин в Москве советовал Хрущеву. Обо мне ответственные дети вынесли суждение, что Поляков хоть и не еврей, а все равно сволочь.

Я так никогда и не узнал, кто придумал лозунг о великих стройках коммунизма. Каналы, гидростанции, лесополосы Докучаева... Все это было нарисовано на цветном плакате, а плакат в 1949 году висел на каждой стене. Еще один последний рывок, и мы уже все в коммунизме. Вот это была пропаганда! Наверно, это была последняя плановая идея Вознесенского, перед тем, как его расстреляли. Музей изящных искусств, построенный отцом Цветаевой, был закрыт, и там функционировала выставка подарков товарищу Сталину к его 70-летию. В микроскоп можно было видеть, как на рисовом зерне выгравирована страница из «Краткого курса истории ВКП(б)».

В 1953 году дедушке исполнилось 70 лет, и он получил звание народного врача РСФСР и орден Ленина, грамоту подписал Шверник. Дедушкин юбилей был в мае, значит оформление происходило, наверно, до 5 марта, когда умер Сталин, и все узнали, что такое дыхание Чейн-Стокса. Советская действительность была неоднозначная.

В январе 1953 года, когда в газете «Правда» вышла статья об убийцах в белых халатах, я к нему пришел и спросил: «Ты думаешь, врач может специально травить пациента?» Дедушка подумал, видимо тщательно подбирая слова, и сказал: «Вообще-то мне себе это трудно представить». Вокруг крутилась антисемитская карусель, самое время было припомнить молитвы, которым его учили в Чаусах. Отравитель Вовси жил поблизости в Серебряном переулке, и мой одноклассник Голубков, сын управдома, рассказывал, что его отец был понятым при обыске. По его словам, оказалось, что все книги набиты деньгами. Лет двадцать спустя моя знакомая работала у академика

Василенко в клинике 1-го медицинского института. Он говорил сотрудникам, что на очной ставке сказал Вовси, который уже во всем сознался: «Вы как хотите, а я хохол, я еще потерплю». Впрочем, по другим сведениям, сознались все врачи, кроме тех, кого убили на допросах, как главного врача Боткинской больницы Шмелиовича.

Дедушка работал еще на полставки в Институте Склифосовского, и когда Сталин умер, и с похорон стали привозить в «Склиф» задавленных, он позвонил домой и велел, чтобы Илюшу на улицу не выпускали. Но я уже ушел со своими друзьями Толей Жаботинским и Витей Генкиным на эти похороны, и на Кировской нас чуть не раздавило в толпе. Я сложил руки перед грудью и чувствовал, как локти вдавливают мне в ребра, но все обошлось. Людская воронка, по счастью, вытолкнула нас наружу. Толя и Витя сказали, что хотят сделать ещу попытку, но я пошел домой. Впрочем, они тоже остались целы.

А уже в апреле я по дороге в школу прочел в газете на стене, что авантюрист Михаил Рюмин арестован, врачи выпущены, и у Лидии Тимашук отобрали орден. В 1956 году, после доклада Хрущева, дедушка высказался о Сталине на семейном торжестве так: «Я знал, что он сволочь, но я не знал, что он ТАКАЯ сволочь!»

Каждое лето меня отправляли в пионерский, а потом в молодежный лагерь, так как мама считала, что важнее всего, чтобы я дышал свежим воздухом. Я никак не мог понять, почему нельзя меня оставить в покое в Москве. В 1953 году в таком лагере меня избрали в совет лагеря, я был редактором стенной газеты. На заседании совета я узнал, что они почему-то затевают какую-то гадость против одного моего знакомого. Не долго думая, я его предупредил, чтобы он держался настороже. Это выплыло наружу, видимо мой знакомый проболтался. Совет лагеря собрался и учинил надо мной военно-полевой суд по обвинению в предательстве и измене. Уж не знаю, что они там мне готовили, я не стал дожидаться и ушел в спальню своего отряда. Там я забаррикадировал дверь одной из кроватей. Мгновенно коридор наполнился добровольцами, которые ломились в спальню. Под их ударами дверь стала медленно открываться. Я открыл свой перочинный ножик и молча встал напротив двери. Это было похоже на сцену убийства Грибоедова из книги Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Когда первые ряды нападавших увидали меня с ножиком, их охватил ужас, и они хлынули назад. Я вышел в коридор, он был уже совершенно пуст. Я побежал на станцию, чтобы сесть на электричку в Москву. Когда я оглянулся, то увидел, что на удалении весь лагерь бежит и гонится за мной длинной разноцветной лентой. Физкультурник с какими-то спортсменами побежал наперерез, они внезапно выскочили из оврага, выбили у меня ножик и повели меня в лагерь. К этому времени директор лагеря наверно сообразил, что скандал ему совсем ни к чему. Во всяком случае, была отдана команда оставить меня в покое, а через два дня лагерь окончился.

Как-то в одном из этих летних лагерей я засмотрелся на двух девочек: одна была брюнетка, и ее звали Марина Брауде, а вторая блондинка, по имени Наташа Вельш. Лагерь окончился, но они не выходили у меня из головы, и я решил что-то предпринять, причем по обоим направлениям. Сначала я позвонил Марине и договорился о встрече. Где-то она жила около Елоховской церкви в районе станции метро Бауманская. Я очень волновался и взял с собой для моральной поддержки старого друга Витю Магидсона. Витя жил тоже на Бауманской в подвале с отцом, матерью и двумя братьями. Все братья были очень здоровые ребята. Его мать, с внешностью библейской красавицы, работала в министерстве угольной промышленности, а отец был инвалид гражданской войны, со страшным сабельным шрамом поперек лба. К моему удивлению Марина пришла не одна, а в сопровождении своего, видимо, постоянного парня, которого Витя занял вежливым разговором. Вопрос был ясен, и я переориентировался на Наташу. Она жила на улице Герцена, неподалеку от дома литераторов. Там поблизости жил мой приятель по школе 103, Володя Гурвич. Я стал его усиленно посещать, а между делом встречал Наташу и вел с ней дружеские разговоры. Володя меня познакомил с нашим сверстником Игорем, который учился в каком-то техникуме. Игорь, как выяснилось, сообразил причину моей активности и она, видимо, противоречила его собственным планам. Однажды вечером он меня встретил, и после дружеских приветствий неза-

метно завел во двор, где поджидал какой-то его знакомый. Вдвоем они вдруг на меня набросились и несколько побили, не так, чтобы сильно. Было не так больно, как обидно. Я был поражен таким внезапным предательством и, поразмыслив, решил предпринять ответные шаги. Палка бывает о двух концах, так что я занялся планированием ответной операции и созвал, как тогда говорили, «кодлу». Я позвал Витю Магидсона и Севу Золотова из летнего лагеря Минугля, и Колю и Леню из еще одного лагеря, и м. б. кого-то еще, уже не помню. В общем у нас был запас прочности, с учетом действий на чужой территории. Примерно зная время возвращения Игоря из его техникума, мы расположились на его пути в каком-то парадном. Шел дождь, мы пели туристские песни. Шарик крутится, вертится, словно шар голубой. Я выглянул из подъезда и увидел, что Игорь как раз проходит мимо. Мы с Леней выскочили и его догнали. Я быстро влепил ему по морде, а Леня добавил сильной ладонью по голове, спросив: «Ты зачем Илью заманил?» Игорь имел в руке чемоданчик, но рассудил за благо не отбиваться, а бежать. Пока остальной народ подтягивался к месту событий, он вдруг сделал падающее движение вбок и кинулся наутек, с криком: «Погоди, Илюша!» Наверно он сделал из этого свои выводы, так как я больше его не встречал. Мне говорили, что вроде бы Леню через пару лет зарезали на Красной площади в драке после выпускного вечера в школе. Наташу Вельш я тоже больше не видел.

Я окончил школу в 1955 году. Мы снялись на фоне здания школы перед началом экзаменов – Новиков, Куперман, Голосов, Кауфман, я, Дмитриев. Леня Новиков был в школе моим большим приятелем, он был записан в паспорте русским, что ему, конечно, очень помогло в дальнейшей жизни. При довольно скромных внешних данных, он обладал звучным командирским басом – бесценным даром для армейских сборов и общественных организаций. В школе он был секретарем комсомольского бюро, и я помню как на одном из собраний он клеймил стиляг: «Они потому называют улицу Горького Бродвеем, что само имя Горького им ненавистно». Он поступил на мехмат МГУ и там тоже занимал общественные должности. Когда у меня там начались неприятности, я по старой дружбе рассчитывал на его поддержку, как оказалось, напрасно. Он с большой принципиальностью поддержал эту атаку, которая могла мне дорого обойтись. Фима Куперман, крупный, немногословный, обстоятельный, впоследствии уехал в Канаду.

Слава Голосов (которого на самом деле звали Игорь) был очень славный и симпатичный человек. Его мать была еврейкой, а отец – корейцем. Отца расстреляли, мать посадили. В лагере она сидела вместе с женой известного архитектора-конструктивиста Пантелеймона Голосова, автора знаменитого здания комбината газеты «Правда» в Москве. Сейчас это классика конструктивизма. Выйдя из лагеря, жена Голосова усыновила детей лагерной подруги. Впоследствии Слава женился, к общей зависти, на фантастической красотке Алене Вассерберг, дочери маминых школьных друзей. За ней, в свое время, настойчиво, но безуспешно ухаживал сын Маленкова Андрей. Слава умер незадолго до нашего переезда. Боря Кауфман был сыном актера и директора театра Матвея Кауфмана. Матвея посадили в лагерь и выпустили только в 54 году. Боря всегда поражал меня своим оптимизмом и хорошим настроением. После разговоров с ним я обычно задумывался: может, в самом деле все не так плохо? Дмитриев был из семьи архитекторов и часто оставался один в пятикомнатной квартире. Это было причиной его популярности в классе. О том, что там происходило, ходили неопределенные слухи. Увы, меня туда не приглашали.

Дедушкин брат, дядя Абрам, стал гражданским инженером. Его очень красивая жена согласилась за него выйти после долгих уговоров как раз в сентябре 1917 года, причем он ей обещал: «Летом у меня рабочий сезон, но я тебе клянусь, каждую осень в Ниццу!» Это обещание было потом предметом постоянных семейных шуток. Дядя Юлий не получил образования, а остался продолжать семейное дело. В 1920 году хлебная торговля, которой он занимался всю жизнь, стала преступлением, его арестовали и должны были расстрелять. В это время к дедушке Израилю обратился видный чекист, у которого от нервной работы отнялись ноги. Мне кажется, что это похоже на известный случай Анны О. из практики Фрейда. Во всяком случае, дедушка вылечил этого чекиста и получил жизнь дяди Юлия в качестве гонорара. Интересно, что в дальнейшем дядя Юлий был на дедушку обижен, что тот ему мало помог, и они были в ссоре.

В квартире на Молчановке было шесть комнат: гостиная, спальня, столовая, детская, комната для гостей и комната для прислуги и еще кухня, ванная и две кладовки, она располагалась на втором этаже. С балкона был виден Серебряный переулок и родильный дом Грауэрмана, где родилась мама в 1911 году, тетя Оля в 1915 году, я в 1937 году и моя сестра Нина в 1949 году. Теперь Лужков его разрушил. Серебряный переулок исчез вместе с Собачьей Площадкой при Хрущеве во время строительства нового Арбата. Как-то в 1917 году мама и Оля играли в столовой, мама прилегла на диван отдохнуть и заснула. Оля посмотрела на нее с обожанием и от полноты чувств треснула ее мраморным яичком по голове, воскликнув: «Тасика милити!», что означало: «Наташа милая». Позднее Оля сочинила популярное в семье стихотворение: «Штаны чернючие, штаны ненужные, мне нужно белые, как солнце смелые!»

В квартире стояло немецкое пианино, на нем учили играть маму, а потом Олю, но они потом никогда не играли. Когда мама вышла замуж за папу, и он поселился на Молчановке, пианино очень пригодилось. Папа был очень музыкальный, с абсолютным слухом, он играл целые оперы, а дедушка с удовольствием исполнял оперные партии, оба были очень довольны этим занятием. Уже когда я учился в 10-м классе, мой друг Витя Генкин решил начать играть на фортепьяно, и почти каждый день ходил к нам на Молчановку и играл Лунную сонату по нотам с большим упорством. Над нами на третьем этаже в квартире 5 жила семья художника Валентина Серова: Оля, Митя, Юра. Юра был художник, а Митя – музыковед, и какое то время преподавал в Китае. Потом Митя женился на десятиклассницe Сусанне. Она поступила в театральный и привела своего сокурсника Олега Табакова, который у них долго жил. Когда в 70-х годах из дома выселили всех прежних жильцов под предлогом капитального ремонта, Серовы оказали решительное сопротивление, не поддались давлению, и их оставили в покое.

Я не знаю, кто теперь живет в нашей квартире, по слухам вроде бы гроссмейстер Анатолий Карпов, но шахматисты мне потом говорили, что он живет в другом месте.

В квартире 4 напротив нас после революции жили родственники известного большевика Беленького. По-видимому, это был Абрам Беленький, старый большевик с 1902 года и чекист, участник школы в Лонжюмо, расстрелян в 1941 году. Сидел в президиуме 12-го съезда ВКП(б). Впрочем, известных большевиков Беленьких было дюжины полторы, и когда их стали хватать, то НКВД не всегда могло разобраться, о ком конкретно идет речь, только во время реабилитации стало ясно, что порой в доносе говорилось об одном, а обвинение предъявлялось другому Беленькому. Конечно это была халтура, но м. б. в НКВД считали, что это не такая большая разница. В Сталинских списках все они помечены первой категорией. Эта неразбериха описана в книге Жуковского «Лубянская империя НКВД». В квартире жила сестра Беленького – врач Раиса Эпштейн и его маленький сын Сережа, которому позднее дали фамилию Смоляк. Он, помнится, настойчиво ухаживал за дочерью дворника, жившей на первом этаже. Это была довольно симпатичная девушка, как мне кажется, Сережа не имел у нее успеха. У него были большие математические способности, он получил в 1953 году первую премию на Московской математической олимпиаде для десятых классов, из таких победителей обычно получались первоклассные математики. Когда он шел на объявление результатов олимпиады, то заранее взял с собой веревочку, т.к. был уверен, что получит 1-й приз, а это довольно много книг. Он поступил на мехмат МГУ, но в 1957 году во время беспорядков на мехмате его исключили, он попал в армию и вернулся на мехмат только через три года после разных несчастий. Потом он занимался экономикой, стал доктором экономических наук и работал в ЦЭМИ.

Под нами в квартире 2 жила Муся Фербер со своим мужем Женей Шустеровичем. Муся преподавала математику в школе, а Женя был химиком. Муся часто у нас бывала, консультировалась с папой насчет преподавания или просила маму погулять со своим ребенком. Потом Шустеровичи уехали в Штаты. Я с удивлением прочитал в газетах, что в 90-х этот их ребенок занялся торговлей русскими ядерными отходами, сильно разбогател и собирался жениться на Ксении Собчак.

Где-то в 1910 году дедушка вместе со своим воронежским другом Александром Вяхиревым и братом жены, Микой Майзелем – все они были врачи – организовал санаторий для нервноболь-

ных около станции Подсолнечная. Они арендовали имение у известного врача, доктора Щуровского, который лечил Чехова и Толстого. В буклете было сказано: «Душевнобольные и заразные больные в санаторий не допускаются». Поблизости было имение Бекетовых «Шахматово», где вырос Александр Блок. В 1911 году в санатории лечилась мать Блока, Александра Кублицкая-Пиотух, и Блок ее там навещал. В воспоминаниях Ахматовой описано, как Блок на перроне станции Подсолнечная увидел ее в тамбуре вагона поезда Москва–Петербург и задал совершенно неприличный вопрос: «С кем вы едете?»

В санатории завели трудотерапию, физиотерапию, психотерапию, водолечение, душ Шарко, провели шоссе до станции, построили свою электростанцию. Из Юрьева-Польского приехал умелец на все руки Ефим, который заведовал хозяйственными работами. С ним дедушка поддерживал связь всю жизнь, и во время бомбежек Москвы меня в августе 1941 увезли в Юрьев-Польский к Ефиму. Мне рассказывали, что жена Ефима мыла мне голову в тазу, чего я терпеть не мог, а я ей кричал: «Ты мой враг!»

Вечерами в санатории устраивали концерты и представления силами больных и м.б. по молодости немного флиртовали. Есть фотографии, как мама и Оля гуляют по санаторию в кружевных капотах с бабушкой Ниной Гавриловной, дедушка в военной форме – приехал в отпуск с войны. Мама всю жизнь вспоминала, как хорошо было жить в санатории. После революции из санатория убежали и никогда уже о нем не упоминали и не писали в анкетах. Я как-то навещал своего школьного друга Витю Генкина, флотского офицера, в санатории Военно-Морского Флота около Подсолнечной, и мне кажется, что это и есть дедушкин санаторий.

После рождения мамы в доме поселилась нянька, Анна Даниловна Степанова, Анюта. Своих детей у Анюты не было, она прожила с нами всю жизнь как член семьи. Анютин муж был приказчик, красавец с усами, он сошелся с хозяйкой своей лавки, и Анюта его выгнала. Мама и Анюта, обе любили меня бесконечно, и из-за этого иногда ссорились. Кроме того, Анюта считала своим долгом указывать маме на ее хозяйственные промахи. Как-то я прочитал, что на выборах в Учредительное собрание в 1917 году список большевиков был номер пятый, и тут же спросил Анюту, а за какой список дедушка голосовал. Она сказала, что не помнит, но точно не за пятый. У Анюты была племянница Катя. Она была на войне связисткой. С войны она привезла Анюте трофей из Германии: карманные серебряные часы. Часы были довольно дешевой штамповкой, но они были выпущены в свое время коммунистической партией Германии. На циферблате из головы Ленина секундными толчками шла надпись на немецком: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Минутная стрелка была как молот, а часовая как серп. На фронте Катя вышла замуж. Вскоре после демобилизации ее муж с товарищами-фронтовиками пошел в кино. То ли у них не было билетов, то ли не было денег на билеты, но они, как герои войны, хотели пройти так, поссорились с контролером и убили его. Всех их посадили надолго. В 46-м году по квартирам ходили приезжие из Украины и просили хлеба – был послевоенный голод. В 49-м году родилась моя сестра Нина, и ей наняли приезжую няньку Машу. Я помню, как Анюта объясняла Маше, что к чему, и с гордостью говорила: «Чай и сахар не запираем».

В 1940 году на мой трехлетний юбилей дедушка мне подарил педальную машину. Она по дизайну была выполнена, как машина М-1, эмка, с открытым верхом, такая же изображена на картине художника Налбандяна. У него в этой машине едет какая то женщина, очевидно, ударница труда или жена ответственного работника. На своей машине я носился сам по длинному коридору на Большой Молчановке, от парадной двери до кухни и лихо заворачивал мимо комнаты Анюты к комнате Зиши... Сохранился снимок, где я сижу в этой машине на балконе. Внизу видна Большая Молчановка и родильный дом Грауэрмана, которых больше нет. В 1941 году мы на лето переехали на дачу к нашей знакомой тете Эсе на станцию Трехгорка Белорусской дороги. Я помню, как мы там играли в прятки, и местные девочки спрашивали папу: что это Илюша, просто так стоит или выручается, хотя я усердно хлопал по дереву ладошкой и было очевидно, что выручаюсь. В августе Люфтваффе стало Москву сильно бомбить, папа уже был на фронте, и мы бросили все имущество на даче, так как достать машину для перевозки было невозможно, и меня

увезли в Юрьев-Польский к дедушкиному знакомому Ефиму. Я помню, как там мы со всем народом вместе бежали по полю от бомбежки, а я задирал голову вверх и удивлялся: во всем большом небе один маленький самолет и от него все бегут. А моя машина досталась немецко-фашистским захватчикам.

В конце сентября мы с мамой уехали в эвакуацию. По-видимому, ехать вместе с дедушкой в город Миасс под Челябинском, куда эвакуировалась его поликлиника, было нельзя. Мама почти уже согласилась поехать вместе с папиной семьей, его мамой, сестрой, племянницей, на их родину, в далекий и безопасный Ставрополь. В самый последний момент мама передумала, а они все уехали. В августе 1942 года группа армий «А» под командованием фельдмаршала Вильгельма Листа прорвалась на северный Кавказ, и Ставрополь был захвачен. Первый секретарь крайкома Суслов, представители государственного комитета обороны Каганович и Берия не организовали эвакуации ни Ставрополя, ни Краснодара. Южный фронт развалился. Малиновский, а потом Буденый, не смогли построить оборону. Боевые товарищи честного солдата Листа из ейнзацкоманды СС тут же решили еврейский вопрос: всех евреев согнали на стадион и погрузили в душегубки, т. е. автомашины, где выхлопная труба вела в кузов. Все погибли: Софья Григорьевна, Муся, Эллочка, и мы бы с мамой были бы там же. После войны Листа судили англичане и он получил пожизненное заключение, но не за Ставрополь, а за Балканы и Грецию. Просидел только до 1950 года. А у мамы в 1941 году возник другой вариант. Мы уехали в Благовещенск около Уфы, в Башкирию, вместе с Военно-Юридической Академией. Ее начальником был назначен известный юрист, автор учебников и многочисленных работ и монографий, А.А. Герцензон. Этот Алеша Герцензон приходился нам дальним свойственником: он был племянником Надежды Владимировны, бывшей жены Мики Майзеля, брата моей покойной бабушки, Нины Гавриловны. Надежда Владимировна тоже ехала с академией. Я прочел в одной статье в интернете, что Военно-Юридическая Академия в октябре защищала Москву, из ее слушателей и преподавателей был составлен батальон... Может быть оно и так, но я-то помню, что академия эвакуировалась в Благовещенск, а потом в Ташкент.

Мы ехали сначала на поезде, потом на барже. Там какой-то раненый капитан с перевязанной рукой угостил меня сахаром. Военкомат в Благовещенске нас вселил в избу к одинокой старухе, снабдил дровами. Они были на вес золота. Мама, именем Герцензона, которого я так никогда и не видел, записала меня в детский сад, что означало трехразовое питание. В общем, с моей точки зрения, все было нормально. Я был крупный ребенок, и мама, перенося меня поздней осенью через лужу, не удержалась на ногах и рухнула в эту лужу. Я очень смеялся. Зимой у меня было воспаление легких, а с дровами вышла задержка, и старуха отказывалась топить избу. Я чуть не умер, но сам об этом ничего не помню. Как москвичам нам выдавали довольно много хлеба по карточкам, и мама ходила на рынок менять его на другие продукты. Зимой на рынке молоко продавали в виде белых кругов – его выставляли на улицу, и там оно замерзало. Мама кормила меня черным хлебом с топленым маслом и репчатым луком – очень вкусно и полезно от цинги. В Благовещенске формировалась новая дивизия, и мама устроилась работать в штаб секретаршей. Солдаты маршировали в лаптях, ботинки с обмотками выдавались только перед отправкой на фронт. Однажды вечером в нашу избу постучался какой-то командир. Его переводили в другое место, и он хотел продать запас своего продовольствия – масло и мед, по казенной цене. Это было все равно, что даром. Но и таких денег у мамы не было: она получала маленькую зарплату и лейтенантский аттестат за папу. Мама кинулась занять денег у Герцензонов. Те сказали, что это явно какой-то аферист и денег не дали. Вернувшись домой, мама увидела, что этот военный почти все продовольствие уже продал. Мама опять побежала к Герцензонам, и убедила их все-таки одолжить денег. В результате ей досталась двухлитровая банка меда. Этот мед я категорически отказался есть, как еду необычную и непривычную. Так что почти весь мед мама отдала Герцензонам. Немного я его распробовал лишь тогда, когда банка была почти пуста. В 1943 году дедушка прислал нам вызов в Москву от своего наркомата. Мы поехали в Уфу зимой в кузове грузовика. В Уфе сели на поезд. В дороге я чуть не потерялся: мама ушла за чем-то, а поезд тронулся. Я сохранял полное спокойствие, т. к. мама никуда деться не может.

Когда мы с мамой вернулись в 1943 году из эвакуации в Башкирии, выяснилось, что у меня полно вшей, и Анюта долгое время их выводила, вычесывала мне голову частым гребешком на газету и мазала керосином. Именно Анюта мне объяснила, что мы – евреи. Произошло это так: как-то она увидала в окно, что я во дворе гонюсь за каким-то малым и кричу ему: «Жидовская морда». Мне это представлялось абстрактным оскорблением средней тяжести, вполне соответствующим уровню конфликта. Анюта тут же спустилась во двор, взяла меня за руку, отвела меня в свою комнату и произвела промывку мозгов. Моему удивлению не было предела. Я тогда ходил в детский сад Наркомата угольной промышленности на Красной Пресне, и, в дополнение к Анютиным объяснениям, мама мне рассказала по дороге, что раньше наш народ жил в Палестине, среди пальм и бананов, у нас было свое государство, огромный храм, свои генералы и полководцы, и когда-нибудь мы туда уедем. Так оно и произошло лет пятьдесят спустя, но в тот момент я был переполнен новыми сведениями, и тут же ими поделился в детском саду. Все открыли рот. К счастью, в детском саду и воспитательница, и врач, и директор – все были евреи и дальше дело не пошло. Дедушка сказал маме: «Наташа, ты вообще думаешь иногда?»

Мы порой гуляли с мамой по Никитскому бульвару и как-то встретили полк солдат, который шел с оркестром от Арбатской площади, и я побежал следом и убежал от мамы. Пришел в себя я лишь на Никитской площади, но сообразил развернуться и самостоятельно пришел домой, где конечно уже была паника. В другой раз на том же бульваре я уехал от мамы на трехколесном велосипеде и крикнул ей: «Несись за мной огромными скачками!» Так делал волк в какой-то детской книжке.

Во время войны в 1914 году в санатории устроили госпиталь, а дедушка уехал на фронт военным врачом в чине поручика. На фотографии видно, что у него была шашка и, наверно, револьвер, а также офицерский кортик, который он хранил всю жизнь, хоть это было небезопасно. Он работал в полевых госпиталях и ездил с санитарными поездами, которые эвакуировали раненых. В 1918 году, когда армия развалилась, он на какое-то время вернулся домой, но вскоре его мобилизовали в Красную Армию, и он там служил врачом, пока в 1920 году не заболел сыпным тифом, и его привезли в Москву. После тифа и м.б. в результате военных впечатлений гражданской войны у него было нервное расстройство, он не узнал свою жену, которая к нему пришла в госпиталь. Он стал ей говорить, что у него пропал складной ножик, очень нужная вещь. Со временем он пришел в себя и стал работать врачом на Рогожской заставе. Зарплату выдавали продуктами и овощами, и он их вез домой на тележке пешком.

В начале двадцатых дедушка самоуплотнился и поселил в квартире свою племянницу Женечку Левинсон, дочь своей сестры Эсфири. У Женечки был муж Зиновий Ефимович Гуревич, его прозвище было Зиновей, с ударением на последнем слоге. Он был юрист и работал консультантом в каком-то наркомате. Только во времена перестройки мама мне рассказала, что Левинсоны в 1920 году уехали в Константинополь, но им там не понравилось, и они успели вернуться обратно в Одессу. На школьном выпускном экзамене по литературе я написал сочинение по Пушкину. По этому поводу Зиновей меня пытался убедить, что Пушкин в Царском селе прочел Державину стихи: «Старик Державин нас заметил, и, в гроб сходя, благословил». Тщетно я ему пытался доказать, что это бы было, по меньшей мере, неприлично и неуместно – говорить человеку в лицо, что он «в гроб сходя».

В конце существования санатория погиб дедушкин друг доктор Александр Вяхирев. Он поехал в деревню по вызову, и там у него случился сильный приступ аппендицита. Дедушке дали знать, и он вместе с Микой Майзелем туда приехал и прямо в избе сделал операцию, но было уже поздно.

Жена Вяхирева была из семьи Сеппи, это были дети швейцарского дирижера Иосифа Сеппи, который приехал в Россию и умер от тифа или холеры примерно в то же время, что и Чайковский. Его детей разобрали интеллигентные семьи – Васнецовы, Алексеевы. Зинаида (Зиша) Сеппи, воспитанница театрального режиссера Зинаиды Сергеевны Соколовой, сестры Станиславского, после революции пошла работать секретаршей в Рабоче-Крестьянскую Инспекцию (РКИ) и там

вышла замуж за известного большевика Николая Баранского, ответственного работника РКИ, впоследствии академика и профессора МГУ, героя социалистического труда. В его честь был назван какой-то пароход-сухогруз. У них родился сын Костя. Впоследствии они развелись, и, после смерти моей бабушки в 1930 году, дедушка женился на Зише, и Зиша с Костей жили у нас на Молчановке.

Николай Николаевич Баранский был человек огромного роста, с моржовыми усами, общительный и очаровательный, его любили семьи всех его шести жен. Его отец был статский советник и директор гимназии в Томске. Николай Баранский окончил коммерческий институт в Цюрихе. Я часто с ним беседовал на разные темы. Он был раньше членом Сибирского Бюро РСДРП большевиков, и считал, что причиной поражения декабрьского восстания 1905 года в Москве была их в Томске нерасторопность: они не отправили, как собирались, в Москву эшелон вооруженных рабочих из Томска, а вместо того в Москву прибыл из Петербурга эшелон с гвардейским Семеновским полком во главе с генералом Мином. Вообще в Томске, по его словам, меньшевики были более боевые ребята, их возглавляла какая-то женщина, и она водила компанию с экспроприаторами, эксами, т. е. просто с бандитами. Большевики же были довольно респектабельные, и председатель Совета рабочих депутатов первым делом заказал себе визитные карточки с надписью: революционный мэр города Томска. Не знаю, как это повлияло на Баранского, но в 1917 году он уже был меньшевик-интернационалист, т. е. стоял за Мартова. После переворота перешел к большевикам. Еще до революции он был знаком со Сталиным и помог ему бежать из ссылки. Зиша рассказывала, что где-то в 1921 году Сталин встретил Баранского в РКИ, где Сталин был наркомом, и сказал: «Что Баранский так плохо выглядишь, я скажу, чтобы тебе приготовили корзиночку». На это Баранский отвечал: «Ешьте сами свои корзиночки». Тем не менее, во время репрессий Сталин, видимо, велел Баранского не трогать, и он уцелел. Еще в начале двадцатых годов Баранский понял, что за режим они создали, и перешел на научную работу, занялся экономической географией. В том числе он был автором учебника географии, по которому я учился. Ленин лично дал согласие на его уход с руководящей работы. После войны он жил в здании МГУ на Ленинских горах, в профессорской квартире в зоне М. Иногда по праздникам в МГУ его сажали в президиум, и он выступал с воспоминаниями, но всегда обращал свои проклятия царизму и грозил кулаком прямо в президиум, где сидели университетские марксисты, которых он очень не любил. У него была дача в поселке старых большевиков на станции Отдых. Ходил анекдот, что там в кооперативном магазине висело объявление: «Цареубийцам повидло вне очереди». После Зиши он женился на своей аспирантке Татьяне Александровне Лукашовой, она родила ему сына Леню. Леня потом окончил геологический факультет и стал геофизиком, ездил одно время в антарктические экспедиции. Через какое то время Лукашова разошлась с Баранским и вышла замуж за художника Авалиани, у них родился сын Митя, который окончил географический факультет МГУ, где его мать уже работала доцентом. Художник Евгений Авалиани погиб в 1941 году в Московском ополчении, а Татьяна Александровна в конце 60-х в Коктебеле упала, ободрала ногу и умерла от столбняка. Митя Авалиани работал в научном институте, сидел обычно в Ленинской библиотеке и писал обзоры международной экономики. Он писал прекрасные стихи и картины, мы с ним дружили. Одно время он ходил в литературное объединение «Магистраль» и несколько раз водил меня с собой. Я там видел выступления Окуджавы и Аронова. У Мити в особенности пользовались известностью палиндромы и перевертыши, хотя я предпочитал его замечательные традиционные стихи. Митя был очень общительный и любил, чтобы вокруг было большое общество. Он дружил с Петрушевской и Улицкой, художником Пашей Тюриным, поэтом и журналистом Аркашей Гавриловым, химиком Юрой Ямпольским. В начале 70-х он познакомился с Леной Гроссфельд, активной православной, и обвенчался с ней в церкви. Я помню, как там очень молодые люди в хоре страшными голосами пели: «Жена да убоится мужа своего...» На свадьбе я сидел среди художниц, и они злобно говорили: «Православные всю водку выпили...» Во время перестройки Митю сократили, и он стал работать сторожем в разных местах. Одно время он работал сторожем в музее Лермонтова на Малой Молчановке. Там вечерами у него собиралось

избранное общество, располагаясь на музейной мебели красного дерева. Когда я уехал, Митя с оказиями посылал мне стихотворные послания. В одном из них были строки: «...Сказать хочу, как я тебя любил. Нет, не тебя, но воздух, где ты был...» В 2003 году Митя попал под машину и погиб. Одна из его картин висит у меня на стене.

У Зиши была большая коллекция пластинок Вертинского, которые хранились как большая драгоценность. Иногда все собирались и слушали эти пластинки с видимым наслаждением. Мне это казалось смешным и претензионным. Как-то в 1954 году родители повели меня на концерт Вертинского. Я пошел с большим сомнением. Это было в каком-то клубе на Красной Пресне. Зал был набит под завязку. В первом отделении аккомпаниатор Вертинского, пианист Михаил Брохес играл Рахманинова. Потом вышел сам Вертинский, и у меня вдруг захватило дух от его фантастического искусства. Это было как гипноз, он делал с публикой, что хотел. Высокий немолодой мужчина во фраке то превращался в юную балерину, то изображал далекий пейзаж южного моря... «Над розовым морем вставала ЛУ-НА...» Зал завороженно следил за его длинными пальцами. Это было блестящее представление, и я был совершенно покорен и заворожен. С тех пор, если проходил слух о московском концерте Вертинского, я все бросал и мчался доставать билет. Говорили, что первый его концерт после возвращения из Харбина был в Кремле. Хотел бы я посмотреть, как вожди слушают Вертинского, что шевелится в их душах под толстым слоем черных дел...

Когда я женился и пришел к дедушке с обручальным кольцом на пальце, Зиша мне тут же сказала, что даже образованные купцы никаких колец не носили. Через Зишу я познакомился с Алексеевыми и хорошо их знал – Лелю, Бубу, Килялю, Милушу, Люлю, Аню. Еще упоминался какой-то Яя, которого я не встречал. Много времени я провел у Бубы, правнука Владимира Сергеевича, в Комаровке, где с одной стороны через забор жили академики Колмогоров и Александров, а с другой – поэт Борис Заходер. Бубина дача была перестроена из бывшего каретного сарая. Комаровские жители тепло вспоминали дядю Гоню, как он утром «разрезал», т. е. играл на фортепьяно. Это был сын Анны Сергеевны, Георгий. Еще был младший брат Станиславского, Георгий Сергеевич, которого большевики расстреляли в Крыму в 1921 году. В Англии растет какой-то талантливый мальчик, вроде бы пишет музыку, потомок Станиславского. Это сын той девочки, которую родила горничная в доме Алексеевых от юного Кости Алексеева. Ему было тогда лет 16.

Леля Алексеева была талантливая актриса, она прекрасно сыграла проститутку в кинофильме «Встреча на Эльбе», а также множество других эпизодических ролей, например, в фильме Наумова «Бег». Заодно она учила киногруппу французскому языку и светским манерам, Наумов обещал взять ее на съемки в Париж, но надул. Она была внучкой Владимира Сергеевича Алексеева, но он ее удочерил. Её мать, Вера Владимировна, дочь Владимира Сергеевича, задолго до революции вышла замуж за какого-то инженера, и тот увез ее в Гватемалу. Отношения не заладились, но выехать из Гватемалы оказалось юридически невозможно. Алексеевы, хоть и были художественными натурами, обладали потомственной практической хваткой и быстро сообразили обстоятельства. Они не стали умолять ее мужа, напротив – ему сделали очень выгодное предложение: занять руководящую должность на Алексеевской фабрике в Москве. Инженер приехал, и у него тут же отняли жену и указали на дверь: Москва это не Гватемала. Вера Владимировна сошлась со скульптором и художником Н.А. Андреевым и прожила с ним много лет. Перед самой своей смертью он ее покинул и ушел к другой женщине. В семье хранились какие-то Андреевские работы. Когда-то в 20-х он написал портреты деятелей 3-го Интернационала, и они были изданы в виде альбома открыток. Часть этих деятелей потом перешла к фашистам, как например Никола Бомбаччи, который стал министром у Муссолини. Вместе с ним его расстреляли партизаны и повесили вверх ногами на площади в Милане в 1945 году. Многих расстреляли во время чисток в Москве. В общем, альбом был изъят, но у Лели сохранился экземпляр. Я был поражен этим альбомом: он выглядел как полицейское досье с фотографиями преступников и бандитов. Андреев был, как говорится, крепким реалистом.

Владимир Сергеевич Алексеев, в отличие от других членов семьи, выиграл от Октябрьской революции – он уже не должен был заниматься фабрикой, которая стала заводом «Серп и Мо-

лот», а стал главным режиссером оперной судии МХАТ. Еще до революции он перевел либретто оперы «Чио-Чио-Сан», и авторские отчисления были для семьи большим подспорьем. Даже его правнук Буба еще долго существовал на эти авторские права. Когда Леля вышла замуж за красавца-художника Алисаттара Атакшиева из Института Народов Востока, Константин Сергеевич сказал: «Я уже думал, это будет негр». Валя Вяхирева приходила к Леле давать ей частные уроки системы, но Леля висела на муже и говорила: «Смотрите, какой красавец – он перс». У них родился сын Халил и получил прозвище Буба. Впоследствии Алисаттар должен был по обстоятельствам жизни вернуться в Баку. Леле остался его автопортрет, где он очень похож на Амадео Модильяни. В какой-то момент он написал большое полотно: «Берия посещает нефтепромыслы». Музей был согласен купить полотно, но не давал ожидаемую цену. Сталин умер, музей все тянул время. Тем временем Берию арестовали. Алисаттар замазал его голову и написал вместо нее голову Микояна. Музей все равно не купил. Алисаттар стал кинооператором, а затем – кинорежиссером. В 1943 году он снял в Баку с режиссером Григорием Александровым, как оператор-постановщик и художник, фильм «Моя семья» с Любовью Орловой в главной роли. Фильм на экраны не вышел. Зато следующий фильм, в 1945 году, «Аршин-Мал Алан», вышел, и я его смотрел вместе со всем советским народом. Он познакомился со сценаристом Семеном Днепровым, т. е. генералом КГБ Цвигуном, главой азербайджанского КГБ, и снял по его сценариям несколько шпионских боевиков. Как-то вечером я встретил в доме Натальи Константиновны Треневой, вдовы писателя Павленко, кинорежиссера Льва Арнштама, он мне сказал: «Я весь вечер смотрел с Фурцевой азербайджанское кино про заграницу, это совершенно невыносимое мучение». Я спросил: «А кто режиссер, не Атакшиев?» – «А откуда вы его знаете, он же совсем не вашего возраста?»

Леля сошлась с Владимиром Карловичем Фромгольдом, актером студии МХАТ, с внешностью и ростом кавалергарда. Он был братом известного московского хирурга и имел репутацию лучшего исполнителя роли Соленого в пьесе Чехова «Три Сестры». Леля забрала над ним полную власть, и когда ее вежливо спрашивали: «А как Владимир Карлович?», не задумываясь отвечала: «Совершенно не моется». Владимир Карлович однажды поспорил в театре с режиссером, и в приступе творческого гнева взял его за шиворот и выбросил из бельэтажа вниз, в партер. На этом его карьера в театре прекратилась – никто не хотел с ним спорить. Однажды поздней осенью Бубин приятель и одноклассник, некий М., поехал на Бубину дачу, имея при себе члена бюро ВЛКСМ, с целью более близкого знакомства. Народная песня об этом событии повествует так: «Но вот отворилися двери, и входит к нему член бюро, он верит и снова не верит, и вот они едут в метро. В метро, а потом в электричке, и не о чем им говорить, везет он фемину и спички, чтоб ей в перерывах курить...» Кто не знает, фемина на латыни значит женщина, так же называлась марка сигарет. Приехав на дачу, они неожиданно застали там Владимира Карловича, который был крайне недоволен тем, что они мешают ему работать. «Чем мы могли ему мешать?» – возмущался М. Он не знал, что работать – это означало ночью в голос читать трагические монологи. Этот М., человек способный и образованный, с хорошим чувством юмора, очень симпатичный и привлекательный, но с довольно гибкими понятиями, решил вскоре «улучшить и убыстрить», как сказал бы Горбачев, свои материальные перспективы. Он выступил со статьей, где утверждал, что роман Пастернака «Доктор Живаго» – художественно слабое произведение. Бедный язык, персонажи слабо очерчены, надуманный и претензионный сюжет... По-моему, он даже не касался идейных просчетов. Это был сильный ход, на такие аргументы не решались Симонов, Сурков и Федин. Они как раз напирали на идейные ошибки. М. сильно продвинулся, и его взяли на заметку на Старой площади. В конце концов, он стал главным редактором одного из журналов, обладателем вертушки, черной волги и пропусков в кремлевскую столовую и поликлинику. Чего еще желать, чтобы встретить старость? Позднее, в начале 90-х, когда стали раздаваться призывы «вылезти из окопа» и встать грудью за дело социализма, он уехал в Америку и стал там мирно преподавать в колледже.

Маленький Буба сильно возражал против появления Владимира Карловича в их квартире на улице Немировича-Данченко. По-французски «фам де шамбр» значит горничная, Леля и Буба

звали Владимира Карловича «хам де шамбр». Владимир Карлович стоически терпел выходки маленького негодяя. Я мог часами слушать истории Лели о Художественном театре. Вот, к примеру, история про Грибова. На гастролях в Париже Грибова поселили в приличный номер, в туалете имелось бидэ. Грибов подумал и решил, что это еще один унитаз, и сделал туда по-большому. Последовал скандал, и Грибова в театре стали называть «бедовый старик». Народная актриса Алла Константиновна Тарасова получила орден. С цветами и толпой поклонников она явилась на квартиру своей матери, упала на колени, простерла руки и провозгласила: «Спасибо, мама, что Вы родили великую актрису!» Старушка отвечала: «Боже, какая дура!» Другая история касалась Завадского. Он начинал как актер в 3-й студии МХАТ, впоследствии был главным режиссером театра им. Моссовета. В своем театре он, как это иногда бывало, завел любовницу. Как-то муж этой женщины ворвался в кабинет Завадского и обругал его последними матерными словами. Завадский вышел из себя и, глядя на обидчика с высоты своего огромного роста, задыхаясь от ярости закричал: «А вы, вы ... какашка!» Однажды я рассказал Леле, что в журнале «Новый Мир» появились воспоминания Дмитрия Шверубовича, заслуженного деятеля искусства, заведующего постановочной частью МХАТ и сына Качалова. Она тут же спросила: «А он не пишет, как в Харбине держал антрепризу женского бокса?» Как-то я застал в гостях у Лели Машу Шверубович – внучку Качалова. Маша горько жаловалась, что основоположники МХАТ имеют обыкновение говорить о своих отпрысках и потомках: «Это полная дура...» Имелось в виду, что это такой род снобизма, каждый понимает, что член ТАКОЙ семьи не может быть дурой. Однако, народ все понимал буквально, и определение прилипало к человеку намертво. Уж Леля хорошо знала, как это несправедливо. Однажды, в середине 60-х, к Леле в гости пришел нищий алкоголик, сын режиссера Сахновского. После его ухода выяснилось, что пропала серебряная вазочка. Леля была безутешна. Уже во время перестройки я прочел, что как раз в это время, в 1962 году, в Париже умерла художница Наталья Гончарова, и оставила Сахновскому в наследство картин примерно на 400 миллионов франков. Я читал, что после долгих приключений Советское государство через подозрительных нотариусов и адвокатов вывезло картины со скандалом и не уплатив полностью налоги. Сахновский тем временем умер в нищете.

Квартира Алексеевых в переулке им. Немировича-Данченко тоже была коммунальная, т.к. в свое время Владимир Сергеевич самоуплотнился и отдал комнату дальней родственнице. Когда Буба подрос, он обил дверь своей комнаты ватой и дерматином для звукоизоляции. Если приходила девушка, то Леле строго запрещалось даже появляться на горизонте. Однажды, впрочем, Леля взяла свое. В 1963 году в ноябре убили Кеннеди, и Леля с диким стуком в дверь и криком: «Кеннеди убили!» ворвалась к Бубе в самый неподходящий момент. Буба был в ярости и отвергал все извинения и ссылки на мировую трагедию. Буба был потрясающе красив и талантлив, ему часто предлагали роли в кино, но он хорошо знал изнанку этого волшебного мира и всякий раз наотрез отказывался. Как-то он мне сказал: «Ты не представляешь, что это за унизительное, зависимое, жалкое, нищенское существование». Он окончил мехмат МГУ, работал в почтовом ящике, устроил туда меня. Потом я его устроил в Экономический институт Госплана. Вскоре после этого мы с ним поехали на конференцию по экономической кибернетике в Батуми. Конференция была довольно интересная, гостиница «Интурист» очень приличная, аджарские хачапури с яйцом – выше всяких похвал. Ничто не предвещало неприятностей. Скандал произошел в самолете на обратной дороге.

Напротив нас в креслах устроилась пара подполковников и громко обсуждали свои дела. При этом один из них произнес слово «армяшка». Я взорвался и, указывая на Бубу, громко сказал: «А вы не думаете, что такие слова не всем приятны?» Нет дела, что Буба по паспорту был русским, по национальности в крайнем случае наполовину азербайджанцем, никак не армянином. Буба тоже смотрел на них укоризненно. Офицеры набрали в рот воды и всю остальную дорогу молчали. Впоследствии Буба защитил кандидатскую диссертацию и работал в институте систем управления комитета по науке. По его рассказам, это был тот еще гадючник. Теперь он занимается недвижимостью в Монреале. В студенческие времена я познакомился с художником Ильей

Глазуновым, который тогда считался преследуемым гением. Буба тоже с ним заочно познакомился и довольно неприятным образом: Глазунов увел у него юную Ларису Алисову, будущую кинозвезду Ильченко. Буба ею сильно увлекался. По этому поводу была сочинена песня: «Взяв ножик у сапожника, пойду по Поварской, известного художника зарежу в мастерской». Будучи во всех отношениях славным малым и хорошим товарищем, Буба имел одну резко отрицательную черту: от актеров МХАТ он усвоил привычку к жестким, а иногда и жестоким розыгрышам. В среде этих актеров такое умение очень ценилось, эти умельцы назывались «номерные», и им все прощалось. Один человек во время похорон занозил себе палец о гроб и имел неосторожность об этом сказать. Его тут же стали уверять, что он заразился трупным ядом, и занимались этими уверениями до тех пор, пока он не попал с нервным расстройством в психиатрическую лечебницу. Все были в восторге. Когда мы вместе работали в почтовом ящике, Буба сыграл со мной такую штуку: записал меня на безвозмездную сдачу крови. В другой раз убедил меня, что я должен подать объяснительную записку, почему я сошел с дистанции лыжного кросса. В качестве ответной меры я завел в лаборатории разговор о Глазунове. Эта тема всем была интересна, разговор стал общим и продолжительным, как вдруг, без какой-либо видимой причины, Буба бросил в меня тяжелые ножницы. Никто не понимал, в чем дело. Как-то раз я встретил на улице Горького Кирилла Богословского, сына Никиты. Считалось, что Кирилл плохо влияет на Бубу и является нежелательным знакомством. У Богословских про Бубу думали симметрично. Взаимные претензии время от времени передавались через общую знакомую Рину Зеленую. В тот раз Кирилл имел при себе бутылку водки и двух девиц, довольно сильно размалеванных. Я сказал Кириллу, что иду к Бубе, и он рад будет всех видеть у себя. Кирилл сомневался, будет ли это удобно. «Очень удобно, – сказал я, – а, впрочем, я иду, а вы подходите». Придя к Бубе я сказал: «Вот сейчас ты увидишь, как приятно быть объектом розыгрыша». Раздался звонок, Буба пошел открывать, и я услышал: «Ты что, нельзя, мама дома...»

Работая в почтовом ящике, Буба порой устраивал целые представления, в одиночку исполняя оперетты со всеми вокальными номерами и танцами: «Я ему отвечу не робея, дамам нельзя без чичисбея, ходят по улицам фашисты, к дамам они пристают, пристаю-ют...» Во время перестройки Буба организовал на дому фабрику по производству вязаных вещей. Были куплены японские вязальные машины. Эта деятельность задействовала все Бубины разнообразные творческие и технические таланты: рисунок, дизайн, изучение инструкций на английском, программирование на перфокартах... Для технической поддержки использовались балерины Большого театра, которые привозили с гастролей запасные части к машинам. Какой-то важный блок прислал из Штатов дирижер-невозвращенец Максим Шостакович, который в прошлом тоже часто посещал Бубину дачу. Для розничной торговли на рынках Буба сочинил слоган: «Ей ты, рэкетир-хулиган, отложи свой наган и купи кардиган...»

Килялю на самом деле звали Кирилла, она была, так сказать, плод внебрачной связи между дочерью Станиславского Кирой и художником Робертом Фальком. Киляля занималась переводами на французский, в том числе перевела роман «Евгений Онегин», и наверно лучше, чем потом это делал Жак Ширак. Меня как-то моя подруга Алена Вассерберг привела в квартиру Фалька на экскурсию, которую организовала Наташа Гутман. Квартира была в несколько рядов заставлена полотнами. Вдова Фалька, Ангелина Васильевна, показывала нам эти замечательные полотна со своими комментариями. По поводу своего портрета в лиловой шали она сказала: «Роберт Рафаилович в это время расставался со своей прежней женой и сходился со мной, он был совершенно не создан для таких сцен, он говорил, что чувствует себя так, как будто с него живого сдирают кожу. Отсюда такой интенсивный лиловый цвет». Пик всенародной известности Фалька пришелся на 1962 год, когда во время выставки в Манеже Хрущев пришел в бешенство и нецензурно выразился по поводу его классической картины «Обнаженная». Критика, как водится, была подхвачена радио и прессой. В народе еще долго поминали «Обнаженную Вальку». Об этом событии повествует известная песня Вадима Черняка. Я познакомился с Вадимом в Коктебеле в 1972 году, где он замечательно исполнял эту песню на гитаре в доме антисоветского инвалида, безногого художника

Киселева. Киселев, кстати говоря, был известен тем, что был полностью, так сказать, с идентичностью, внешне похож на В.И. Ленина. Вот начало этой песни:

Гремят колеса катафалка,
В Манеж открыт парадный вход,
Сегодня хулигана Фалька
К ответу требует народ...

Народ идет слегка поддавши,
В лице вождей и их родных,
И тихо прячутся подальше
Творцы шедевров мировых. *

Там же у Киселева я познакомился с Алешей Хвостенко. Он каждый день приходил по вечерам и пел свои замечательные баллады. Он производил впечатление очень приятного и образованного человека. Например, он мог читать Достоевского страницами наизусть. Он был яркий пацифист и анархист. Кстати, ему очень понравились мои стихи. Потом мы некоторое время общались в Москве. Как-то он приехал ко мне со своей женой Алисой на Артековскую улицу и устроил там, как мы говорили, «поэзоконцерт».

Я говорю вам – жизнь красна
В стране больших бутылок,
Где этикетки для вина
Как выстрелы в затылок,
Там водка льется из обойм
Похмельной пулей в небо,
Готов поспорить я с тобой,
Что ты здесь прежде не был...

Как хотите, я знаю, что некоторые не согласны, но я всегда считал, что это большая поэзия. Алеша уехал во Францию, после перестройки вернулся, давал концерты, жил у Алисы. Потом он умер. А в тот день, осенью 1972-го года, ко мне набилось огромное количество знакомых и друзей, все были в восторге, кроме Мити Авалиани, которому не нравилось, что не он центр внимания. Алиса была очень красивой женщиной и прекрасным юристом, она потом несколько раз меня квалифицированно консультировала.

Нападения властей на художников достигли пика во время «бульдозерной» выставки в 1974 году, когда на опушке Зюзинского леса на художников был пущен бульдозер, а британскому поверенному в делах сломали руку. О Зюзинской выставке и ожидаемом разгоне накануне предупреждала Би-Би-Си. Тем утром меня друзья везли мимо этой опушки к Бубе в Комаровку на своем старом москвиче, и я, проездом, оказался свидетелем этого исторического события. После этого приняли мудрое решение открыть клапан, и была устроена разрешенная выставка в павильоне пчеловодства на ВДНХ. В конце 90-х я был в Ганновере и пошел в музей современного искусства. Там висели прекрасные картины немецких экспрессионистов, в том числе Пауля Клее, от которых захватывало дух, но народу не было никого. Я подумал, что бульдозер здесь бы сильно оживил пейзаж.

** Автор стихотворения, положенного на музыку Вадимом Черняком, – Юрий Смирнов. Оно опубликовано в кн. Смирнов Ю.В. «Слова на бумаге» (М., 2004). Составитель этой книги, Герман Лукомников, поясняет происхождение такого рода разночтений: «Дело в том, что В. Черняк был одним из ближайших друзей Ю. Смирнова, ... многие стихи Ю.С. он исполнял под гитару как песни, положив их на собственные мелодии... Вадим Григорьевич был фактически моим главным консультантом при подготовке книги...» (http://cmuxu.livejournal.com/11552.html)*

Милуша была дочерью другой сестры Станиславского, Анны Сергеевны. Она сама, ее дочь Люля и внучка Аня были довольно крупными женщинами. Милуша работала в МХАТ помощником режиссера. Я иногда ее расспрашивал о прежних временах. Любопытно, что она примерно одинаково оценивала постановки Немировича-Данченко и жуткие режиссерские работы Бориса Ливанова, которые я сам видел на сцене. Она мне рассказывала про распорядок дня Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, когда той уже было сильно за 50, лет через 30 после смерти Чехова. «Утром в 11 у нее репетиция, вечером спектакль, потом банкет. После банкета в 3-м часу ночи она меня будит и говорит: «Поедем, Милуша, кататься на санках с красными командирами». А в 11 у нее опять репетиция». Если почитать письма Чехова, то видно, что именно Книппер считалась в семье больной, причем очень больной. Как-то я спросил Милушу: «Как это было, когда в 1938 году пьесу Булгакова «Мольер» сняли после 4-х представлений?» «А пьеса слабая, что же вы хотите, батюшка», – отвечала Милуша. У Лели всегда толклось много разных людей. Приходила Люда Минц (Минцыха), дочь Клементия Минца, который придумал популярную радиопередачу «Клуб знаменитых капитанов». Она была в то время женой поэта Тимура Зульфикарова, моего знакомого. Приходили известные математики Кира Ситников и Боря Мойшезон, художник Гриша Брускин.

Как-то я встретил у Лели Дмитрия Сеземана с его прелестной дочерью Катей. Сеземан работал на радио во французской редакции. Он один уцелел из семьи евразийцев Клепининых, которые во Франции вместе с Сергеем Эфроном работали на НКВД и с ним вместе были вывезены в Союз после убийства Райса. Они все вместе тогда жили в Болшеве на бывшей даче Томского. Там же старших Клепининых и Эфрона арестовали. После самоубийства Цветаевой ее сын Мур (Георгий Эфрон) изо всех сил старался приехать в Москву и повидаться с Сеземаном, единственным другом. В начале 70-х Сеземану удалось уехать во Францию, где он стал работать на радио «Свобода». Во время перестройки я услышал его передачу, где он говорил: «Что вы все вспоминаете Столыпина, теперь совсем другая ситуация. Во времена Столыпина было самостоятельное крестьянство, независимая интеллигенция. Всего этого больше нет. Кого вы должны вспоминать теперь – это Робинзон Крузо». Близкое будущее наглядно показало, как он был прав.

У дедушкиного друга Вяхирева осталось двое детей – Игорь и Валя. Валя работала в студии МХАТ преподавателем системы, а потом была режиссером в театре Транспорта. Это она нам рассказала в 1952 году, как Григорий Новак, чемпион, встретил в ресторане ВТО драматурга Сурина, и в ответ на его антисемитскую реплику, взял его за ноги и ударил мордой о мраморный столик. Сурин лишился зубов и в таком виде пришел в театр Транспорта, где репетировалась его пьеса «Зеленая улица» о проблемах железнодорожного транспорта, борьбе лучшего с хорошим.

Игорь в юности попал в ссылку, так его друг по институту оказался агентом ГПУ и специально сфотографировал его на фоне книжки Троцкого «Уроки Октября». В ссылке он освоил специальность гидротехника, из ссылки же пошел на фронт. Потом, после войны, Игорь работал ведущим инженером в институте Гидропроэкт. Он писал стихи, их печатали в журнале «Новый Мир», впоследствии он издал книжку. Я помню его эпиграмму по поводу пьесы С. Михалкова «Раки»: «Скажите, Михалков, что ваша пьеса Раки, есть просто Ревизор, иль это враки».

Сын Зиши, Костя Баранский женился на жизнерадостной и красивой студентке Горного института Светлане, и они стали жить в Зишиной комнате. Светлана называла дедушку «Дядя Папа». Ее отец в 30-х годах был послом в Монголии. Много позже я прочел воспоминания Агнессы Мироновой-Король, где она пишет, как он страшно кричал в вагоне Фриновского в 1938 году, когда его пытали и убивали. Его жену звали Екатерина Федоровна, она отсидела 17 лет, вышла на свободу в 1956 году и поселилась в той же Зишиной комнате, а Костя со Светланой переехали к Баранскому в МГУ. В 1956 году вернулся из ссылки и муж Любови Абрамовны, дедушкиной приятельницы, которая работала врачом в моем детском саду. Он очень подружился с дедушкой и часто бывал у нас в гостях. Он был большой меломан и все время рассказывал о концертах в консерватории. История его такая: он эмигрировал в Америку еще до революции, работал инженером и прекрасно там жил, держал даже скаковую лошадь. Когда началась индустриализация, он

в 1928 году приехал помогать строить социализм. Мне он рассказывал, что только переехал границу, как уже понял, какого свалял дурака. Естественно, в 1937 году его арестовали и отправили в Магадан, и ему еще повезло, что остался жив.

По праздникам на Молчановке в столовой раздвигался большой стол, и мы собирались вместе. Оля и Зиша вносили пироги, в салатнице высилась гора винегрета. Я считал, что это и есть описанный в былинах пир на весь мир, сокращенно – «Пирмир». Так все это и называли с моей легкой руки.

По мере того, как я рос и стал демонстрировать разные успехи, получил медаль, поступил в университет и начал писать и печатать научные работы, дедушка мне иногда дарил десять рублей с неизменной присказкой из Козьмы Пруткова: «Поощрение так же необходимо гению, как канифоль смычку виртуоза». Когда он стал болеть, я навещал его в больницах. В Боткинской больнице он читал Мопассана по-французски и очень смеялся похождениям милого друга, говорил: «Вот ведь сукин сын». На соседней кровати лежал усатый поэт Наровчатов, у него случился инфаркт от несправедливости после того, как Евтушенко послали в привлекательную заграничную поездку. В феврале 1966 года я последний раз свез дедушку в больницу 64, откуда он уже не вернулся. Все работали, а я был в аспирантуре, и у меня было свободное расписание. К этому времени он уже, как оказалось, оставил нам письмо, где просил жить дружно и вспоминал слова доктора Гааза: «Спешите делать добро». Он хотел, чтобы ему сделали радикальную операцию, а то, что мог быть неблагоприятный исход, его тоже устраивало. Однако врачи на это не решились. Когда дела пошли совсем плохо, он написал последнюю записку: «Строфантин запрещаю и навсегда». Ему было 83 года.

* * *

Лили Марлен (1942)

Возле Ставрополья
Снарядов слышен свист,
Это наступает
Тут фельдмаршал Лист,

Ах, у Ставрополья
Нету стен,
И там не ждут
Тебя совсем,
Совсем, Лили Марлен.

Фронт развалился,
Танкам есть простор,
Суслов уже смылся,
Но еще есть кое-кто,

Едут душегубки,
И зондер-персонал
Взял гармошку в губы
И заиграл
Тебя, Лили Марлен.

Жил здесь Иослович,
Вайнштоκ, Рожанский, Прут,

Здесь они все жили,
А теперь пускай умрут,
Пускай, Лили Марлен.

Пусть Кавказ не взяли,
И далеко Баку,
В Ставрополье и Кизляре
Уже евреи ни гу-гу,
Совсем, Лили Марлен.

Осень наступает,
Близится зима,
Танков не хватает
И вообще уже хана,

Беглый Авторханов
Просится в Берлин,
Клейст отступает,
И не один,
Увы, Лили Марлен.

Там, где ты стояла,
Возле фонаря,
Кого-то уже вздернули,
Проще говоря,
Увы, Лили Марлен.

Александр МЕСРОПЯН

* * *

никому не говори ни за что не сознавайся
билась кровь меня внутри поздним летом в темпе вальса
все катилось под откос все кончалось понемногу
не сложилось не сбылось и пожалуй слава богу

и хотя не жалко слов никому оно не надо
слава богу пронесло мимо рая мимо ада
мимо поезда в огне мимо города и мира
кровь живет внутри во мне снег пошел похоже мимо

ни за что не отдавай никому не оставайся
каравай каравай кого хочешь выбирай
в темпе вальса в темпе вальса

* * *

не строен тополь но сутул
врастая в родину напрасно

переведи меня Катулл
хоть восемь строк о свойствах страсти

на рецептурную латынь
на желтый бланк с пометкой cito
на всевозможные лады
хоть матом но переведи ты

меня Катулл через листву
себя не помнящую в осень
мы не подвержены родству
хоть что-нибудь хоть строчек восемь

переведи через кордон
сего смертельного пространства
где только родина и то
как выясняется напрасно

Александр МЕСРОПЯН родился в 1962 году в хуторе Веселом Ростовской области. Работал учителем, журналистом, системным администратором. Публиковался в журналах «Воздух», «Крещатик», «Новый берег», «Уральская новь», в антологиях «Нестоличная литература», «Черным по белому», «Временник стихотворного отдела «Камеры хранения» за 2004–2006 гг.». Автор книг «Пространство Эроса» (1998), «Без матерьяльной основы» (2002), «Возле войны» (2008).

где все закончится вот-вот
до дна темно и безвозвратно

пусть кто-нибудь переведет
меня когда-нибудь обратно

<**и так проходит**>

итак, проходит

вот так вот мне темно пора на слом
я долго был я должен быть разрушен
меня внутри так будто бы снаружи
кого-то ни за что назвал козлом
и за козла походу отвечать
придется а не хочется а надо
вот тут глухой порою листопада
вот так вот понемногу по чуть-чуть

надо же где-то жить но похоже быть пусту
месту сему где хутор мой всем восточным ветрам и я один
стою как дурак
смотрю как дорога уходит вдаль
слышу как возвращается а вокруг
тепло и нестыдно бабье лето любимых моих
единственных
всех сразу

что не вспомним придумаем заново
в пять утра дребезжащий трамвай
запах дыма и на дом не задано
ничего кроме лит-ры давай
пролистаем напрасного классика
и пройдемся нетрудной страной
непроспавшейся сроду негласною
непридуманною не мной

* * *

потому что душно искать ответ
в подушку уткнувшись мордой лица
выйдешь в белый свет а белый свет
на ветру покачивается слегонца

страшно сделать шаг лед на лужицах
под ногами похрустывает а ну как

там такая глубь обнаружится
и такая тьма что аукай

не аукай вовек не докличешься
никого только вдруг на лету
слышишь так переходит количество
мимо качества в пустоту

* * *

мальчик путает буквы вдыхает ночь выдыхает август во сне растет
путает времена выдыхает осень теряет смысл улетает клином
очень болит помнит море вдыхает дым подбрасывает в костер
все что осталось полынь пересохший чебрец и пригоршню глины

выдохнув за победу надо кончать войну к сентябрю пока тепло
вернуться домой где столы во дворе и тяжелые яблоки только астры
путают имена тех кому не повезло с именами тех кому повезло
всем назло отзываться на звук шагов и на просто здравствуй

* * *

глаголов два болеет и болит
так повезло что никуда не деться
вот всё из этих слов и состоит
впадая в детство

дни муторны роняющим во тьму
во тьму вернуться медную монету
и всё болит и все по одному
канают в лету

вон тот не верит что во сне кричит
а тот не знает что ответить ближним
за всю любовь есть тысячи причин
быть еле слышным

вполголоса вполголоса лететь
вдоль тополей вдоль полоумных вязов
по улице где так хотелось петь
всего два раза

когда болело и когда прошло
а больше не хотелось только долго
еще тихонько билось как назло
а толку

* * *

а еще собирались на лавочке вечером за двором
заводили долгую песню во всю весну
там про то что пора коней ковать серебром
и одну на всех пора начинать войну

там летела простая птица тяжелым днем
как быть не знала роняла слова в траву
про то что детей пора пеленать огнем
про то что время проходит как наяву

дождем понедельником шепотом как-то так
что сразу и не поймешь почему темно
там про то что кровь разбиваясь бьется не в такт
часа полтора еще или два как в кино

* * *

жрать будешь? спасибо отвечу спасибо сыт
по горло по самое некуда хлопну дверь
юг зимы что твой север лета знобит моросит
птица молчит и глядит в глаза что твой зверь

деревья сквозят с утра к своему стыду
немыслимы и невинны во весь свой рост
как дети ей-богу и вкус янтаря во рту
и к вечеру ветер какой-нибудь норд-норд-ост

но я все равно уйду а пока укрой меня
успокой поглубже со всех сторон подоткни одеяло
что снова сквозят в окне озябшими кронами
их любишь и любишь а им все мало и мало

Елена СУНЦОВА

Стороны света, тень

I

И вот брусчатка, мостовая,
здесь сумрак и сквозняк. Решайся.
Червлёной нефтью льётся ночь,
неповторима, повторима.
Три фонаря. Пологий спуск.
Я в этот глянец диабаза
уткнулась бы щекой, ладонью
его ласкала и воспела –
когда не изгородью стих,
вьюнком, лозою вьётся, вьётся,
тихонько покрывает тело
с ним примирившегося дома,
и можно даже не смотреть
потом на лица и одежды,
раз в первородной черноте
перевила, перевязала,
лишила эха, вобрала.

II

Очнуться в лёгочном дыму
напротив ёлочного сада,
среди покинутых, больных,
покрытых плесенью и снегом.
Поверь мне, я не умерла,
лепечет, шепчет ёлка, ёлка,
ведь хвоя шерсть, её теряя –
игрушки мучают, страшат –
как ты, я голой становлюсь.
Я – до рождения младенец,
в утробе канувший, пропавший,
ну, в общем, ангел. Каменея,
сухие иглы жгут лицо,
под ветром косточки крошатся,
и с кочерыжкою ствола
теперь уже не молвить слова.
Вели, как этот сад, казнить.

Елена СУНЦОВА родилась в 1976 году в Нижнем Тагиле. Окончила факультет «Литературное творчество» Екатеринбургского театрального института, в настоящее время живет в Нью-Йорке. Публиковалась в журналах «Воздух», «Черновик», «Урал», «Уральская новь», в сетевом литературном журнале «TextOnly», в антологиях «Современная уральская поэзия: 1997-2003», «Братская колыбель», «An anthology of contemporary russian women poets» и др. Автор книги стихов «Давай поженимся» (2006).

III

Прогонит и вернёт, прогонит
и снова выйдет и вернёт,
промокнувшая в темноте,
закутается плоть живая.
Он спал, и погружённый в воду
трап самолёта в горле сна
не отплывал, не удалялся,
был вроде вобранных шасси –
держал, как рыб над океаном.
Она опаздывала, ждал
и вспоминал не наказанье,
начало: перекрёсток взглядов,
в них дом пылал – не был спасён,
неосторожный пыл замечен.
Сняв туфлю, женщина спешит
по острой гальке. Кровь сочится
из зацелованной ноги.

IV

Ты видел: было убежав,
исчезнув в поисках спасенья,
обкрадывая наспех, помня,
что боль другого только льстит,
я спохватилась – и всё тише,
всё медленнее, как пластинка,
которой выключили ток,
стирая звук и замолкая,
вертелась – и остановилась.
Так сердце тихо, словно голос,
и так темно, темно, темно,
ни притяжения родства,
ни пения, ни покаянья
ты не увидишь, не возьмёшь,
как слепоту его, не тронешь.
Спасенья нет. Но ты бормочешь.
Должно помочь. Должно помочь.

V

Я не нашла другого дня,
чтоб о предательстве оставить
не память, но прикосновенье
своё в предательстве открыть,
своё молчание, а слуху
доверить пониманье сна.
Ты не нашёл другого горя,
чтоб опрокинуть и сказать:
я помню, я не изменился,

любви не вылечить огнём.
И я лечу на самолёте
и вижу города огни,
неисчислимые, как зёрна,
не находимые, как ложь,
в которой вязнет, угасает,
размазывается, намокнув,
окурок, брошенный тобой.

VI

Придёт весна, и золотой,
как спаниель под солнцем зимним,
заскачет, затанцует свет
вприпрыжку в анфиладе комнат.
Квартира в верхнем этаже,
куда он пригласил девчонку,
пришедшую тайком, бочком
взглянуть на дом его и окна,
в студенческих штанах и куртке
им узнанную у парадной,
была полна такого света.
И ей так радостно, тепло,
она как будто оказалась
в лучах сорвавшейся весны,
забытой, полноводной, новой,
и компас, найденный в кармане,
она спешит вернуть ему.

VII

Любовью – бабочкой во рту –
полузакрытыми глазами
пью неба утреннего свет,
как из реки в ладонях воду:
сосредоточенный на бликах,
живущих под лесным мостом
над безымянным истеченьем,
взгляд то и дело отвлекался,
невольно следовал, скользил
за продолжающимся бегом,
как бы желая проследить
пути искристой вереницы.
Так пробуждается, лежит,
садясь, нащупывает тапки,
встаёт, несёт себя до ванной.
Вкус холода щекочет нёбо.
Щекочет и щекочет нёбо.

VIII

Март кошкой тянется к окну,
ко сну заброшенной больницы,
за нею, слева на горе,
живёт разрушенная башня,
внизу закрытый детский сад,
он стал открытым детским домом,
его почти скрывает тополь,
который тянется, как март,
царапает стекло балкона,
шипит и роет тёплый снег,
и когти-почки выпускает.
Но птицам что! Они уходом
зимы, как звери, не больны.
Пока, разбужены землёй,
те человечий голод воют,
с чужих морей они летят
к своим осыпавшимся гнёздам.

IX

Не провожай, как навсегда,
не трогай за рукав, лоток
рискует выпасть из пакета,
в лотке сегодняшний обед:
картошка, сваренное мясо,
кусочки хлеба и батона.
Я проезжаю по горам,
стоят заснеженные ёлки,
дорога мчится под уклон,
в квартире остывает чайник,
висят носки на батарее,
тепло уходит, но хранят
тепло твои прикосновенья.
Мне снова снится, что идём
в кинотеатр, закрытый ныне,
в ладони голубой билетик
на первый утренний сеанс.

X

Пока один, пока один,
тебя не тронут ночь и память
об одиночестве. И мне
твои понравятся отъезды
из гибнущей квартиры. А
ты помнишь – кажется, апрель,
и чёрный дождь, которым город
нас помирил и свёл наутро,
и синева, земля, асфальт,

гора над прудом, тихо; ветер,
студивший нам ладони, уши
и побеждённый коньяком?
Край света, окоём свеченья –
уже без снега, но до листьев
весна, качаясь и вращаясь,
как маятник, недостижима,
как сон, где ты меня коснёшься.

XI

Смотри, как в этой темноте
мерцает время, удаляясь,
плывут в беспамятстве огни,
и в них, одни, плывём мы оба,
в объятьях этой темноты,
самой как выцветшее пламя,
как вылинявшая трава,
как выгоревший дождь под солнцем.
Туманным белым маяком
луна проглядывает рядом,
не в силах справиться с двумя
источниками света, тихо
лучом касается воды,
ища ответа в отраженьи,
забыв, что отраженье – сон,
и сон бледнеет, сон бледнеет,
а мы по-прежнему вдвоём.

XII

Неодолимо, как «прощай»,
оно лепечет: здравствуй, здравствуй,
рассказывая и опомнясь,
согревшись и огонь вернув.
Так в наводненье сходят в воду,
так переламывают хворост,
вот свет, а вот источник света,
вот стороны у света, тень –
тень, север, запад, юг, восток.
Тебе не больно? Мне не больно.
Тебе не страшно? Мне – до слёз.
Я отгадала наказанье:
я обниму, я улыбнусь
движению над головою –
сад расцветает, кот поёт,
мы просыпаемся в разлуке.
Беги, я снова не смотрю.

XIII

Дом, и не вспомнишь, как теперь назвать,
такое в нём текло, перебродило
и выгорело старым одеялом,
толкнуло и шепнуло: ты не в них,
не в меченых и рвущихся предметах
стараешься воскреснуть, и унять
коротким эхом загородных комнат
из города спасённую тоску,
закатанную в баночке вареньем,
что возят с дачи, ты же привезла,
как лакомство заморское, на дачу,
иди и тешься, вот идёт река
над листьями, покрытыми загаром,
под ласточек стежки, как на качелях,
дыши рекой, в реке наполовину –
лёг дождь на деревянные скамейки,
он шёл, и перестал, и вновь пошёл.

XIV

На крыше или на горе,
цветущей над зелёным морем,
стоишь и видишь корабли,
ушедшие за край восхода.
Земля, земля! – кричишь, не помня
того, что понял на земле,
которую забыл охотно,
как только от неё отторг
себя и спутника, с которым
взошёл, невзвидел, разлюбил.
Мне больше некого бояться
и словно нечего терять,
здесь тот же воздух, те же птицы,
не в клетках, вольно гнёзда вьют
и нас уже не замечают –
пожалуй, можно и спускаться,
теперь неважно, что одна.

XV

Иду, оглядываясь на
твой город, город, город, город,
отчаяние и парящий,
над небом вознесённый змей –
всего отчётливее видно,
как он взлетает и поёт
в потоках воздуха восшедших.
Как договаривались, ты
его не отпускаешь нитку,

и, проходя аэропорт,
я отличу от самолёта
его, поскольку змей – в одной
сияющей от взгляда точке,
а самолёты – догоняй,
не догоняй, не остановишь.
Не останавливайся, не
забудь, что я иду навстречу.

XVI

Мы будем холоду и сну,
обнявшись, радоваться, голос
померкнет, будучи зарыт
под одеяла и окончен
тяжёлой тёплою зимой,
чем ближе, тем ему ненужней
звучать, где тишина, там дом:
позвякивание посуды,
поскрипыванье половиц,
похлопыванье дверцы шкафа
здесь стали голосу равны
и пойманному сном дыханью.
Живым отсюда не уснуть,
и, улыбнувшись, я открыла
окно и выпустила дым.
Горит восток зарёю новой.
Светает, скоро рассветёт.

XVII

Он был там и вернулся, сел
и попросил густого чаю,
облокотился, протянул
ладонь, услышав дождь; окно
в соседнем доме колыхнулось,
мигнуло и пропало, он,
себя увидя, ужаснулся,
но не по-новому, закрыл
глаза – и сон его окутал.
Она была к нему спиной,
смотрела на горящий чайник,
рассказывала: в тот же день,
как ты уехал, на пороге,
под лестницей, нашла змею –
в клубок свилась, ушла тогда лишь,
когда плеснула кипятком.
Дом слушал и стонал от ветра.

12 января – 6 декабря 2008,
Екатеринбург – Нью-Йорк.

Сергей БОРОВИКОВ

Постоянный пеленг

Р.Д.Тименчик. Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века. – Иерусалим: Гешарим, Москва: Мосты культуры, 2008.

> *«Поворот «Все вдруг» (All Together) – способ выполнения эволюций, когда корабли поворачивают одновременно в одну и ту же сторону на одинаковый угол. Этот поворот характеризуется тем, что при одновременном повороте кораблей строя изменяется как направление движения, так и угол строя. При этом пеленг остается постоянным. Поворот может быть выполнен из любого строя». (К.И.Самойлов, контр-адмирал. Морской словарь. Москва – Ленинград: Государственное военно-морское издательство НКВМФ Союза СССР, 1941)*

Дать сколько-нибудь обширную характеристику столь объемной книге столь авторитетного ученого, как Роман Тименчик, я, разумеется, не возьмусь. Позволю себе разделить свой отзыв на две части – информативную и частную, связанную с моими собственными литературными интересами.

Сейчас, как никогда прежде, требуется в рецензиях аннотационная составляющая по причине недоступности большинства серьезных книг большинству заинтересованных читателей.

Семь разделов: «На окраинах серебряного века», «Эпоха «Бродячей собаки», «Заметки о Гумилеве», «Заметки о Мандельштаме», «Заметки комментатора», «Друзья», «В части «Разное».

Круг исследовательских интересов ученого известен: прежде всего и в основном Серебряный век, его люди и тексты, его сюжеты. В этот сборник вошли статьи Тименчика за годы его работы (с 1991-го) в Еврейском университете в Иерусалиме.

О них говорят и названия разделов, а вот и некоторые – статей: «Неучтенное письмо Блока», «Читатели серебряного века», «Петербург в поэзии русской эмиграции».

В книге полным-полно имен – мне, во всяком случае, или мало, или вовсе неизвестных. Что для автора принципиально: «Исполнению этой почетной, на мой взгляд, обязанности историка литературы – спасти рядового имярека – я и стараюсь учить своих студентов и аспирантов...» Он где-то цитирует (или мне самому вспомнилось) Андрея Платонова – «Без меня народ неполный». Так и история литературы, в данном случае начала и первой половины прошлого века, неполна без малых сих ее.

Прелесть книги, а конкретнее стиля и языка исследователя, в нестесненном доверчивозаинтересованном общении с читателем – не сквозь дебри омерзительного якобы только и возможного «дискурсного» литведческого воляпюка. Так, как Тименчик, писали Лотман, Чудаков... не так, что похоже, а так, что «все понятно, все на русском языке». А сколько порой не самых худших литературоведческих умов работают почти впустую, только потому, что не умеют и не желают думать о своем читателе.

Второе, не оставляющее – меня, по крайней мере – равнодушным, свойство Тименчика – это культ примечаний. Что может быть в литературоведении слаще комментария, прежде всего реального? Здесь Тименчик, с его огромным опытом комментирования, в своей стихии – изобретателен и разнообразен до виртуозности. А ведь изначальная суть, а затем и прелесть, комментария рождается из непременной добросовестности. Любопытна – и принципиальна поправка М.Л. Гаспаровым собеседника (автора книги). «Я рассказал ему уж не помню о какой не весьма значительной историко-литературной проблеме, сказал, что у меня есть два свидетельства, но, может быть, мало этого для выступления в печати.

– Да, – жестко сказал он, – должны быть три точки» («Треугольник Гаспарова»).

Теперь о том, что в силу личных интересов и пристрастий вызвало у меня замечания или вопросы.

1. Статья «Споемте, друзья?» заинтересовала меня тем, что здесь автор сравнил варианты текстов популярных «неформальных», да что там! – давно уже народных песен. Как и Тименчик, я некогда был удивлен, услышав в исполнении Гариком Сукачевым песенки «Я милого узнаю по походке» странное слово: «Ботиночки он носит «нариман», вместо «на ранту» (или «на скрипу»). Какой «нариман», откуда «нариман»? Тименчик саркастически в скобках предполагает, что имеется в виду «продукция обувной фабрики в Баку».

Но я могу объяснить происхождение загадочного слова. Сукачев взял его у Алеши Дмитриевича, который в свою очередь, у Юрия Морфесси, но, исказив. Морфесси, который пел не «на скрипу», а «на рипах», что по-украински, только с ударением на И, означает скрип башмаков.

Там же о вариантах – в общем-то бесчисленных, но у Тименчика позднейших, григорьевских «Двух гитар». Совершенно точно он указывает как на один из основных современных источников – исполнение песни тем же знаменитым русско-цыганском парижским певцом Алешей Дмитриевичем. Дополню от себя, что влияние Дмитриевича было столь велико, что Высоцкий, написав собственный вариант «Двух гитар», исполнял его – вот только не берусь судить, нарочно или неосознанно – с отчетливым акцентом русского, долго живущего за границей.

По той же статье оспорю Р. Тименчика там, когда он пишет: «В исполнявшемся им (Вертинским. – ***С.Б.***) романсе «Дорогой длинною» на слова (киевского по происхождению) поэта Константина Подревского одна строка –

Дни бегут, печали умножая,
Мне так трудно прошлое забыть

повторяет ахматовский стих из стихотворения «А ты теперь тяжелый и унылый».

Так дни идут, печали умножая.
Как за тебя мне Господа молить?

Наблюдение точное, только позаимствовал строку у Ахматовой не Подревский, а сам Вертинский, который основательно изменил первоначальный текст, дописав:

Дни идут (а не «бегут»! – ***С.Б.***), печали
умножая,
Мне так трудно прошлое забыть.
Как-нибудь однажды, дорогая,
Вы меня свезете хоронить.

«Правильный» текст Подревского пел Юрий Морфесси. Там, например, есть строфа, которую исключил Вертинский:

Да, выходит, пели мы задаром,
Понапрасну ночь за ночью жгли.
Если мы покончили со старым,
Так и эти ночи отошли!
(Как вариант: «Если уж покончили со старым, /Так хотя бы ночи те пришли!»)

Были и еще позднейшие варианты, дописывания не слишком высокого пошиба, вроде:

Пусть проходит молодость лихая,
Как сквозь пальцы талая вода.
Только наша тройка удалая
Будет с нами мчаться сквозь года.

Ошибка, скорее даже описка, Тименчика – «бегут» вместо «идут», легко объясняется тем, я думаю, что у Вертинского есть знаменитый романс-вальс «Дни бегут».

Добавлю от себя о нелепых искажениях текстов современными исполнителями. В «Дорогой длинною» в исполнении поляка Мечислава Свенцицкого, певшего репертуар Вертинского в 60-70-е годы, строка «Вы меня свезете хоронить» предстала как «Вы меня свезете на гранит»[1] – вероятно, имелось в виду надгробие. Свенцицкий эту, как и некоторые другие

[1] *Смешно, но и в изданном в Польше нотном альбоме (Aleksander Wertynski. SMUTNY PIERROT, piesni i romance z repertuaru Mieczyslawa Swiecickiego na glos z fortepianem, Krakow, 1972), слова «Дорогой длинною» (Dluga droga) тоже искажены, правда, уже в отредактированном, но не менее нелепом виде: «Как-нибудь одна ж ты дорогая вы меня ведете к грани»; зато как прелестно звучит по-польски «печальный» – «смутны».*

вещи Вертинского, пел со слуха, потому слова и коверкал. Нот же «Дорогой длинною» с его вариантом текста Вертинского и отчасти измененной им музыки Б. Фомина, насколько мне известно, тогда не существовало. Ведь сам Александр Николаевич не ставил «Дорогой длинною» в ряд собственных «козырных» вещей, таких, как «Желтый ангел», «Магнолия» или «В степи молдаванской».

По поводу последней Р. Тименчик заметил обратное (или встречное?) заимствование. На этот раз Ахматовой у Вертинского: «Словно дальнему голосу внемлю» (Ахматова, 1958), у Вертинского же «Звону дальнему тихо я внемлю» (1925).

2. Раздел «Эпоха «Бродячей собаки» вызвал у меня несколько вопросов и замечаний.

В неоконченном романе Алексея Толстого «Егор Абозов» (1915), где «Бродячая собака» изображена под названием «Подземная клюква», описано открытие подвала, и немало набросано более или менее злых[1] шаржей на многих писателей и поэтов. Среди прочих есть и устроитель «Подземной клюквы»: «его помятое, бледное лицо было все в морщинах, пепельные волосы стояли дыбом. Это был известный Иванушко, директор «Подземной клюквы». Со всеми женщинами он был на «ты». Называл их коломбинами и фантастическими существами, за что и пользовался большой благосклонностью с их стороны. Его голова была набита планами необыкновенных вечеров, немыслимых спектаклей, безумных кабаре. (...) Если бы хватило силы, он бы весь свет превратил в бродячие театры, сумасшедшие праздники, всех женщин в коломбин, а мужчин в персонажей из комедии дель арте».

[1] Когда автор предложил роман для публикации в «Книгоиздательство писателей в Москве», его отвергли, а один из руководителей издательства С.Д. Малахов (Разумовский) писал Н.Д.Телешову по поводу образа беспрестанно пишущего Волгина, чья жена, «похожая на малярийного цыпленка», жалуется Иванушке, что ее «Мишенька» много пишет из-за низких гонораров и потому не способен к выполнению семейных обязанностей: «...здесь все-таки можно найти некоторые намеки на Бунина, и ты понимаешь, ч т о из этого может выйти». А если вспомнить, что в «Абозове» так или иначе «прикладываются» Леонид Андреев, Куприн, Мережковские, А. Грин, Судейкин, Сапунов, Кузмин и др., причины отказа в издании очевидны.

В связи с «Егором Абозовым» Р. Тименчик, процитировав вышеприведенный, по его словам, «портрет Пронина», не комментируя, продолжает высказыванием на этот счет Ахматовой: «Когда этот текст был впервые напечатан спустя полвека, Ахматова заметила: «Пронин (в «Бродячей собаке») не называл дам «Коломбинами», а обращался к ним по имени и отчеству».

Тут у меня два замечания. Во-первых текст «Егора Абозова» впервые был опубликован не полвека, а 38 лет спустя, в 15 томе ПСС А.Толстого в 1953 году. Во-вторых, я еще четверть века назад позволил себе предположить, что Иванушко в «Егоре Абозове» это «гибрид Мейерхольда и Пронина (см. С. Боровиков. Алексей Толстой. М.: Современник, 1984). Разумеется, более Пронин, и все-таки толстовское стремление окарикатурить кукольно-карнавальное начало у Мейерхольда, которое, как теперь уж доказано, столь ярко реализовано в «Приключениях Буратино», присутствует и в образе Иванушки. А портретного сходства у Иванушки с Мейерхольдом (бледное морщинистое лицо, пепельные волосы дыбом) куда больше, чем с «всегда розовым» (восп. Н. Могилянского), «почти женственным» (А. Мгебров) и кудрявым Прониным. В объяснение же «коломбин» напомню, что Мейерхольд был активным участником следующей затеи Бориса Пронина – кабаре «Привал комедиантов», где возобновил специально для кабаре свою знаменитую постановку пантомимы А.Шницлера на музыку Э.Донаньи «Шарф Коломбины».

3. И, наконец, о тексте знаменитого гимна «Бродячей собаки». Р. Тименчик без оговорок называет его автором В.Ф. Крушинского (попутно отводя распространенное приписывание слов В.Г. Князеву), но даже не упоминает давно устоявшееся мнение, что автором слов был Михаил Кузмин. Которому порой, правда, приписываются лишь отдельные куплеты, порой же сообщается, что он написал песенку к какой-то «собачьей» дате. Но все же подавляющее большинство писавших или просто упоминавших о гимне «Бродячей собаки» автором слов называют Кузмина.

Инженер Виктор Феофилович Крушинский в Интернете упоминается лишь на сайтах «Возвращенные имена» и «Списки жертв», посвя-

щенных репрессированным в 30-е. В книге же Тименчика имя Крушинского возникает именно в связи с «Бродячей собакой». Он публикует воспоминания о «Собаке» жены Крушинского Б.М. Прилежаевой-Барской, которая прямо пишет об авторстве мужа. В подтверждение Тименчик в примечаниях подробно ссылается на «Первую публикацию песенки В.Ф.Крушинского» в газете «Петербургский листок» в 1912 году в статье за подписью «Р-в» – возможно Вл. Рышков». Т.е. по свежим следам.

Да, Крушинский был приятелем Б. Пронина, входил в правление «Бродячей собаки» и как бы мог быть автором слов гимна. Но, во-первых, откуда же взялось многолетнее приписывание авторства Кузмину? Во-вторых, почему отведя авторство В.Ф. Князева, исследователь ни словом не обмолвился о Кузмине? В-третьих, Крушинский не был поэтом.

У меня же есть страничка с выпиской из Архива А.Н. Толстого (хранящегося в ИМЛИ), к сожалению, без указания на номер листа хранения. Там я отметил, что к шести куплетам М. Кузмина рукою Алексея Толстого приписан еще один.

После строк Кузмина –

Чья душа печаль узнала,
Опускайтесь вглубь подвала,
Отдыхайте (3 раза) от невзгод.

Следует:

Дамы склонны на уступки,
Лишь мгновения лови.
Взволновалися голубки
От волнения в крови.
И, поднявши свои кубки,
Сокровеннейшие губки
Подставляют (3 раза) для любви.

Я тогда же на том листе сделал пометку, то ли почерпнутую там же в каком-то источнике, то ли возникшую в моем развращенном воображении, что при замене «кубки» на «юбки», куплет приобретает вполне непристойный смысл, зато оправданным становится определение «сокровеннейшие».

...Сообщу в заключение, что листочку этому 37 лет – был я тогда молод, легкомыслен, куда-то из архива ИМЛИ (впрочем, ясно куда) спешил, недорабатывая, все оставляя на «потом».

Но «потом» уже не было.

.....

Читая вступительную статью Р.Тименчика «Вид с горы Скопус», я не раз позавидовал автору, которого на предмет музыкальных способностей прослушивал в Риге сам Оскар Строк, который мог обратиться за справкой к Михаилу Зенкевичу, который был обучаем обращению с каталогом «одной из временных муз Игорь-Северянина»[1], на которого кричал Виктор Шкловский, который в беседе с Иосифом Бродским обнаружил пробелы в осведомленности того в русской поэзии и т.д. и т.д. А я, моложе Романа Давидовича всего двумя годами, так и прожил свой век безвылазно в Саратове.

Но в том же предисловии Тименчик пишет о том, что как бы само собой идет в руки тому исследователю, который не изменяет своим интересам: детали быта, чьи-то воспоминания, просто старые книги... и среди прочих примеров у него «Выглянувшая из развала на распродаже в университетской библиотеке древняя грампластинка с аргентинским танго «Эль Чокло».

А в моей жизни был дом одноклассницы, где в груде старых нот на пианино, среди этюдов Черни и вальсов Шопена, вдруг обнаружились никому, кроме меня, не нужные ноты «Эль Чокло» с обложкой в подлинном китчевом стиле 10-х годов с красавицей в блестящем, как чешуя, облегающем платье, и прильнувшем к ней сзади, обхватив под грудь, лысоватом господине во фраке, и все надписи, заставки – в оранжевых тонах танго.[2]

В части «Разное» в книге есть замечательная статья о танго, в частности о русском феномене аргентинского танца. Тименчик цитирует

[1] Тименчик везде так пишет – через дефиску, как подписывался изначально сам поэт.

[2] Между прочим, сколько, казалось бы, пустяков напоминает о том, что перед революцией Саратов был одним из главных центров Российской империи, вот и на этих нотах 1914 года издательства «Прогрессивные новости» (которое издавало и Вертинского) указаны представительства в Тифлисе, Киеве, Одессе, Екатеринославе, Ростове н./Д., Ниж. Новгороде, Вильно, Баку, Воронеже, Харькове и Саратове.

слова из Бродского о другом великом танго: «... «La comparsita» – по мне, самое гениальное музыкальное произведение нашего времени. После этого танго никакие триумфы не имеют смысла: ни твоей страны, ни твои собственные. Я никогда не умел танцевать (...) но эти гитарные стоны мог слушать часами и, если вокруг никого не было, двигался им в такт...»

А у меня – в Саратове! – это танго неотделимо от Евгения Спиридонова, фехтовальщика, старшего друга моего старшего брата, а после его смерти и моего старшего друга. Жени Спиридонова, стройного красавца-сердееда, первого и главного в городе магнитофонщика, собирателя старых граммофонов и патефонов, от которого некогда я узнал волшебное имя – «Вертинский», и с пленки которого, девятилетним, впервые услышал из-за закрытой двери комнаты брата голос – «В вечерних ресторанах, в парижских балаганах...». Жени, который однажды поделился со мной способом (мы вышли из ресторана «Волга», бывш. «Астория»), как держать твердую походку в подпитии.

– Я, – сказал мне Спиридонов, – пою про себя «La comparsita» и шагаю в такт – та-ра-ра-ра-там-там!

У него была фотография Вертинского с дарственной надписью, и он любил рассказывать, как спросил Александра Николаевича о том, написал ли он танго «Магнолия» до того, как был в Сингапуре или после, и тот ответил с гениальной находчивостью – «Пьямо в Сингапуе!»

Тогда-то собственные воспоминания, вкупе с названием книги Романа Тименчика, привели мне на ум знаменитую морскую команду «Все вдруг» (по-английски, насколько я понимаю, – «все вместе»), и ощущение того самого пеленга, верность которому можно равно осуществлять в Риге, Питере, Саратове или Иерусалиме.

Анна ГОЛУБКОВА

Путешествия во времени и пространстве

Александр Бараш. Итинерарий: Стихотворения. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – (Серия «Поэзия русской диаспоры»).

Слово «итинерарий», как любезно сообщает нам в предисловии Станислав Львовский, обозначает одновременно и путь, и путевые заметки. Оба эти значения хорошо сочетаются с полученными от этой книги впечатлениями. Ведь каждое стихотворение является здесь как бы определенной вехой на пути во времени и пространстве. Ну а путевые заметки – это жанр, весьма любимый англичанами восемнадцатого века, подробно описывавшими свои путешествия – то, что они увидели, и то, что они почувствовали, когда это увидели. При обращении к опыту английской литературы, конечно, никак нельзя миновать Лоренса Стерна и его «Сентиментального путешествия по Франции и Италии», легкой и ироничной пародии на такого рода заметки, вернее, даже не столько пародии, сколько демонстрации скрытых возможностей и испытания положенных границ привычного жанра. И это сопоставление также не случайно, потому что «Итинерарий» Александра Бараша как раз и является таким вот сентиментальным путешествием, своеобразным продолжением его прошлой прозаической книги «Счастливое детство» (НЛО, 2006). Обе эти книги хорошо дополняют друг друга. Особенно любопытно, что в них через лирическое «я» автора представлены и как бы общая точка зрения целой эпохи, и конкретный взгляд одного человека с совершенно определенной биографией. В этом смысле обе книги являются весьма интересным сочетанием личного и публичного, и обе они странным образом – потому что такая цель автором, вроде бы, и не ставится – создают живой и яркий образ эпохи конца семидесятых – начала восьмидесятых годов.

И здесь уже лично для меня как читателя возникает опасность какого-то основополагающего несовпадения ощущений – ведь в моем собственном опыте многие вещи прочитываются совершенно по-другому. Например, в стихотворении «Вормс» Бараш сравнивает впечатления от нового города с переживанием молодости: «с головной болью от остроты предчувствия / того, что вот совсем скоро и вообще – как будто предстоит». У нашего же поколения, в сущности, не было никакой молодости, нам ничего не «предстояло», оканчивая

университет в девяносто пятом году, ты словно упирался в глухую кирпичную стену, потому что все твое будущее тут же на этом и заканчивалось. Юность была у нас порой не столько надежд, сколько страхов и тотальной экзистенциальной неуверенности. Отрезвление наступило сразу, этого долгого и неторопливого пути от юности к зрелости, о котором пишет в своей книге Александр Бараш, у нас, в сущности, не было. И в этом отношении, конечно, «Итинерарий» прочитывался бы мною как некая совершенно «марсианская» книга, если бы не одна точка, в которой наши маршруты совпали. Ведь именно в возможности посетить то же самое место и сравнить свои ощущения с уже описанными и состоит, на мой взгляд, особая прелесть путевых заметок. И потому книгу «Итинерарий» я начала читать не с начала, а с цикла «Родос», потому что именно этот замечательный греческий остров мне случилось посетить в прошлом году.

Первое стихотворение этого маленького цикла начинается следующим образом:

> Две-три железных скамьи на разогретом
> солнцем асфальте
> между зеленой водой мелководья
> и проезжей улицей
> с дельфиньими мордами автомобилей
> выложенными
> на подоконник тротуара – променад
> в старой части родосского порта

И сразу же возникает чувство узнавания – да-да, именно так оно и было! И морды автомобилей там – именно дельфиньи, потому что остров маленький и на нем преимущественно используются крутолобые малолитражки. А вот дальше – за прогулочными яхтами и катерами, там, где в стихотворении возникает «cross-cultural промежуточность в средиземноморском соусе» – начинаются различия. Непосредственные впечатления и переживания у Бараша тут же остраняются и вписываются в определенный культурный контекст, фактически сразу же становясь точно такими же культурными объектами. И потому вот этой небольшой прогулки по набережной поэту вполне хватает для того, чтобы у него сразу же получился образ средиземноморского города, стоящего на грани разных эпох и культур. Я же, немедленно влюбившись в старый город с его серыми квадратными домами, с его мощными стенами, с остатками оборонительных сооружений, напоминающими романы Вальтера Скотта, несколько дней бродила по узким, похожим на тропинки улицам, пока наконец все впечатления не слиплись у меня в один громадный ком, до которого я до сих пор почему-то несколько опасаюсь дотрагиваться.

Еще интереснее в этом отношении последнее стихотворение, описывающее дорогу к акрополю «под солнцем по слепящим плитам». Поэт идет по ней и думает о разнице культур – «то что для нас цель для них было средством – / красота которая спасла миф». А потом вдруг оказывается, что до акрополя путешественники так и не дошли, и это очень символично – ведь античная простота и стройность, конечно же, для современного человека не достижимы. Впрочем, если бы все-таки дошли, то увидели бы, что от античности там остались только прямоугольники раскопанных фундаментов, колючие кусты и небо. Все остальное – и маленький театр, и стадион, и три угловые колонны – это современная реконструкция, что, в общем-то, в своем роде тоже весьма символично – такой вот бетонный муляж античности, около которого с удовольствием фотографируются жизнерадостные европейские туристы. В целом же этот небольшой цикл стал для меня своеобразным ключом ко всей книге. Именно после него стало понятно, что для Бараша не дойти и не увидеть столь же важно, а быть может, даже и более важно, чем дойти и увидеть, и что все происходящее здесь и сейчас поэт непременно рассматривает в свете мировой культуры и истории – как отражение прошлого и одновременно – намек на будущее.

Не случайно, наверное, книга «Итинерарий» открывается стихотворением «Левант», в котором, на мой взгляд, наиболее полно проявлена эта идея постоянного движения из настоящего в прошлое и обратно. Стихотворение начинается с намеченного несколькими чертами пейзажа, отталкиваясь от которого, взгляд поэта тут же уходит вглубь истории: «Во времена расцвета это был порт / столицы Саронской долины, увядшей, / когда Ирод построил Кейсарию». И вот на этом многове-

ковом культурном фоне идет разговор «о родной литературе, о соратниках и соперниках, о том, что это одно и то же». От этого удивительного – особенно для бывшего советского человека – сочетания привычной беседы и абсолютно иного (в данном случае имеется в виду – несоветского) окружения в лирическом персонаже происходит глобальная перемена – море, которое раньше было для него символом господства «чужих сил», «толпы», «духоты», становится вдруг пушкинской «свободной стихией»: «всё ожило, задышало, заиграло». В стихотворении одновременно присутствуют сразу несколько временных пластов – это и раннее утро на побережье, и экскурс во времена расцвета древнего порта, и возвращение в детство – к торфяным прудам Подмосковья, и воспоминания о поездках на черноморское побережье, и многочисленные литературные разговоры в разных районах Москвы и на подмосковных дачах. Соединяют же эти различные точки беседы о литературе – «то, чем мы на самом деле жили всю жизнь» – и море – сначала нелюбимое и нежеланное, а затем – вдруг «вернувшееся» к поэту после бессонной ночи в Леванте.

В конце уже упоминавшегося стихотворения «Вормс» поэт замечает: «Те, кто был здесь лет восемьсот назад, похоже, / говорили об этом же, на том же самом месте». Вечная повторяемость, вечное возвращение так или иначе проглядывают сквозь все стихи Александр Бараша. Одни и те же разговоры ведутся и на московских кухнях, и на узких европейских улочках, и на берегу Средиземного моря. Все повторяется, меняется лишь отношение наблюдателя – в сущности, все события происходят не вовне, а исключительно внутри поэта, медленным и неторопливым взглядом созерцающего то, что происходит вокруг него. Эта позиция наблюдателя до предела усиливается в стихотворении из цикла «Источник отшельника», в котором воспринимающее сознание устранено или, скорее, стремится почти полностью устранить себя из созерцаемого:

Важно ли, что я думаю при этом?
Вот – вода зимой пробивает себе дорогу
сквозь обвалы и камни. Сколько гула
и мути!
Потом здесь пусто и тихо – а она мерцает
продленной точкой слиянья моря и неба.

Здесь представлен взгляд вневременной, очищенный от всего случайного и преходящего, в результате в стихотворении происходит как бы оголение сущности вещей и явлений. Но этот вектор – от частного к самому общему – у Бараша также далеко не единственный, потому что в книге есть стихи, совершающие обратный путь – в прошлое, к самым мелким и незначительным его подробностям.

В стихотворении «Через сорок лет я оказался у той же...» поэт сожалеет о том, что этот путь в прошлое не может быть «автоматическим», что не существует своеобразного «экзистенциального автопилота», который помог бы ему вернуться на сорок лет назад. Впрочем, для читателя таким вот автопилотом как раз и оказываются стихи Александра Бараша, в прямом смысле слова воскрешающие давно исчезнувшую атмосферу. Для человека, эту эпоху не заставшего, точность воспроизведения подтверждается перекличкой с произведениями совершенно другого автора – прозаика Сергея Солоуха. Если с одной стороны взять рассказ Сергея Солоуха «Господин из Сан-Франциско», а с другой – первую часть стихотворения Бараша «Кофе у автовокзала», то можно увидеть, что в некоторых деталях они практически совпадают, но самое главное – в них определенным образом перекликаются атмосфера и настроение. Это же сходство – но уже на более тонком и сложном уровне – просматривается в рассказе «Свет» (цикл «Естественные науки») и в стихотворениях «Кастель», «В первые минуты...», «Наступило лучшее время нашей семьи...» и др. Переживание хрупкости и неповторимости мгновения, возвращение в детство – чужое и одновременно не вполне чужое, уважение и внимание к чувствам маленького ребенка и постоянные отсылки к экзистенциальному смыслу происходящего являются общими для обоих авторов. Более того, очень интересные переклички наблюдаются даже на уровне стиля и интонации. В стихотворении «Сад», завершающем книгу «Итинерарий», Александр Бараш пишет:

В окнах веранды висела гладкая сквозная
шпалера сирени,
ее на всякий случай имитировали
полотняные грубо-кружевные занавески,
шелестя на жарком сквозняке над круглым
обеденным столом...

А вот, к примеру, фрагмент из рассказа Сергея Солоуха «Степь» (цикл «Картинки»): «Нежаркий, ласковый летний денек полон пузырьками восторга, как стакан лимонада. По безлюдным, субботним линейкам удаленных от центра улиц, бегунком, карандашом проносясь, можно чертить лишь одни невозможно идеальные прямые». Разумеется, здесь нельзя говорить ни об уподоблении, ни даже об отдаленном сходстве, но лишь о направленности взгляда, выбирающего из окружающего чем-то похожие объекты, которые непременно затем показываются через «тактильные и обонятельные» (определение Солоуха) ощущения автора. Именно эта поразительная перекличка интонаций и позволила мне вжиться в образ вроде бы близкой, но совершенно уже незнакомой эпохи...

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

По-хлестаковски, но без хлестаковщины

Хлестаковский сборник / Под ред. В.В. Прозорова. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 2009

Сборник, вышедший по материалам Первых хлестаковских чтений, прошедших в Институте филологии и журналистики Саратовского государственного университета 31 марта – 1 апреля 2008 года, посвящен сразу двум юбилеям – 200-летию со дня рождения Гоголя и 100-летию СГУ. Из-за чего может быть и распадается, двоится по качеству материала и своим научным и художественным задачам. С одной стороны, это добротно составленный сборник статей со всеми соответствующими атрибутами: непременным перечнем ссылок на научные труды коллег и первоисточники, списком рецензентов и классической схемой большинства материалов – вступление, основная часть, вывод; с другой стороны, это стихи, пьесы, скетчи и «Народная история Хлестаковского фестиваля» с хроникой, выполненные в духе студенческого капустника и таковым по сути и являющимся. Стоит отдельно упомянуть качество полиграфии сборника, офсетные бумагу и печать, крылатые слова Ивана Александровича Хлестакова с портретом автора на обложке – все это сделано на самом высоком уровне, хотя и не без некоторого переизбытка.

Что касается содержания научной части, то оно весьма любопытно. Диапазон исследований этого сборника впечатляет и рассчитан не только на узкие филологические круги: от роли цитат из Карамзина в «Ревизоре» Гоголя (В.Ш. Кривонос) до влияния Ивана Александровича на новейшую массовую литературу (М.А. Черняк). В последней упомянутой мною работе есть много интересных, хотя и спорных соображений о современных литературных технологиях, в частности рассматривается такое сложное явление, как «литературный проект», связанное с именами Акунина, Гурского и др. Не забыт составителями и Саратов – ««Литературно-краеведческие предположения» содержат две взаимосвязанные, хотя и не во всем друг с другом согласные версии принадлежности Хлестакова земле саратовской» (из «Предуведомления»).

К этому разделу можно отнести и небольшую статью А.В. Раевой «Саратовские психофутуристы», воспроизводящую историю этой мистификации, сейчас многими подзабытую. Действительно, был такой литературный факт, остался в истории футур-альманах «Я», пародийность которого не отменяла довольно высокого уровня художественных материалов и всей стилизации в целом. Недаром так легко купилась на розыгрыш литературной группы «Многоугольник» в легендарном 13-м году саратовская публика... Вообще, так и тянет сказать (видимо, сама тема что-то будит такое на ментальном уровне), что классик угадал с малой родиной своего героя. Как тут не вспомнить «легкость в мыслях необыкновенную» многочисленных политических персонажей Саратова, равно как и паноптикум местных чиновников, в том числе и от литературы. Ведь до сих пор бессмертное «Я с Пушкиным на

дружеской ноге» – вместо фамилии Александра Сергеевича можно легко подставить любую актуальную на данный момент – служит универсальным ключом для дверей множества правительственных кабинетов с вечным вопросом о трехстах рублях.

Но, разумеется, место прописки И.А. только в шутку может принадлежать одному какому-то городу. Хотя, памятуя об истории со столицей Поволжья, в недавнем времени завершившейся вполне официальным признанием в качестве таковой Нижнего Новгорода, неплохо было бы, что называется, застолбить этот бренд, для чего, собственно, этот сборник и станет наверняка крайне необходимым документом.

Возвращаясь к содержанию «Хлестаковского сборника», следует отметить, что, несмотря на небольшую перенасыщенность, отпугивающую внешнюю парадность издания, составителям и авторам сборника удалось поговорить о серьезном легко, по-хлестаковски, но без хлестаковщины.

Олег РОГОВ

Ностальгический бардак

Алексей Колобродов. Алюминиевый Голливуд. – Саратов, 2009.

Лучше поздно, чем никогда. Интересный нестоличный прозаик – всегда редкость и, честно говоря, мне было жаль, что Алексей Колобродов с головой – да больше, чем с головой, это уже какое-то подводное плавание – несколько лет назад окунулся в журналистику, сначала просто, потом теле-.

Но вот и книга, в которую вошли, преимущественно, тексты конца 90-х – начала 00-х, опубликованные ранее в разных периодических изданиях. Сам автор во введении так характеризует это издание:

«Книга получилась ностальгической, но не запоздавшей; к аромату эпохи примешивается привкус воспоминаний – это всегда хорошо. Собственно, аромат эпохи, по моей задумке, и должен стать в ней главным (...) Давно нет и у меня амбиций сделаться Русским Писателем, а как автор я состоялся давно, и не в книгах. Автор я не придумывающий, а записывающий».

Бурная первая молодость осела в его прозе сотнями историй, которые, действительно, гораздо лучше характеризуют эпоху, нежели сухая газетная периодика тех лет. Что нам до панков, алкашей, бандитов и работяг, рассказами о которых забиты под завязку его тексты? Ан нет, проза, само собой, замыкает эти рассказы о событиях в смысловые кольца, наделяя героев Судьбой, которая может проявиться только в художественном произведении.

Автор выступает то от первого лица, то надевает кафтаны рассказчика разных покроев, то уходит в карнавальные культурологические изыскания. Колобродов жаден, его вязкие предложения не хотят заканчиваться, множатся придаточные, попутно прихватывая вороха метафор и смыслов.

Тексты, включенные в книгу, различны и по жанровой принадлежности. Колобродов пишет во введении, что фельетоны на некогда злободневные темы – два из них включены в книгу – превратились в полноценные short-story. Пролистав эти тексты, я засомневался – а стоило ли добавлять известных специй в бочку мёда? Но, углубившись в чтение, понял, что автор по-своему прав, во всяком случае, в констатации факта переноса сиюминутного сарказма в бесконечный вектор собственно прозы, осуществленного перевода опостылевшей реальности в игровой локус художественного текста. Определил я это просто – поймал себя на том, что так и не вспомнил фамилию главного героя одного из этих этюдов, бывшего спикера саратовской областной Думы, пока автор не подсказал её цитатой из Державина.

То ли я забывчив, то ли жизнь слишком стремительна. Впрочем, одно другому не мешает.

Ефим ВОДОНОС

В тени отца

Валерий Родос. Я – сын палача. Воспоминания. – М.: ОГИ, 2008 . – (Серия «Частный архив»).

Это вовсе не воспоминания об отце, о котором автор может вспомнить немногое. Он сразу же предупреждает, что речь ведет о себе.

Ему захотелось написать «нестрашную книгу о том, как в стране, которая пугала весь мир и так ценила палачей, было жить сыну одного из них, уже расстрелянного». Акцент однозначно поставлен на «Я». И все же: «Вся моя жизнь, как в непреодолимой для меня пропасти, – в глубокой тени моего отца, его жуткой судьбы». Не берется судить его, оговариваясь, что он не историк, а сын, настойчиво напоминая, что эта книга о нем самом, но... «с давящей славой отца за плечами».

Отец автора – Борис Родос, заместитель начальника следственного отдела по особо важным делам – не самая важная, но достаточно значимая персона карательных органов сталинской поры: «В этой человекогубилке мой отец работал ответственным, старательным, рубящим винтом по переломке самых партийных, самых беззаветных. Он старался работать хорошо. Хороший палач – палач-изувер. На это его пригласили. За это его расстреляли».

Дети полковника Б.В. Родоса учились в престижной школе вместе с отпрысками самых видных руководителей страны – ее окончила и дочь Сталина. У него была прекрасная московская квартира, которая досталась затем палачу более знаменитому, генерал-лейтенанту Рюмину, организатору позорного «дела врачей», по смерти Сталина расстрелянному. А самого Б. Родоса сразу после войны понизили: отправили начальником следственного отдела МГБ Крымской области. «Опыт передавать. Молодых палачей ремеслу учить». А потом и его уничтожили.

С годами, когда отчетливее высветилась роль иных репрессированных политиче-ских деятелей в становлении и укреплении тоталитарной власти, мучительным для их потомков остался вопрос: снимается ли доля вины с предков за соучастие в преступлениях режима, если сами они стали затем его жертвами? В. Родос, не открещиваясь от отца, ни на мгновение не сомневается в его персональной вине.

В докладе на XX съезде КПСС Н.С. Хрущев, говоря о злодеяниях сталинской по-ры, назвал именно Бориса Родоса, который должен был выбить признательные показания из Косиора, Чубаря и Косарева. И хлестко характеризовал его: «Это – никчемный человек, с куриным кругозором, в моральном отношении буквально выродок». Но стоит только всерьез задуматься, сколько же подобных, «никчемных выродков, садистов с куриным кругозором» оказалось на достаточно высоких постах в стране, чтобы увидеть действительную причину повальной готовности к палачеству не в их врожденной склонности к садизму, а в чем-то существенно ином.

В. Родос пишет: «Все газеты писали о нем: «Палач по призванию». Ну да! По призванию комсомола». И еще: «Когда моего молоденького отца по комсомольскому призыву брали на службу в молоденькое, но уже с рождения кровавенькое ЧК, он, наверное, мечтал, что с горячим сердцем, с чистыми-то руками в передовом отряде будет строить светлое будущее всего человечества. Он слишком поздно понял (или вообще не понял), что служил дьяволу, которому нужны были не чистые, а кровавые по локоть руки и остылое сердце. (...) Как сын я уверен, что отец в палачи, в каты пошел именно как комсомолец, и в этом грех его, а не потому, что природный садист».

Не знаю, читал ли Валерий Родос книгу Дмитрия Панина (прототип солженицын-ского Сологдина) «Лубянка-Экибастуз». Ее автор тоже напряженно раздумывал, откуда набралось столько следователей-садистов: «В сталинской деспотии можно было навербо-вать десятки, если надо сотни тысяч палачей. Сама технология вербовки была упрощена до предела. Вызывали в райком, спрашивали: – Ты советский? – Да, конечно. – Партия и правительство поручают тебе чрезвычайно важное задание: работу в «органах». Посмеешь возразить – и ты чужой, классовый враг. Тогда начинали пугать, стращать, и восемь из десяти соглашались».

В главе «Политический маятник» Родос размышляет об имманентных свойствах тоталитарного режима, об увлеченности им множества людей и заведомой его обреченности. Объясняет и причину собственной неспособности разделить этот массовый энтузиазм: «В марксизме – все объясняющая спираль. (...) Я ничего не имею против спирали. Против круга, сферы, квадрата, всей геометрии в целом. Я против чего бы то ни было одного. Когда это одно противополагается всему другому, предпочитается ему».

Почувствовать во всей полноте реальную ситуацию эпохи, сделавшей специальность палача достаточно массовой, не так уж и просто. «Более пятидесяти лет подряд я практически ежедневно с пристрастием спрашиваю себя: а я? Я сам откликнулся бы? Хватило бы сил отказаться от призыва сатаны? Нынешние легкодумы, зная, что было, что произошло, гордо заявляют: да мы бы, да никогда бы! А я не знаю исторических случаев отказа». «Случаи» такие, конечно, были. И нередко с понятными последствиями не только для самого отказавшегося, но и для его семьи.

В. Родос сполна получил свое: и тюрьму, и лагерь, но не «грехи отцов», а как создатель еще в школьные годы политической партии с программой и уставом, переработанными на основе комсомольского. Сколько подобных групп молодых ленинцев возникало тогда по городам и весям огромной страны! Тюремный, этапный и лагерный опыт, естественно, в чем-то изменил его, но не притупил жадного интереса к жизни. Напротив – обострил наблюдательность и аналитические способности. Тем более что времени для раздумий было достаточно. На пересылках он оказывался порой в камере смертников: со взрослыми политическими «малолетке» находиться не положено, так же как и с уголовниками. Других свободных помещений не было. Да и общение со сверстниками духовно обогащало: «Молодежь лагерная была все-таки не вполне обычной, не первые попавшиеся с улицы люди. Народ социально активный до агрессивности».

Запомнился ему специалист по чифирю, талантливый питерский поэт Михаил Красильников, старший товарищ юного Иосифа Бродского: «Вот город мой, его величество, / Домов несметное высочество, / Толпы орущее количество / И одиночество». А в камере довелось увидеть немыслимое для него кощунство: один из зэков на газетном портрете выколол булавкой Ленину глаза: «Нынешние молодые едва ли меня поймут, но до этого момента, несмотря на арест и расстрел отца, три суда, камеры, допросы, я был еще сала-гой необученным, вовсе не антисоветским, а насквозь советским, просоветским ребенком, патриотом. Ни о каком другом будущем для всего человечества, кроме коммунизма, я и не мечтал». И достигнув почтенного возраста, он говорит: «Я до сих пор выдавливаю из себя советскость. И с сожалением замечаю, что насквозь пропитан ею». Думается, в той или иной степени это ощущение многих людей старшего поколения: за автобиографией автора проступает биография эпохи.

Персонажи книги В.Родоса: от мимолетных знакомых – до преданных друзей, от случайных приятелей или соседей – до лиц, общественно значимых: В. Асмус, А. Зиновьев, Ю. Гастев, Г. Каспаров, Э. Неизвестный, В. Налимов, Э. Ильенков. Внимание, которое уделяется автором каждому, не зависит от их статуса, но лишь от степени значимости в жизни мемуариста. Иные портреты написаны сочно и полнокровно, другие обозначены буквально несколькими штрихами.

Он как будто с пониманием относится к вынужденному конформизму (по его терминологии – прохиндеизму) представителей научной элиты, сформированной жестоким временем: «Следует стараться не винить граждан в том, к чему их принуждает страна. Слишком высока планка порядочности. А не все могут, не все в состоянии обливать себя керосином на Красной площади. Семья, мечты, страх, надежды... Виновато общество, государство, выдвигая такие непосильные для человека требования». Иногда он как будто готов оправдать слишком уж многое, и только контекст проясняет истинное его отношение к человеку. Так, например, он характеризует бывшего декана факультета: «Паскуда, конечно, в прошлом, но я никого не виню. Страна такая, запросы такие, такие социальные заказы. (...) А для нас этот мужик был вполне хорошим, как охранник Освенцима для своей семьи, как мой отец для меня».

Валерий Родос не идеализирует и себя самого, тоже вынужденного как-то приспосабливаться уже в другие, пусть не такие страшные, как в пору сталинщины, но не столь уж безопасные годы. Он посмеивается над тем, как с детства стыдился своего косоглазия и своего еврейства, как тормозила его свободолюбивые порывы мысль о возможном повторении тюрьмы и лагеря, не слишком-то восторженно отзывается о подготовленной кандидатской диссертации: «В моей диссертации не было открытия, рядовая работа. Пространное за-

явление с просьбой о повышении зарплаты, как сказал один остроумец». Валерий Родос и снисходителен, и строг к себе, как и к другим.

С одним только утверждением никак не могу согласиться: «Со смертью КПСС на убыль пошло искусство публичной демагогии». Увы, искусство это процветает и ширится, но только теперь уже на многих путях. И прежних «виртуозов» давно превзошли нынешние. Только оторванность от нынешней нашей жизни както объясняет такое, несколько странное для столь проницательного автора, замечание. Но это нисколько не меняет общей высокой оценки его слегка ироничных и пронзительно горьких воспоминаний. Утверждают, что «линза времени искажает оптику мемуариста». В данном случае этого не произошло: Валерий Родос сумел удержаться от конъюнктурного «редактирования прошлого», сохранив былые впечатления в почти первозданной свежести. Ему веришь.

Роман АРБИТМАН

Дети профессора Т.

Джон Толкин. Дети Хурина. -- М.: АСТ, 2008.

Смерть автора – не помеха для выхода его новых произведений. Хотя создатель «Властелина Колец» и «Хоббита» Джон Толкин ушел из жизни еще в 1973 году, его «Сильмариллион» был благополучно выпущен через четыре года после его кончины, а «Дети Хурина» – вторая из посмертных книг – и вовсе увидела свет на родине ав¬тора только в 2007 году.

Кристофер, сын профессора, главный его толкователь и публикатор, сообщил, что Толкин-старший работал над этим сочинением еще с 1918 года, постоянно возвращался к нему, но так и не завершил работы. Сыну потребовалось три с половиной десятилетия, чтобы расшифровать все черновики отца, свести воедино, подредактиро¬вать, кое-что дописать от себя, чтобы получилось более-менее связное и логически непротиворечивое повествование.

Те читатели, кто надеялся найти здесь полюбившихся персонажей из мира Средиземья (красочно воссозданного в известной кинотрилогии Питера Джексона), будут, пожалуй, несколько разочарованы: действие происходит в Древние Дни, то есть за тысячи лет до рождения Фродо и компании. В роли главного злодея (в которой позднее отличился Саурон) выступает еще почти доисторический Моргот. Именно проклятье Моргота, обрушившееся на плененного Хурина, в итоге предопределяет будущее его детей – сына Турина и дочери Ниэнор.

«Исполненный гордыни, но не чуждый милосердия» Турин чередуют поступки героические с опасно-безрассудными. Он убивает врагов осознанно, а друзей – по оплошности. Сколько бы подвигов ни со¬вершил Турин, сколько бы ошибок ни наделал, сколько бы имен по ходу повествования он ни поменял, рок все равно окажется сильнее человека. Если бы герой чуть меньше верил в судьбу и чуть силь¬нее пытался ее перебороть, трагического финала, быть может, уда¬лось бы избежать. Но законы жанра неумолимы. Толкиновский эпос (как, впрочем, и греческие трагедии, и скандинавские мифы) не знает понятия «хэппи-энд».

Иван КОЗЛОВ

Три независимых режиссера в ожидании Оскара

Миллионер из трущоб

Контркультурный имидж навсегда прикипел к Дэнни Бойлу. Это как ожог, который не поддается косметическим ухищрениям. Бойл может снимать откровенный и циничный мэйнстрим – и всё равно публика будет прилежно выискивать в его лентах альтернативный месседж. Что, в общем-то, неудивительно для режиссера, прославившегося такими лентами, как «На игле» и «Пляж», в немалой степени это было связано с литературной основой фильмов – книги Ирвина Уэлша и Алекса Гарленда адресованы вполне продвинутой публике.

В основе нового фильма также лежит книга -- роман индийского писателя Викаса Сварупа «Вопрос – ответ». Режиссер, впрочем, скорректировал некоторые весьма существенные для восточных жителей политические координаты, приблизив сюжетные линии к привычной для Запада картине мира, например, поменяв местами жертв индусско-мусульманских столкновений.

Фильм этот достаточно жесткий. В нем есть и дикая нищета, и произвол полиции, и детская эксплуатация – из бездомных бродяжек делают профессиональных нищих, лишая их зрения. Неизбежные отсылки к ставшим популярным в последнее время эпопеям о национальной специфике бандитизма (вспомним такие разные фильмы, как «Однажды в Америке», «Город бога» и «Бригада») какое-то время ведут экранное повествование по накатанной колее. Но выбранный Бойлом киноязык не обманывает, фильм то и дело подмигивает зрителю, напоминая, что перед ним, хоть и жестокая, но сказка и счастливый конец неминуем.

Сюжет, действительно, гениален. Оказывается, тот телемусор, что фоном присутствует в нашей жизни, может в один прекрасный день сыграть роль волшебного ключа, которым открываются навсегда, казалось бы, захлопнутые двери, через которые ты прошел за годы своей жизни.

Подросток участвует в телеигре и дает правильные ответы на вопросы, поскольку те имели прямое касательство к его биографии, причем, в самые поворотные ее моменты. В кадрах, посвященных этой игре, индийской версии интернационального шоу «Кто хочет стать миллионером?», мы присутствуем при чудесном преображении, которое заключается в том, что обычная человеческая жизнь вдруг обретает контекст – наверное, взыскуемый всеми живущими на Земле. Начала и концы совпадают, всё было не просто так, жизнь, при её жестокости и невыносимости, оказывается, устроена разумно и наполнена смыслом. Все долгие годы она шла к этому мгновению, чтобы найти разрешение в своей высшей точке.

Вопреки ожиданиям, оказывается, что речь идет вовсе не о деньгах -- герой решил участвовать в игре, чтобы напомнить о себе любимой, которая и отвечает на разрешенный в телешоу последний звонок. Верный ответ даётся наугад, хотя и связан напрямую с первыми кадрами этого фильма. Круг замкнулся, теперь можно спеть и сплясать, пока по экрану ползут титры.

«Миллионер из трущоб», как это часто бывает с новичками-фаворитами, сразу же попал в список 250 лучших фильмов всех времен и народов самого большого и самого «народного» сайта IMDB.com, заняв там аж 47 место (по данным на 7 апреля; на 11 апреля – уже 48 место). Впрочем, любовь публики бывает недолгой, и в таких случаях фильм быстро выбывает из списка, оставляя на первых местах безусловные шедевры прежних десятилетий.

Загадочная история Бенджамина Баттона

Дэвид Финчер, сделавший себе имя такими мощными и бескомпромиссными лентами, как «Бойцовский клуб», «Семь», «Игра», «Зодиак», экранизировал новеллу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, превратив короткую историю (текст занимает чуть больше авторского листа) в сценарий с сотнями страниц, который, в свою очередь, вылился в почти трехчасовой фильм.

Соблазн «большого стиля» сыграл с Финчером злую шутку. Попытка превратить шутливый и абсурдный рассказ в эпическое философское кинополотно оказалась малопродуктивной. Как результат – фильм, позиционировавшийся как фаворит «Оскара», уступил все основные номинации «Миллионеру из трущоб», оставив себе довольно второстепенные премии («Лучшая работа художника», «Лучший грим» и «Лучшие визуальные эффекты»).

Режиссер перенес действие на полвека вперед и выбросил все гротескные эпизоды, которые расцвечивают новеллу Фицджеральда: Баттону присваивают звание генерала, хотя в его системе временных координат он – подросток; восемнадцатилетнего героя не принимают в университет, так как он выглядит на все пятьдесят. Да и любовная история у Фитцджеральда, в отличие от обреченной романтики фильма Финчера, решена, скорее, в комическом ключе.

«Чтобы было всё понятно
надо жить начать обратно», --

писал Александр Введенский. Эту возможность получил герой новеллы Фицджеральда и фильма Финчера. Ребенок, рождающийся стариком в 1918, последнем году Первой мировой войны, и умирающий ребенком в 2005, когда за окнами бушует катастрофа Нового Орлеана.

Гримеры и мастера визуальных эффектов действительно, постарались и заработали свой Оскар. Финчер делал дубли как с Брэдом Питтом, который исполнил главную роль в этом фильме, так и еще с шестью актерами (каждый – в своём возрастном сегменте), накладывая на них затем лицо Питта, «ряд волшебных изменений» которого должен был придать этой фантасмагорической истории хоть какое-то правдоподобие.

Серьезного кино не получилось. Зритель, скорее, испытывает чувство недоумения, участвуя в качестве наблюдателя в рискованном и затянутом эксперименте. Заметим, что отечественный зритель принял эту ленту весьма прохладно еще и потому, что Мурманск времен Второй мировой войны, куда занесла героя нелегкая судьба, мало похож на российские города, равно как и его население, мягко говоря, отнюдь не напоминает советских солдат.

Ни на секунду не веря герою и не сочувствуя ему, зритель облегченно вздыхает, когда возрастные границы двух главных персонажей совпадают, и между ними начинается недолгий, но счастливый роман. Батон вовремя уходит, когда начинает непоправимо молодеть, в отличие от героя Фицджеральда, который на равных возится в песочнице со своим внуком. Последние кадры фильма, когда герой умирает в младенческом возрасте на руках своей престарелой супруги производят, скорее, комический эффект и мы начинаем думать – а не издевается ли над нами режиссёр? Может быть, вся трехчасовая эпопея – это на самом деле безудержный стёб? Нет, всё по-правде. Что ж, тем хуже.

Харви Милк

Гас Ван Сент снял не только такие знаковые для авторского кинематографа ленты, как «Мой личный штат Айдахо» и «Аптечный ковбой», но и вполне мэйнстримовые – и коммерчески успешные! – ленты, как «Умница Уилл Хантинг» и «Найти Форрестера». Мэйнстримовые настолько, что, как и в случае с «Загадочной историей Бенджамина Баттона», невольно ищешь в них иронический подтекст. Напрасно, режиссер играет честно – артхаус тут, столбовая дорога Голливуда – там, и им не сойтись. Так казалось до тех пор, пока Ван Сент не снял «Харви Милка».

Дело в том, что и «Хантинг» и «Форрестер» резко выбивались из довольно стройного киноряда лент режиссера. Не только сюжет, но и сам киноязык отличались от артхаусных работ Ван Сента. В «Харви Милке» режиссер

попытался совместить вполне традиционный байопик и довольно свободную киностилистику. Временами они вполне адекватны друг другу, иногда кажется, что смотришь кино, которое снимали два разных режиссера.

Особенно это заметно, когда вспоминаешь последние фильмы режиссера – трилогию отчуждения («Джерри», «Слон», «Последние дни») и недавний «Параноид-парк» с их визуальным буйством и экзистенциальной глубиной. И вот – перед нами киноповесть об общественном деятеле и скандальном политике. Остаётся только удивляться мастерству Ван Сента, который может имитировать стилистики, нужные в момент производства данного фильма.

«Харви Милк» также претендовал на Оскара, но получил не Самую Главную Статуэтку, а призы за лучший сценарий и лучшую актерскую работу. Второе решение жюри сомнений не вызывает – Шон Пенн в роли гей-активиста демонстрирует, что ему по плечу любая роль и его актерский диапазон практически безграничен. Заметим, что это его второй Оскар лучшего актера, первый был получен за роль в фильме Клинта Иствуда «Таинственная река» пять лет назад.

Шон Пенн умудряется быть убедительным даже в лобовых пропагандистских сценах, когда участники стихийно оформившегося движения ведут себя, словно персонажи романа Горького «Мать». Впрочем, пафос к концу фильма снижается, когда его герой начинает вести себя как вполне сформировавшийся политик, склонный к компромиссам и взаимным уступкам в обмен на нужные ему законопроекты. Да и убили его не за ориентацию, а за то, что выдавил коллегу из наблюдательного совета местного самоуправления, а тот возьми, да и застрели его вместе с мэром.

Это второй байопик Гаса Ван Сента, если считать первым «Последние дни», фильм, повествующий об уходе из жизни Курта Кобейна. Но эта лента целиком погружена в лабиринты внутренней самоизоляции известного музыканта, «Харви Милк», напротив, вполне экстенсивное киноповествование, разве что иногда Ван Сент балуется с псевдохроникальными кадрами или позволяет себе снять сцену через отражение происходящего в разбитой стекляшке.

Ван Сент собирался снимать этот фильм в течение пятнадцати лет. Итог – сообщество американских кинодеятелей включило эту ленту в десятку лучших фильмов 2008 года. А во время съемок была такая история – в Кастро, резиденции Милка в Сан-Франциско, несколько человек из съемочной группы видели, как кто-то входил и садился на кушетку. На пленке же изображения этого человека не было. Может быть, Харви Милк решил «сняться» в фильме про себя?

ЛОГОТИПЫ ВЛЯПАЮ ПОТОМ

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Сергей Боровиков
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать ___ июня 2009 г.
Журнал отпечатан в типографии
Адрес типографии:

Заказ №
Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.